



НА МГЛИСТЫХ БЕРЕГАХ

Струится Лета. Сквозь туман проходит её мглистая вода. А над водой – трава и лес. И влагой веет сминая листва.

Давно всё отошло, уплыв за поворот доисторической реки. Да и былое всё, как есть, на древних берегах. Как если бы повсюду рухнули миры, оставив в наших днях громоздкие дела и стародавнее движение Земли, всё дальше уплывающей от мглистой Леты.

Сергей БАГРОВ

КОРОТКАЯ ПЕРЕДЫШКА

Сергей БАГРОВ

Сергей БАГРОВ

КОРОТКАЯ ПЕРЕДЫШКА

Рассказы и очерки



Сергей БАГРОВ

КОРОТКАЯ ПЕРЕДЫШКА

Рассказы и очерки

**Вологда
«Сад-огород»
2019**

УДК 821.161.1(470.12):94 (470.12)

ББК 84(2Рос-4Вол)6

Б14

Багров С. П.

Б14 Короткая передышка : рассказы и очерки / Сергей
Багров. – Вологда : Сад-огород, 2019. – 359 с.

ISBN 978-5-907083-43-1

Не смей добивать лежачего. Дай подняться ему. Это, во-первых. Во-вторых, помоги не тому, кто обойдется и без тебя, а тому, кто в беде и окончательно пропадает. И помни всегда: друг – только тот, кто заступается за тебя, даже если при этом и погибает. Таковы перепады жизни. Сегодняшней и вчерашней. О них «Короткая передышка» и повествует.

УДК 821.161.1(470.12):94 (470.12)

ББК 84(2Рос-4Вол)6

ISBN 978-5-907083-43-1

© Багров С. П., 2019

© Оформление ООО «Издательство
«Сад-огород», 2019



В феврале 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви объявил о старте конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски!» Книга Сергея Петровича Багрова «Короткая передышка» и стала продолжением большого разговора о чистоте, красоте и силе Русского языка.





Об авторе

Сергей Петрович БАГРОВ, писатель с сорокалетним стажем. Выпустил более 30 книг. Особняком стоят издания для детей. В издательстве «Детская литература» 150-тысячным тиражом выходили повести «Посреди Вселенной» и «Белые сени». В последнее время в детском Государственном издательстве «Росмэн» публиковал цикл рассказов «Гороховая лодка» и «Веселый лейтенант».

В начале 2006 года Петровская академия наук и искусств рассмотрела основные книги Сергея Багрова: «Сорочье поле», «Живем только раз», «Портреты», «Рябчики на завтрак», «Никогда ничего не бойся», «Сыновья и гости», «За родом род». Единогласно он был избран членом-корреспондентом академии наук и искусств.

В том же году за книгу «Россия. Родина. Рубцов» Сергей Петрович стал Лауреатом Всероссийской премии имени Николая Рубцова «Звезда полей». В 2017 году он становится победителем Всероссийского конкурса, посвященного Константину Георгиевичу Паустовскому. Рассказ «Силачиха» принес ему первое место. Участвовал Сергей Петрович и в конкурсе «Все впереди» (2017 г.) по творчеству В. И. Белова. Снова Лауреат. Теперь за повесть «Колокольчик».

НА КРАЮ

(Повествование в рассказах)

БЕСОГОН

1

«Как-то меня еще встретят?» – размышлял Иван всю дорогу, пока ехал к себе домой через расхлестанные войной Германию и Россию. И вот последняя остановка.

Сошел Иван с поезда – полнотел, в сиреневом френче, лицом румян и улыбчив, словно и не с войны возвращался, а с дачи, где отдыхал ни много – ни мало – четыре года. В руках громоздкие, по два пуда, узлы. В одном – германские сапоги, платки, рубахи, отрезы бархата и бостона. В другом – копченое сало, колбасы, конфеты, консервы, хлеб с сухарями и шнапс.

От вокзала до пристани – около километра. Можно было на тарантасе. Вон их сколько вдоль коновязи! Да сидевшие в передках возницы имели какой-то разбойничий вид, словно ждали лишь тех состоятельных пассажиров, с которых можно взять втрое больше. «Ну, уж нет!» – подумал Иван и пересек многолюдную площадь, задевая узлами то нищего в бабьем платке, то кого-то из цыганят, то летящего на самокате безногого инвалида.

Половины пути не прошел, как устал. Сошел с тротуара. Бухнул оба мешка в придорожную травку. Уселся на тот, где одежда с мануфактурой.

Улица там и сям полыхала красными флагами, которые власти города выставили с балконов. Стоял месяц май. Пахло вчерашним дождем и дворовой муравкой. Поднимавшийся с перьев травы волглый пар аппетитно дразнил, приглашая вдыхать его полной грудью. Иван сразу затосковал, приникая душой к своему Подмостовью, откуда уехал он в 41-ом. Уехал, как сгинул.

Эшелон, в котором ехали новобранцы, разбомбили под станцией «112-й километр». Крики и стоны, мертвые и живые, паника, слёзы, кровь – всё перемешано, как в аду. Как бы выбраться из него? Да никак! Окружила со всех сторон цепь мышино-серых мундиров.

– Стройся! – Голос русского командира, выполняяющего приказ под дулом немецкого автомата.

И вот уже – сон – не сон, но идет, спотыкаясь по шпалам, колонна советских военнопленных.

Так началась для Ивана Великопятова Отечественная война. Война, в которой он не сражался, ни разу не выстрелил, да и винтовки в руках не держал. Лишь служил, подчиняясь приказам сначала лагерного начальства, а потом – указаниям фрау Зомбаум, в чьем хозяйстве и встретил приход наших войск.

На душе у Ивана тоскливо. Не героем он ехал домой, а потерянным отщепенцем. Писем он не писал. Потому ни жена его Ниса, ни махонький Валька, ни мать с отцом, ни сестра Александра не знали о нем ничего. Надо думать, что ждали его, как солдата, заслужившего возрвращения в собственный дом. А приедет к ним бывший пленник, кто служил всю войну на врага. Это Великопятова и пугало.

Уйдя в похоронные думы, Иван не сразу и понял, почему это вдруг от мостков на него опускается тень. А над тенью стоит остроплечий, весь закиданный серыми волосами, с зорким взглядом прицелистых глаз не кто-нибудь там, а Генаша Фомин, односельчанин из Подмостовья, чьи веселые губы заколебались:

– Никак это, Ваньк?

Великопятов, смущаясь и радуясь, встал с мешка и по-русски, как друга, хотя таковым Генаша ему и не был, облапил его островатые плечи, ощущив в себе нетерпение от вопросов, которые так и хлынули из него:

– Ты откудов, Генах? Давно ли из дома? Где воевал? Как моя Ниска? Как мышонок мой? Как там мати? Как батя?

В длинной, почти до колен, гимнастерке с медалью «За взятие Будапешта», в отутюженных бриджах, с режущими глазами Генаша выглядел стреляным воробьем, кто привык свою жизнь направлять сообразно сложившейся обстановке.

– Поговорим! – По лицу Генави скользнуло сообразительное волнение. – Но не здесь! Не у этой же подворотни. Есть у меня одна тут особа. К ней и пойдем!

– Что за особа? – смутился Великопятов. – У тебя ведь как будто жена?

– Жена подождет! – отмахнулся Генаша. – А покудов я с этой шурою-мурую. Эх, и сладка! Что тебе астраханский арбуз!

Иван не решался.

– Неудобно. Я ведь не знаю ее.

– Зато я ее знаю! Любит Кланька гостей! И тебя полюбит! Так что двигаем! Только знаешь... – Генаша задумался на секунду. – Надо б сначала до гастронома. Чтоб не посуху плыл разговор.

– У меня, – признался Великопятов, задевая носком сапога один из узлов, – шнапс с собой.

– О-о-о! – встрепенулся Генаша и с удовольствием поднял одну из Ивановых нош. – За мной! – И рванул к поперечной улице, открывавшей ряды двухэтажных домов.

В тот, что был под черемухой, с низким крыльцом и крашеной лестницей в два пролёта, Генаша и поспешил.

Квартира была однокомнатной, с кафельной печкой, столом под веселой с какими-то рожицами kleenкой, платяным шкафом и зеркалом в желтой раме.

Из-за легкой перегородки навстречу вошедшему не вышла, а выплыла женщина в белой блузке с кружевами на рукавах. Была она полной, с высокой прической каштаново-темных волос, откуда горела, играя зелеными искорками, гребенка. Лицо, хотя и красивое, но с какой-то брезгливостью, объявлявшей о том, что она из тех, кто ценит себя высоко и общается не со всеми. Голос ее был придирчивый, даже сердитый:

– Кого привел? Я просила?

– Ну, Кланя! – подобострастно, как кот, прогнулся перед хозяйкой зажмутившийся Генаша. – Ну, быстро мы! Ну, посидим! Ну, чего...

– Тут что у меня, – добавила Кланя, не остывая, – вокзал или Дом для приезжих?

– Ну, Кланя! – продолжал подлизываться Генаша. – Войди в положение! Земляки же мы! Пообщаемся мало-малы. И ту-ту-у! Как от пристани пароходы.

Великопятову было неловко. Чувствовал он себя в незнакомой квартире чужим, кто непонятно, зачем сюда и явился. Хотел уже, было податься назад, да тут заметил Генашину руку, как та, незаметно для Клани, делала знак, направляя его от порога к узлам. И он догадался.

За какую-нибудь минуту развязал продуктовый мешок, достав оттуда бутыль немецкого шнапса, круг колбасы, копченого сала, хлеба и пачку кофе. Поставил всё это на стол и, вернувшись к другому мешку, вынул черный с розами, как в ночи, кашемировый, тонкой шерсти, платок, развернул его и, стеснительно улыбаясь, подал хозяйке:

– Это тебе!

– Ой! Ой! – Кланя отказываться не стала. Взяла платок, но тут же Ивана и упрекнула: – Наверно, жене

своей вез? Ай-я-я! Вместо жены я его получила. За какие-такие коврижки?

— Ты красивая! — ответил Иван. — А будешь еще красивей!

Рассмеялась Кланя так дробно, словно высыпала горох. И тут же преобразилась, став покладистой, ласковой и веселой.

— Что я тебе говорил! — хвастался Кланей Генаша, разливая по чайным стаканам шнапс. — Кланя, какая у нас? Послушная! Какой закажешь ее, такой и будет!

Иван покраснел, словно стесняясь за Кланю, и замечание Фомина воспринял, как личное оскорбление, поэтому посмотрел на Генашу с неодобрением:

— Язык у тебя, как боркунчик, — сказал с упреком. — Такую женщину надо бы на руках! А ты!

Кланя так вся и вспыхнула:

— Куда ему, хиленькому в коленках! — рассмеялась, уничтожая взглядом Генашу. — Как бы не надсадился!

— Ну-ну! Вы, я смотрю, не на меня ли? — Генаша обиделся, однако бутыль с недовыпитым шнапсом, которую он повторно взял со стола, разливая по трем стаканам, его успокоила, и он посоветовал:

— Ты бы, Ваньк, не очень-то здесь. Ты ведь не дома. Мы с Кланей парочка мирная. До поры. Пока про между нас не появится третий. Ты меня понял?

Великопятов отставил стакан. Захотелось тут же встать и уйти. Но он удержался.

После второго стакана, который Генаша не выпил, а вылил в себя, как в трубу, он подзвался. Однако вначале потребовал у Ивана:

— Нет, что ли, боле?

Великопятов принес и вторую бутыль. Генаша выправил грудь, и медаль на его гимнастерке блеснула, выставясь на Ивана, как нечто особенно редкое, что не каждый может и заслужить.

— Спрашиваешь, — заговорил он, чуть ли не с вызовом, — как оно там у нас, Подмостовые? Как твоя Ниса? Как малышонок твой? Мати твоя? Отец? А откудов мне знать, коли я там и не был! Ехал туда! Да вот задержался. Задержал меня госпиталь. А потом и она задержала, — коснулся взглядом хозяйки, — краля моя! Так что ты на нее не очень-то зырь. Я мужчина ревнивый! И без советов, чтоб мне: «Носить на руках!» Знаю, без посторонних! Кого мне носить, кого — нет! На вот, бери свой стакан. Пей! И покедова! Будь пароходом! К Нисе своей отгребай!

Понял Иван, что его прогоняют. Что ж. Он поднялся.

— Спасибо за угощенье, — сказал. И тут увидел белую блузку и две кружевные каймы на ее рукавах. Кланя, так вся и вскинулась, словно птица, махая руками, как крыльями, на Генашу:

— Ты кто такой, чтобы здесь мне распоряжаться? Сам отсюдова отгребай. Не мужик, а сопля под носом! Больно ты мне нужён! Уходи, говорю, отсюда! А его, — рукав с кружевом колыхнул, поворачиваясь к Ивану, — здесь оставь! Человек он! А ты? Чучело с огорода!

Генаша оторопел:

— Ты чего это, Клань? — Он по-крупному растерялся. Патлы серых волос его встрепенулись, закидывая глаза и уши, настолько резко вскочил он со стула в порыве найти у хозяйки к себе снисхождение или милость.

Но Кланя была из решительных женщин, кто слова свои назад не берет. Ее рука показывала Генаше на дверь:

— Уходи! И чтоб больше сюда — ни ногой!

Еще минуту назад был Генаша самоуверенным и развязным, готовым казаться крутым, волевым и сильным. И вот уже весь он, расслабленный, никлый, зависимый от обстоятельств, которые били и бьют его, вызывая в нем страх перед завтрашним днем. И все-таки ревность была у Генаси слишком большая. Даже страх перед ней отступил.

— А этого-то чего? — спросил он с усмешкой, поворачиваясь к Ивану. — Оставляешь себе?

— Пошел! — голос у Клани звенел, проливая презрение, с каким волевые женщины не выносят мужчин, превратившихся вдруг из орлов в мелких пташек.

Генаша толкнулся ладонями в дверь, выходя из квартиры.

— Ладно, — сказал уже в коридоре. Сказал желчно и затаенно, намекая о скорой расплате, с какой он вернется сюда, чтоб за все отомстить.

2

Превеликий грех содеял Великопятов, не доехав ста километров до дома, где его дожидалась семья, встречи с которой он сторонился, как сторонятся собственного позора, с каким жить бывает невмоготу.

Оставаться у Клани он поначалу не собирался. Кто он был для нее? Чужой, явившийся с улицы человек. Привел сюда его бывший ее полюбовник, кого она выставила за дверь. И теперь получается, что, заняв его место, стал для Клани он следующим дружком.

Что сопутствовало тому? Может быть, его доброта? Может быть, спокойный характер? Или то, что он целых четыре года воздерживался от женщин?

Кланя же, со своей стороны, увидела в нем бескорыстного человека, который был к тому же здоров, молод и симпатичен, но, главное, нес в себе какую-то спрятанную печаль, с которой ни с кем не хотел делиться, и это притягивало к нему.

Друг для друга они подходили. Кланя давно мечтала стать мужней женой. Однако не получалось. Годы войны беспощадно вырубили мужчин. Выбирать приходилось из первых попавшихся или случайных, таких, как Фомин.

Генаша хотел показать себя мужественным мужчиной. На деле же оказался слабак-слабаком. Да и гол, как

сокол. Пытался устроиться на работу, но никуда почтенному-то его не брали. И басни плел, дескать, он не женат, хотя жена его обитала где-то в деревне, но он к ней не ехал, благо корни свои норовил запустить только в город и обязательно областной. К тому же денег почти не имел, а любил выпивать. Выпив же, сильно наглел, становясь придирчивым и развязным. Одним словом, она с ним рассталась. И сразу приткнулась к Ивану, как лодка к нечаянному плоту. Был Иван для нее приятен густыми русыми волосами, слегка набегавшими на глаза, виноватой полуулыбкой, с какой он смотрел на нее, когда она его обнимала, и тем, что не знал, куда девать руки, которые как бы скучали, и он нерешительно и любя, прикасался к ее ладошкам и успокаивался от них.

Утром она уходила к себе в магазин, а он оставался в квартире. Вернее, по-за квартирой, в большом коммунальном дворе, куда был свален огромный воз осиновых бревен, которые Клане привез еще в прошлом году нанимаемый ею трактор. Бревен было уже не видать, настолько густо здесь рос обвисаемый листвами и цветами жизнерадостный краснотал.

С него и начал свою разноделицу Кланин хахаль. Нарезал ножом кучу прутьев. Уселся на бревна и шел-пшел плести из них ивовые корзины. Вечером Кланя, придя с работы домой, изумилась, увидев возле кафельной печки стайку красивых и новых, как на показ, выставленных плетюх.

– Куда их столько? – спросила она у Ивана.

Великопятов:

– Раздай по хорошим людям.

Раздавать не пришлось. Узнав, что на улице объявился корзиночный мастер, Ивана, право, атаковали покупатели этих корзин. Три дня восседал он в осиновых бревнах. Корзины рождались у покупателей на глазах. Денег мастер не спрашивал. Сколько дадут, столько и ладно.

Позднее, когда краснотал был весь срезан, Иван нашел в коммунальной сарайке топор, пилу и рубанок. Когда-то работал с ними Кланин отец. Но было это давно. Еще до финской войны, на которую Кланин отец ушел и назад не вернулся. Топор с пилой были ржавые и тупые. Иван раздобыл на рынке напильник с бруском и давай настраивать инструменты. Подготовил к работе. И двор огласился бойким ширканьем поперечки. Пилил Иван и пилил. Сразу же и колол, укладывая поленья. А несколько бревен оставил на плахи, чтобы мастерить какой-нибудь инвентарь.

Умирённо было ему. Руки, душа и тело жили в согласии, понимали друг друга, справляя работу с удоволением и азартом.

Работой он жил не только сейчас, в эти дни, но и там, на войне. В лагере строил казармы и туалеты. У фрау Майнбаум вел постоянно дogleзд за свинарником, клетками для гусей, тремя погребами, амбаром и двухэтажным дубовым домом, где что-то старилось и ломалось, и надо было устраивать срочный ремонт.

Теперь это всё позади. Впереди – жизнь в городе, которая стала складываться, как надо. Кланя служила уборщицей в магазине. Денег всегда не хватало. И вот сейчас, при Иване всё как-то разом переменилось. Великопятов имел золотые руки. Из горбылей и остатков от бревен ладил стулья и табуретки. Продолжал и корзины плести, находя лозу для плетенья по склонам каной Золотухи.

Достаток пришел. А вместе с ним и уверенность в будущих днях, повернув две, побитые жизнью судьбы друг к другу настолько близко, что появилась вещая вера – так теперь будет у них всегда.

Кланя не раз уговаривала Ивана, чтобы тот рассказал о себе побольше. По пшеничному, с вечным румянцем лицу Ивана пробегало раздумчивое волнение.

— Потом, — обещал он, и Клане слышался в обещании отзвук какой-то припрятанной тайны, какую можно было открыть действительно лишь потом.

И все-таки маетно было Ивану. Любя свою Кланю, он нет-нет и улавливал где-то в себе рассерженный голосок, каким говорила с ним его совесть, напоминая о том, что жизнь свою заработал он с помощью плена, усердной работой на тех, кто хотел подмять под себя территорию СССР. «Бояка ты, Ваня, — точил упрекающий голос, — даже домой испугался поехать. А там тебя ждали и ждут: жена, пятилетний сынок, мать с отцом, да и все остальные, кто знал тебя с самого детства. А ты их всех бросил. Даже не бросил, а променял втихаря на спокойную жизнь с такой же, как ты, потерянной кралей...»

Голосок, открывавший совесть, стихал, и опять становилось Ивану легко, независимо и свободно.

В тот летний вечер, когда в приоткрытые окна просились зеленые ветви черемух, в гуще которых резвились синицы и воробьи, все было так, как всегда. Кланя готовила ужин. Иван же, придя со двора, где для соседских детей ладил маленькие качели, уселся на табуретку, еще и кепку не снял, как услышал за дверью поднимавшиеся шаги. Спросил у Клани:

— Ты кого-нибудь ждешь?

— Нет, не жду.

Дверь открылась, и за порог, поднимая подол сарафана, ступила одетая в желтую кофту высокая женщина с лихо разметанными бровями, из-под которых сердито синели ищащие глаза.

Иван почувствовал, как на его голове встали волосы, поднимая вверх кепку. Это была его Ниса! Он побледнел. И уперся глазами в пол. Чего-чего, а такого свиданьица, не пожелал бы он и врагу. Стало ясно ему, что это подстроил Генаша. Видимо, там он сейчас, в родном Подмостовье. Вспомнил, как здесь его выставили за дверь. И вот отомстил.

Ниса смотрела в упор на супруга. Присев к столу, острым голосом, попадая в самую душу, заговорила, прокалывая насквозь:

— Какую дичь в голову, ну-ко, вобрал? Застрял! У кого? — Тут глаза ее, закипев, окатили злой синевой и присевшую с той стороны стола смущенную Кланю. — У девки-густоволоски! Нашел подружницу при живой-то жене! Смелый какой! Ровно летчик без самолета! А я на что у тебя? Я — жена твоя! Богом даденная! Не чертом! А ты, бесстыденка! Ну-ко! Ну-ко! Гляди мне в глаза! Беседника завела! А ведь он женат! И сын у него! Али он тебе это не говорил?

Не ответила Кланя.

— Он кто, по-твоему? — продолжала воинствовать Ниса. — То-то вот, что не знаешь! Думаешь, полюбовник. А нет. Бесогон!

Голос у Нисы был не только пронзительный, но и властный, как у всякой вздорчивой бабы, не умеющей отдавать от себя ничего, а тем более — мужа.

Великопятов почувствовал, как левое ухо, с той стороны, где Ниса, стало почти ледяным, правое же, где Кланя — прямо-таки раскаленным. Он попробовал вставить слово:

— Ты уж так срамотишь, что хоть сбирайся на Белую гору.

— Ишь, придумал чего! — того пуще вскинулась Ниса. — На Белой горе — мертвый дух. Неужто тебя я к покойникам отпушу? Будешь жить! Должен парня поднять! Хозяйство наладить!

Виски у Ивана, как онемели, кожа на них заломилась, а на коже — право, не волосы, а иголки, как у рассерженного ежа. Он поднялся.

Поднялась и его подмостовинская жена:

— Чего встал, как статуй! — заторопила его. — Попрощаться? Не дам! Вещи в зубы — и марш!

— А как же, — начал, было, Иван.

Ниса мигом остановила:

– Не поперечничай! – И, обернувшись к хозяйке, выплеснула, как уксус:

– А ты, густобровая, оставайся! Дай Бог тебе нового мужика!

Иван увидел, как Кланя, не трогаясь с места, повернула высокую шею, и глаза, распахнувшись, обдали Нису не взглядом, а мраком, в котором сквозили не только обида и безысходность, но и залитое тихой болью достоинство женщины, теряющей чувство реальности и любовь.

3

Плыл пароход, направляясь от бакена к бакену, где горели огни керосиновых фонарей. Справа и слева вглубь берегов простиралась бесплотная белая ночь, укрывая в своих покоях заснувшее Подмостовье, куда и ехал Великонятов, сопровождаемый бдительной Нисой. Оба молчали. Ниса не все еще высказала ему. Собиралась продолжить. Однако супруг, усевшись в носу, возле вверх перевернутой шлюпки, закрыл глаза, как бы крепко заснул, и лучше сейчас его не тревожить.

Причалили к пристани в три часа, когда ночь перестраивалась на утро. Солнце вставало. Выкатившись на горку, оно ловко цеплялось своими лучами за легкое облако, подтягиваясь к нему, как мальчишка.

– Будет ужо[‘], – тыкала Ниса словами в спину Ивана, поспевая за ним по росистой тропе, уходившей по берегу к следующей деревне.

– Помолчи, – попросил Иван.

– А я и не начинала, – ответила Ниса. – Битва пока по тебе не прошла, а пройдет! Бесогон большеухий! Эво толстый какой! Это блядушка, видать, тебя так откормила! Бессовестной бубень...

Шел Иван, бледен и тих, словно его приглашали на пытку. И пытки этой не миновать.

– Ну, и бесстыдник! Словно деревня ему – вторая тюрьма…

Остановился Иван, попадая ногой в зеленые стебли овса, поле которого подходило вплотную к деревне. Посмотрел сверху вниз на жену:

– Мне бы сейчас на войну!

– Эко?! – вытянулась супруга, не понимая. – С какой это дури?

– Хочу, чтоб меня убили.

– Ой! – Ниса, право, перепугалась. Поняла, что и слово может выстрелить, как винтовка. – Пошли-ко лучше до дому, – сказала, как малому. И бросила пальцами крест на тропинку, оберегая мужа от страшной силы, какую он нес в себе в невысказанных словах.

Деревня уже просыпалась. Мычали коровы. На черном коне, махая витнём, проскакал верховой. Великопятов признал в нем Генащу. И тот его тоже признал. Признал и тпрукнул коня, и, хотя меж ними было не менее сотни шагов, посмотрел на Ивана внимательно, словно снайпер, за которым остался выстрел, и он его обязательно совершил.

Вот и дом. Запущенный палисадник. Кое-где зеленеют на грядках морковь и горох. Дом стоял, как дородная крепость, глядя всеми шестью высокими окнами на Ивана, словно спрашивая его: кто такой и зачем он сюда?

За дверью скребнула заложка. Вышел отец. На деревянных опорах, оказался он ниже Ивана, но шире в поясе и плечах. Злой-перезлой. Поднял руку с кнутом. Хотел полоснуть по лопаткам. Да увидел сыновья глаза – открытые, честные, переполненные несчастьем. Бросил кнут.

– Ты вот что, Ванюха, – сказал, отводя взгляд от сына, – держись.

Иван вздохнул с покаянием, словно услышал в словах отца и другие слова: «Не всё потеряно. Может, и обойдется...»

Тут и мать сбежала с крыльца, легкая, быстрая, будто птичка. Уткнула лицо сыну в живот и горько-горько запричитала:

— Слава те Господи! Жив! Радость-то, радость какая...

На душе у Ивана чуть потеплело. Все-таки он не где-нибудь там, а дома. Он поднял глаза. Там, за дальни-ми крышами, где ольховый овраг, а за ним хмурый ель-ник, было еще темно, свет от солнца туда не дошел, и лес стоял, как в ночи, раскрывая себя в первозданности дум, от которых веяло древней суровостью и печалью.

— Папка! Папка! — вонзилось в Иваново сердце, и он увидел спрыгнувшего с крыльца босого, в коротких штанишках, совсем еще крохотного парнишку. Он подхватил его, прижимая к груди.

— Пап! — Голосочек, как ручеек. — Ты откуда приехал? С войны?

— С войны.

— А фашистов ты убивал? — В глаза Ивана, как в самую душу, глядели доверчивые глаза. Глядели и ждали, зная, что папа может сказать сейчас только правду.

— После об этом, после, — ответил Иван, почувствовав пытку, с какой завозилось его занывшее сердце в предошущении жизни, в которой самое худшее было еще впереди.

ХОРЁК

1

Вася 14 лет. Ростом вымахал с мужика, но тщедущий, с тонкой костью, и ребра просвечивают насквозь.

Вася все время хочется есть. Но так как еды в доме нет, то частенько он думает о махорке. Кто бы дал по-

кури́ть? Никто не даёт. Оттого и мысль поворачивает к худому: где и как бы ее украсть? Укraсть удаётся лишь в крупный праздник, когда кто-то из мужиков, не сдержав поединка с вином, опрокидывался на землю. Рука у Васи проворная, как плотвичка. Моментально — в карман, где лежит заманительная махорка. Раздобыв пузатый кисет, сбегает с ним то ли куда-нибудь в поле, то ли на берег реки. Насытившись дымом, дает покурить и назойливым малолеткам, с одного крутившимся возле него.

На берегу Печеньгицы, где заросли белотала, спрятана удочка с леской. Мечтает Вася выловить крупного, с лапоть, серебряного леща. Но вместо него вылавливает пинтавок — мелких ельчиков и плотвичек, вес которых не больше веса карандаша.

Вася питается с огорода. В доме у них есть подполье, а там, в двух старых кадках зимует картошка — водянистая, мелкая, с пупырями.

Хорошо бы горбушку хлеба! Но где ее взять? В прошлом году мама у Васи заработала сто трудодней. На них получили они две бутыли льняного масла, пуд гороха, три пуда муки и щипаного цыпленка. На всем на этом должны продержаться они целый год. Продержаться не получилось. Хотя и старалась мама замешивать на муке лебеду, опилки и клеверные макушки, однако и смеси хватило только до Дня победы.

Девятого мая мама достала из печки два колобана. Этим хлебом они и отметили дивный праздник. И то было славно, что рано утром Вася принес с рыбалки двух ершей и двух пескарей, из которых мама сварила уху. При этом она вспоминающе улыбнулась:

— Был бы папка живой, жили бы по-другому!

И сын улыбнулся:

— С хлебом, что ли?

— И с хлебом, и с мясом, и с молоком!

В школу Вася уже не ходит. Хватит, решила мама. Научился читать и писать. И добро! Нечего голову за-

бивать тем, что в жизни не пригодится. Пусть-ко дома сидит. Всё хоть какая-то матери помошь.

После праздников Вася все дни свои проводил в огороде. Грядки копал. Мама тоже копала, но после работы.

Ходила мама за конным плугом. Видел Вася, что мама его, возвращаясь с работы, была уставшей-переуставшей. Усталость ее выбиралась через набухшие веточки вен на руках, и она очень часто их разминала, чтобы хватило выносливости для грядок, куда они сеяли свеклу, капусту, морковь и укроп. И лук высаживали с картошкой.

Плуг при пахоте выворачивал вместе с землей и картофельные останки. Были они промерзлыми и гнилыми. Но мама их собирала, чтобы испечь из них колобашек.

Вставали они с петухами, пенье которых до них доносилось с куриной фермы. Но вот сегодня с подъемом чего-то призапозднились. Вася, ладно еще, он вообще любил по утрам поваляться, с трудом выбираясь из сладкого сна. Но чтобы мама его преспокойно лежала под одеялом, как если бы был у нее выходной? Такого он еще не припомнит.

Подошел Вася к маме. Глядит, как она пытается скинуть с себя одеяло. Рука не слушается ее.

– Мама? – встревожился он. – Чего это ты?

В ответ:

– Занедужила я. Надо бы встать. А как это сделать? Ой, и не знаю.

– А ты не вставай, – советует Вася, – лежи, как лежала. Я чаю сейчас принесу. Вот только сварю.

Готовить при устье печи на двух кирпичах хоть чай, хоть уху, хоть картошку, Васю учить не надо. Все это делал он тысячу раз. И сейчас, нащепав косарем лучины, он разжег ее и, поставив миску с водой, стоял перед печкой и ждал.

Прошло какое-то время. И миска кипящей воды принимает пригорюнью ягодных листьев. Другой заварки в доме не знают. Только из листьев смородины или брусники.

Разлил Вася пахнущий лесом горячий напиток по всем четырем фарфоровым чашкам. Одну – себе, и три чашки – маме, поставив их возле кровати на табуретку. А картофельные лепешки, которые были испечены его мамой на этих же двух кирпичах, но вчера, разделил пополам.

Стук в окно, да такой приказательный и призывный, что Вася становится неприютно. Выходит от мамы и видит: рубчатое лицо в нечесаных бакенбардах, и руку с кнутом, рукоятка которого так и пляшет по переплету кухонного окна. Содомкин! – узнал он колхозного бригадира. Сидит на коне, оттого такой устрашающий и высокий.

– Где-ка мать? – кричит бригадир. – Почему на работу не вышла? Дрыхнет? Сейчас её! – У Содомкина щеки напряжены, и руки уперлись в конскую шею – собирается, видимо, слезть и, зайдя хозяином в их хороши, полоснуть тонкой плеткой по одеялу. Такое уже было. И Вася это запомнил, отложив в голове отместку на предстоящий для этого день, когда он станет сильнее и матерее и спросит с Содомкина за обиду, какую тот его матери причинил.

Вася хочет сказать, что мама его заболела, но бригадира этим не остановишь, поэтому он говорит:

– Ей нельзя на работу. У нее отнялися руки.

Содомкин как и не слышит. Снова кричит, да так, что лицо вылезает из бакенбардов.

– Самому, что ли, мне становиться за плуг? Зови ее! Покуда вот этим с ней не побаял! – И вскинул кнут, придержав его над плечом, как обязательную угрозу.

Вася растерян, расстроен и оскорблен. Страшно мукается за маму.

— Дядь Вань, а можно я — за неё?

Бригадир удивлен.

— Ты — за плуг?

— Я.

— Но ты же дохляк! Куда тебе? Справишься, что ли?

Вася с достоинством:

— Я, хоть и тощий, а сильный!

Бригадир уступает:

— С кем и работать, не знаю. Ладно. Так и быть. Но смотри у меня! Спрашивать буду, как с мужика!

2

Вася и сам не думал, что может управиться с плугом. Идет, себе, по земле, присогнувшись, как древний пахарь. То и было приятно Васе, что было, кому за ним присмотреть. Рядом кто? Обутые в лапти труженицы-крестьянки, все, как одна, в мужских пиджаках, какие когда-то носили мужья, не вернувшиеся с войны, и теперь их одёжа легла на покатые женские плечи. Уж кто-кто, а они-то знали, как обращаться с конем. Не зря же они ему помогали, когда он впряжен свою лошадь в плуг, и шел за ним, чуя затылком их одобрительную поглядку.

От взрытой земли поднималась сочная свежесть. Рядом летали грачи. И солнце, причесывая коня, причесывало и Васю, и он осязал на своей грубо стриженой голове его мягкое трепетанье.

Колхоз был из слабых. Трактора не имел. И все полевые работыправляли кони. Три десятка коней. Одна треть из них тут, на самом ближнем к деревне поле.

Лениво и жирно струилась земля, обдавая духом благополучия. И кони, тащившие за собой плуги и бороны, были наполнены этим духом. До хлебной осени так далеко, однако они ее чуяли, и может, поэтому вид у них был уверенный и спокойный.

Не было мужиков. Находились они на других полях, где тоже царствовала работа. Здесь же, куда ни глянь, полотняные косынки. Вдовы, девушки и старухи. Старые сеяли хлеб, молодые — возле коней. У каждой из них страшный опыт, с каким они одолели войну, выдержав все ее выморохи и беды. И было колхозницам с их фантастически долгим терпением по-опекунски жалостно и приятно, что где-то рядом с ними — молоденький пахарь. Такой неумелый, и в тоже время такой старательный и упорный. Усердный мальчик был весь просвечиваемый лучами, какие падали на него, как лучи товарищеской поддержки. И женщинам очень хотелось, чтобы был он около них постоянно.

Обед. Общество женщин, расположившихся на лужайке. У каждой по узелку, где молоко, хлеб, картошка и огурцы. У Васи же нет ничего. И он старается отдельиться, делая вид, что слишком много поел с утра и теперь ничего не хочет. И еще ему надо спрятать куда-то свою усталость, которая так и взламывает суставы, так и гуляет по всем его сухожильям.

Однако нет на Руси таких женщин, которым неведомо чувство участия к человеку, который живет сегодня труднее других. Вася, как бы он гордо ни упирался, каким бы сытым себя не казал, так и так оказался среди колхозниц, будто сын среди матерей.

В глазах у женщин не только жалость, но и желание накормить парня так, чтобы исчезла с лица его худоба, чтобы ключицы его возвратились в грудь и так сильно не выставлялись. Понял Вася, что рядом с ним те, кого не надо остерегаться. Усился в женский кружок. Ест, ест и ест, запивая еду молоком.

Обед подкрепил у парня все его жилочки и суставы. И ручки плуга, в которые он упирался, стали казаться ему податливее и легче. Он даже как-то по-новому ощущал свое тонкое тело. Словно было оно не только в нем,

но и там, где прошелся с конем, оставляя вдоль борозды перевернутые пласти весеннего поля.

Вечером, сдав на конюшню коня, Вася едва не бегом торопился домой. Малышня, убивавшая после уроков ненужное время, окружила Васю, предлагая ему поиграть в тряпичный футбол. Отмахнулся Вася:

– Сегодня – никак!

– А чего? Почему? – прилипла, как мошкова.

Вася знает, как отмахнуться.

– Буду уборную чистить! Хотите – и вы?

Тут же все – врассыпную.

В доме – запах остывшей золы, сырая прохлада и тишина. Мать у Васи так с постели и не вставала. На табуретке пустые чашки, но лепешки не тронуты, как и утром.

– Мама? Э-э? Ты жива-а?

– Ага, – улыбнулась она.

– А чего колобашек-то не поела?

– Нет аппетита, – голос у мамы тусклый. – Жидень-кого бы мне.

– Чаю?

– Можно и чаю. А лучше б ушицы или куриного супу. Тут бы я ожила...

Мама еще не закончила говорить. А Вася уже сорвался. Лапотки по траве шорх да шорх. Спешит на реку. Успеть бы, пока среди матовых туч, как пузатый карась по траве, пробирается солнце.

Для рыбного лова вечер самый что ни на есть! Смуглые сумерки поглотили траву и кусты, и река склонилась в них, как в засаде, блестя лишь в отдельных местах фиолетово-черными зеркалами.

Долго Вася ходил по суплесу, чавкая старенькими лаптями. Закидывал удочку то в быстришку, то в омуток под стайкой ракит. Поплавок или смирно стоял, или к берегу прибивался. Занервничал Вася. Всё зря. Возвращаться, видать, без рыбы. Как же быть-то ему?

Направился Вася домой. От расстройства забыл и удочку спрятать. Нес ее для чего-то с собой. До деревни с полкилометра, а было слышно, как по охлупням изб ходят, хлопая крыльями, вздорчивые вороны. Был бы Вася с уловом, они бы его встречали, перелетая с куста на куст, выпрашивая рыбешку. Вася сам их и приучил. Как-то раз кинул им парочку пескарей. И они, запомнив его, всякий раз, как идет он с реки, неизменно бросаются встречей. Но это, когда он с рыбой. А без нее, они это чуют, даже перышком не колыхнут.

Подойдя к птичьей ферме, где стояла изба, а за ней, вдоль двора простиралась лавина кустов, Вася остановился. Привлекла его стайка несущек, почему-то не загнанная под крышу. Никого рядом не было. Вася почувствовал, как в груди у него шевельнулась охотничья дрожь. Стало холодно и опасно. Не мешкая, прошмыгнул к потемневшим кустам. Распрямился столбцом. Еще раз прошелся глазами по птичьему полигону. Ни-где – никого. «Шевелись!!» – подогнал сам себя. Размотал на удочке снасть. Нацепил на крючок червяка. Размахнулся, закинув наживку так, чтоб она приземлилась в ногах у куриц.

Ползущего по земле червяка заметил петух. Ко-котнул, предлагая его подбежавшей к нему пернатой подруге. Кура – не рыба. Раздумывать долго не будет. Хвать червячка бойким клювиком. Что и надобно было Васе.

Петух удивленно смотрел, как подруга его, проглотив червячка, вдруг, махая крыльями, побежала, пересекая куриный загон. А потом, ткнувшись грудью в забор, с криком вскинулась вверх – и в кусты, где ее кто-то, кажется, ждал.

Вася был при улове. Домой, чтоб никто его не заметил, шел затинной тропой.

Курицу он ощипал у себя во дворе. И живот ей вспорол, ибо, кроме червей, находился в кармане и нож-

складенец. И зайдя на кухню, сразу же стал готовить похлебку.

Ужин был, право, царский. Мама даже с кровати встала. И, перейдя на кухню, склонилась, как и сынок ее, над горячей едой. Разговорились лишь после того, как опорожнили по тарелке. Мама расспрашивала, глядя на сына благодарственными глазами.

— Добытчик ты мой! Экой сладостью накормил! Кажися, и к жизни меня повернуло. Чего хоть ели-то мы? Петуха али куру?

— Куру.

— А откудов она?

— Тетя Ниса дала, — назвал Вася птичницу.

Мама удивлена.

— Кто бы подумал? У эдакой скряги? Зимой снегу не выпросишь. А тут целу куру?

— Она, мама, ногу сломала.

— Ниса — ногу?

— Да не, — усмехнулся сынок, — курица. Тетя Ниса не знала, куда ее, инвалидину, деть. А я как раз шел с рыбалки. Увидела, что иду без рыбёх, и сует ее мне: «Бери. А то пропадет!» Я и взял.

— Повезло нам с тобой! — рассудила мама. — Почаще бы эдакого везенья!

— Я и завтра схожу! — объявляет вдруг Вася.

Мама насторожилась:

— Как это завтра?

— А так. У нее и вторая курица худо ходит.

Подозрительно маме:

— И она, что ли, ногу сломала?

Вася с готовностью объяснил:

— Не ногу, а позвоночник. Доска там у них, видно, с крыши упала. Одной, значит, — ногу, второй — позвоночник.

— Ну, Вася! Ты что-то не то говоришь. Не ходи! Пусть даже и позвоночник. Срамно, когда подумают о тебе, как о каком-нибудь попрошайке.

— Не подумают, мама, — уверен Вася. — Просить-то я у нее не буду. Но взять возьму, коли будет давать. Я ведь снова пойду на рыбалку. А рыбу, если даже и наловлю, оставлю воронам. Чтоб без рыбы меня увидела тетя Нисса. Иначе куру отдаст другому. А я хочу, чтобы — мне!

— Ой, гляди! — Мама чувствует: сын не всё и не так говорит, как было. Однако не смеет его пенять. Время трудное, не для тех, кто смирен. Для бывалых оно. И для тех, кто умеет быть ловким и в любых переливах его вылезать сухим из воды. И отец у парня был тоже хватом. В колхозе заведовал всеми амбарами и складами. И не мог допустить, чтоб семья его в чем-то нуждалась. Поворовывал. Но умело. Никто ни разу не уличил. И теперь бы таким, наверно, остался, если бы не война.

Утренний стук кнутовищем по окнам, каким бригадир поднимал людей на работу, миновал пятистенник, в котором жили Вася и мать его Анна Павловна Фирулёва.

Вареная курица выпрявила хозяйственную, и она встала рано. Разогревала куриный суп. Пекла колобашки. Ставила чай.

Вася тоже проснулся ни свет, ни заря.

— Мама, ты разве поправилась?

— Стою на ногах. Значит, всё у меня хорошо. Пойду на работу.

— А я?

— А ты никуда. Эдако дело вчера своротил. Пахал целый день. Ведь ты не мужик ёшё — недоросток. Пусть твои косточки отдохнут.

Мама ушла, а Вася остался. Он и вправду чувствовал кости свои, как они тупо ныли, жалуясь на усталость.

Полдня провалялся Вася в кровати. Полдня ходил, слоняясь по дому. Доел остальную курицу, запивая ее бульоном. Когда увидел пустую кастрюлю, то испугался. «А маме-то я, почему не оставил? Ну, и обжора. Придет с работы. Поесть бы чего? Ну, палки

гну. Сам налопался, как буржуй. А хозяйка чего будет есть?»

Решил – на реку. Удочку взял. Нарыл червяков. И только видел его. Был в деревне, и вот в перелогах – в заросшем кустами запущенном поле. Тропинка вела через птичник. Вася не мог удержаться, чтоб не взглянуть на птичий загон. Белое облако кур. Вчера их было с десяток. Сегодня же все, наверное, сто.

Вася заволновался. Нет никого. Почему бы вновь не попробовать на удачу? И опять – к знакомой засидке, где мелкие ольхи да ивнячик. Размотал свою снасть. Наживил червячком. Размахнувшись, закинул в самую гущу куриных спинок.

Почувствовав тяжесть в руке, поволок на себя, наблюдая за белой несушкой, как она, растопыря лохманные крылья, шла спотычливым скоком к нему, то и дело падая грудью на землю. Поднял Вася свою добычу, переведя через доски забора с той стороны на эту, снял с крючка и уселся на курицу так, что крылья и кости ее затрещали.

– Кто такой? – раздался над ним женский голос.

Вася забыл, как его и зовут, настолько сильно перепугался.

Встал с неподвижной курицы, тут же почувствовав сильные пальцы, которые взяли его за ухо и повели за собой.

– Теть Нис, – пискнул Вася, жалобно выкривившись в лице, – я не хотел...

Ниса шла по деревне с занятymi руками. В одной – мальчишечье ухо, в другой – лапки курицы, голова и крылья которой то и дело опахивали дорогу.

На улице – пусто. Лишь около лавки встретилась им под платком шалашиком, в вязаной кофте старая девочка Капа, шедшая с поля, где сеяла с бабами яровые. Перекрестившись, спросила:

– Это чего такое?

— Да вот, — ответила Ниса, — хорька поймала. Веду на расправу. Сколько стоит нонь курица — знаю. А сколько хорёк — не пойму. Пусть в конторе его оценят.

— Да ведь больно ему! — вступилась за парня Капа.

Косынка на голове у Нисы так и взметнулась, настолько резко она повернулась к Капе, окинув ее осуждающим взглядом.

— А курице — что? Не больно? Он-то живой! А она?

— Господи! — Капа всплеснула руками. — Разве так можно? Сравнивать курицу с человеком?

— Это не человек, — отрезала Ниса, — это поганая кость от поганого человека.

В контору Ниса вошла разрумянившаяся от злости. На косточки счет на столе, за которым сидел с голой, как яйцо, головой бухгалтер Жучков, швырнула тяжелую курицу, а Васю с распаренным ухом, толкнув его в спину, передала бригадиру Содомкину, раздраженно сказав:

— Делайте с ним, что хотите. На птичнике у меня пропало двенадцать кур. Думала, что хорек. А это вот он! — Тонкий палец ее клюнул парню в лицо, и Вася еле успел от него отклониться. — Только что поймала. Застала с удочкой.

— Двенадцать куриц, — бухгалтер поднял широкое с бледной кожей лицо, переводя глаза с Нисы на Васю, — понятно. Будем высчитывать из заработанных трудодней. Мать-то как у тебя зовут?

Вася был не в себе. В голове его, как и в теле, взламывая сосуды, колотилась тяжелая кровь, в которой, казалось, сидел лютый грешник и возвещал на весь белый свет: «Ты теперь вор! Погубил двух несушек, а ответишь за все двенадцать!»

Бухгалтер, блестя голым черепом, недовольно спросил:

— Глухой, что ли? Матерь, спрашиваю, как звать?

Вася молчал. Еще этого не хватало, чтобы он назвал свою мать. Однако ответил за парня Содомкин:

— Анна Павловна Фирулёва.

Бухгалтер, стремительно записав, объявил:

— Вот и высчитаем с нее!

Бригадиру такое решение показалось неверным. Подошел к стене, где рядом с катушками, на которых висели три пиджака, приотился и телефон.

— Звоним в город, — сказал, потянувшись к железной ручке. — Милицию вызываем! Парень колонию заработал. Так пусть в колонии и сидит!

Открылась дверь из другой половины конторы. В ней — огромный, в поношенном френче, на двух деревянных ногах — председатель колхоза Великопятов.

— Отставить! — Голос его хрипловатый и злой. — Ты, Содомкин, не суетись! Больно, смотрю, ретив на расправу! Паренек согрешил. Так уж что — и в колонию сразу?

— Весь в отца, — заспорил Содомкин, и от глаз его, спрятавшихся в морщинах изрядно поношенного лица, неряшливых бакенбардов и небритого со щепоткой волосиков подбородка, будто из погреба, потянуло сырой остудой, — тот такой же хорек. Сколь добра выудил из колхоза.

— Не трожь убиенного на войне! — остановил Содомкина председатель. — Не забывайся. Мы-то с тобой оттуда вернулись. А он?

— Все равно. Не мной сказано: какой род, такой и приплод.

Великопятов поотвернулся от бригадира, забирая взглядом стол бухгалтера с мертвой курицей, похоронно застывшую Нису и Васю, чье худенькое лицо пытало от унижения.

— Поживем — увидим, — сказал он, переступая с одной деревянной ноги на другую. — От яблони — яблочко, а от ели — шишка. Но и шишка бывает в прибыток, коли к делу ее применить. Паренек согрешил — так и будет свой грех искупать. Но не там, где чужая земля, а здесь! Где

его мать, и где мы! А исправляться он будет через работу. У нас тут ее через край. Верхом на лошади можешь?

Вася вздрогнул. Председатель спрашивал не кого-нибудь там, а его. Неужели ему повезло? И его в колонию не отправят?

— Конечно! — ответил он, освобождаясь от напряжения.

— Значит, с завтрашня дня, — добавил Великопятов, — ты — подпасок! Будешь пасти колхозных коров! Или ты не согласен?

— Согласен! — Вася сиял, но сиянье свое скрывал, удерживая его, чтоб оно не полезло через улыбку.

— Ой, не знаю! — сунулся бригадир. — Кадр, да не тот. Боюсь, как бы он и корову какую на удочку не словил.

— Прекратить! — осёк Содомкина председатель и, прикоснувшись к Васиному плечу, подтолкнул его к бухгалтерскому столу. — А куру себе забери! В счет твоих будущих трудодней.

В груди у Васи тихое ликование. Дорогу в дурную колонию взяли и поменяли ему на дорогу домой.

Шел Вася к дому, чувствуя, как ползет по его лицу улыбка освобождения от подмявшего его под себя животного страха. Запах травы и осиновых дров. В воздухе выются проворные ласточки, бодро гоняясь за комарами. Неизвестно откуда взялась говорливая малышня. Облепила Васю со всех сторон. И спрашивает с азартом:

— Курицу-то кто тебе эдак расколошматил?

Вася знает, что говорить.

— Хорек!

— А ты его видел?

— Еще бы!

— Он чего? В деревне у нас живет?

— Жил. Теперь с ним покончено.

Вася врал. И врал с удовольствием. Впервые в жизни враньё показалось ему приятным.

— Васька, давай поиграем в ляпы?

– Не могу! – отвечает Вася с достоинством. – Завтра мне на работу.

– Ух ты-ы! Работу! А на какую?

– Верховым. Буду колхозных коров стеречь от волков. Сам председатель меня направил.

О, как завидовали ему его приятели-малолетки! Словно стал в их глазах он на несколько лет солиднее и взрослеем.

Вечерело. К деревне с колхозных лугов побежал низовой ветерок, принося свежину наливаемых трав. Пролетел козодой. Мелькнула, вытаяв, спинка луны, постояла секунду, шаря над облаками, и тихо скрылась, словно кто ее вызвал к себе.

Мама, как и вчера, удивилась, увидев в руках у сына поверженную несушку.

– Опять, что ли, Ниса?

– Не-е – председатель!

– За что-о?

– За то, что с завтрева дня я стану работать подпаском. И курица эта – в счет моих будущих трудодней.

– Слава те господи! – Мама перекрестилась. – Двое работников в доме. Теперь-то мы уж не пропадем!

– Ни за что! – согласился с ней сын.

Занавесок на окнах не было. Потому и видна была ночь во всей своей прелести даже с кровати. Вася долго не мог заснуть. Лежал на кровати с задумчивыми глазами. Слишком значительным было то, что сегодня произошло. Его застигли на воровстве. Собирались в милицию сдать. Но не сдали. Было ему взволнованно. Он ощущал необъятную ночь. Она шла на него и шла, не умея остановиться, да так, что и сам он стал этой ночью, захватившей в себя всю деревню, и погост на Белой горе, и огромное мутное небо, а где-то в далеких его тайниках и того, кто всегда видит землю, выбирая на ней самых-самых незащищенных. «Это Бог», – почему-то подумал Вася, улыбнулся, вздохнул и спокойно заснул.

ДОГАДАШКИ

1

Думал Фомин, что по приезду в свое Подмостовье, успокоится он, отойдет от расстройства и помаленьку наладит семейную жизнь. Но едва отворил калитку, едва ступил на покрытую майской травой задернелую тропку, как почувствовал: опоздал. Изба показалась ему нежилой. В окнах — тусклые занавески. На двери под скобой — батожок. Где мать? Где жена?

Проходила с корзиной белья сугорблая Капа, соседка Генаши. Увидев топтавшегося на крыльце солдата, узнала его и, поставив корзину, с жалью в голосе:

— Гень, это ты?! Ой, бедовская наша жизнь! Татьяна-то Иннокентьевна, — назвала Генашину мать, — в царство небесное убралась. Померла не от голоду — от надсады. Кладовщицей была. Сколь мешков поворочано. От мешков и сломалась.

Генаша спустился с крыльца. Подошел к распахнутой настежь калитке, где стояла его соседка.

— А Гранька где? — спросил про жену.

Соседка отчаянно, но и горько:

— Ушла от тебя. В лесопункт. Коля Глотов за ней из Лоченъги приезжал. С ним и живет!

Генаша вздохнул, как поднял неподъемный мешок. Поймав на себе сочувственный взгляд соседки, спросил:

— Как сама-то живешь-обитаешь, теть Кап? Замуж не вышла?

— Ой! — скорбной улыбкой выморщилась соседка. — Батюшко-свет! Не смейся над старой. Кому я нужна?

Генаша ее не слушал. В голове потемнело, как в вечернем берёзнике перед ветром.

— У кого, теть Кап, как ты думаешь, есть у нас тут ружье?

Всполошилась соседка:

— Для чего-о?

Желваки заиграли на жестких щеках Генаши.

— Навести порядок в семье! Воротить то, что взято!

— Не дури-ко, Гень! Глотов — мужик суровый. Не отдаст он тебе Градиславы!

Генаша вытащил из кармана кисет с самосадом. Вытащил и газету. Скрутил козью ножку и, закурив, окутал соседку обвалами дыма.

— Теть Кап, расстроила ты меня. А раз так, то давай успокаивай! Есть бутылка?

Старым девам в деревне, коли им выпало жить без семьи, нельзя без бутылки. Сами они, считай, и не пьют. Но живут-то они хозяйством. И управиться в нем без мужского плеча бывает подчас, ну никак! Трубу ли почистить от сажи, крышу ли, где течет, перекрыть, дверь ли поставить, чтоб затворялась. Да мало ли дел, с которыми женщине лучше бы неправляться. Поэтому и стоит до поры припрятанная бутылка. Да и не только в ней дело. Женщины в русской деревне по природе своей участливы и добры. Особенно вызывают в них жалость побитые жизнью бродяги и горемыки. А тут фронтовик. Приехал домой. А дом, как мертвец. Мать на погoste, хозяйка в бегах. Грех не выручить человека.

Конечно, Капа Генаше не отказалась. Дала, и не только бутылку, но и мешок картошки, и кое-каких овоцей. И керосину, чтоб лампу зажег и сидел не впотьмах. И даже беремя поленьев заставила взять у нее, чтоб сосед протопил в избе печь, выживая застойный воздух.

День к вечеру поворачивал. Хоть и пасмурно, но тепло. Пахнет черемухой, которая отцвела, но дух свой оставила, и вот сливает его по задворьям и улицам Подмостовья.

Генаша печь затопил. Пропустил стакашек Капиной водки. Был, как зимняя муха. Стал, как майский скворец. Распахнул на улицу все четыре окна. Мерт-

вый воздух заколебался. С затравянелого огорода так и хлынула свежина. Для уныния причин у Генаши как бы и нет. То и было ему задорно, что теперь у него есть дом. Невозможно представить, но ведь целых четыре года, всю войну, которую он прошел от звонка до звонка, ночевал, где попало, и чаще всего на холодной земле — под летящим ли снегом, дождем ли, под волглым туманом. Да и в Вологде, в коммунальном углу у Клани жил он как бы на птичьих правах и в любой из дней мог быть выставлен из квартиры. Так с ним, собственно, и случилось. И в последний свой день, отчаявшись, когда плыл пароходом в свое Подмостовье, куда вообще не хотел возвращаться, он испытывал чувство пропащающего забулдыги, кому показали на дверь в никуда.

Теперь он в родимой избе, где должны бы быть две души. И на? Ни одной! Выпив еще стакашек, он грузно, не раздеваясь, бухнулся на кровать. За то, что лежит в сапогах поверх одеяла, его не осудит ни мать, ни жена. Все ушли от него. Мать — в иные миры. Градислава — в лесной поселок. Мать было жалко. Но что теперь? С того света никто не приходит. Как ни странно, однако на Граню свою, с которой он, кстати, так и не расписался, не успел: началась война, то, что она, не дождавшись его, дала увести себя в лесопункт, Фомин почему-то не обижался. И не ревновал ни к кому. Даже где-то в душе был доволен, что она ушла от него. Не любила, значит, его. Да и он не испытывал к ней каких-то особенных чувств. Просто жили, сойдясь, как сходятся ради того, чтоб была, как у всех, хоть какая-нибудь, но семья. А то, что житье будет скучным, и они год за годом станут друг друга терпеть — верить в такое они не хотели. Однако пришлось бы, если бы не война, разлучившая их на второй неделе семейной жизни.

Теперь Генаша был вольный ворон. Нет семейного хомута. Он молод, ретив, сообразителен, смел и холост! И может пройтись сладким взглядом по всем подмосто-

винским молодухам, выбирая из них удобу, какую он приведет в свой дом.

Но это будет потом. А сейчас?

Генаша лежал, вскинув ноги на спинку кровати. В голове его много места, и мысль, которую он развивал, располагалась в ней соблазнительно и удобно.

«О, едри мою волю! Не махнуть ли мне завтра до лесопункта? Как-никак там жена. Это рядом, в каких-нибудь десяти километрах. Завтра же с ней и увижуся. О, как она глядетьцами заморгает! Муж с войны, а она – с друганом? Интересно, какими баснями объяснит мне измену свою? И на мужа ее посмотрю: как он будет бледнеть и краснеть?»

Заснул Фомин в предощущении переполоха, какой он устроит утром в квартирке, где хозяйствует ныне его жена.

Утро было сияющим. Всюду искарилась роса, свергаясь с перьев травы на оплывшую жиром майскую землю. Невдали, за окопицей, где паслось колхозное стадо, играла медноголосица погремков. Пахло туманом и грядками огородов, в которых белели бабьи платки. Манило пройтись по деревне. Себя показать. Да и видом деревни полюбоваться. Но в удовольствии этом Фомин надумал повременить.

– Гень? Ты куда? – услышал с крыльца соседней избы, где стояла, приставив ладошку к бровям, сугорблая Капа.

– В Лоченьгу! – бодро ответил Фомин.– Распустились тут! Была растатурица – будет порядок!

– Не ходи! Там тюремщиков – каждой пятый. Не приведи-ко. Еще нахлещут!

Фомин погладил ладонью по бляхе, сидевшей на толстом ремне, опоясавшем гимнастерку.

– Отобьюсь!

– Пойдешь-то как? Линией?

– Напрямки!

— Там топере пасьба! Коровы, как стрелы. А бык, что те зверь. Не мыркает. На рога чтоб не посадил. В тыю пятницу Гришу Котова чуть не смял. Ладно, бегать умеет. На выгороде и спасся...

Шел Фомин через ферму коровьим прогоном. Вон и колхозное стадо. Жмется ближе к ольховой опушке, где трава зеленее и гуще. При виде черного с белым подбрюшьем быка, в ноздрях которого слепо поблескивало кольцо, Генаша выбрал из прясла березовый кол. Присел на изгородь, сворачивая цигарку.

Тут и подпасок на чалой кобыле. Подъехал и молча глядит, выпрашивая глазами, чтобы дали ему покурить.

Генаша нехотя оглядел тщедушного парня с грубо стриженой головой, на затылке которой — тряпичная камилавка.

— Чего, сапог? Табачка, поди, хошь?

— Ъ!-гы! — лыбится верховой, разводя по бокам кобылицы обутые в лапти длинные ноги.

Фомин поднялся, дунув на парня просекой дыма.

— Попрошайка кто тебе будет?

Пастух покраснел. Развернув кобылицу, торкнул лаптями в ее светло-серое брюхо и пошел нервной иногодью к коровам, по пути полоснув кнутом мирно пасшегося быка.

Бык, подняв черно-белую голову, разглядел Фомина, который в эту минуту в обнимку с колом направился по тропинке, не собираясь сворачивать от него.

Понял бык, что пешехода с колом трогать небезопасно, потому и не сдвинулся с места, лишь посмотрел мутновато, словно сказал: «Это моя территория! Не очень-то тут...»

И парнишка на чалой кобыле смотрел на солдата таким же взыскующим взглядом и, как будто жалел, что бык оказался смирнее, чем надо.

Шел Фомин по столbam. Среди елочек и ольшин. Через лужицы и коряжки. Надоело идти. Хотел уже,

было, присесть отдохнуть. Да увидел вдали мачты нижнего склада.

Старуха с седыми косичками из-под кепки, пасшая невдали от поселка двух коз, осмотрев Фомина, улыбнулась растресканными губами:

— Глотов-то? Конюх-то наш? Где живет? Да в бараке. Не в первом, а во втором. Под елками. Около стадиона. Заходить-то в третью дверь направо с того конца. Я ведь тоже живу в бараке. А ты кто ему будешь, товарищ военный?

— По своим! — ответил Фомин и направился по тележной дороге к сидевшему в стае хмурых елей приземистому бараку.

Дверь отворил, и квартиру, куда он вошел, охватило оцепенением.

Рыжеволосый мужик за столом, молодуха, качавшая зыбку, кот на верхнем приступке печи, два окна и горшки с Ванькой мокрым на них — все смотрело на Фомина с недоумением и протестом, точно в дом вошел не живой человек, а мертвец.

— Геньк?! — стоном выдохнула молодка, и ее холмоватая грудь под полотняным сарафаном заколебалась, передавая стеснение и плечистому мужику, чье лицо окатило таким же, как волосы на загривке, медным накалом. Хозяевам было до неприличия скованно и неловко.

Фомин был доволен переполохом. Усаживаясь с края стола на лавку, покачал осуждающе головой:

— Вот так дорогая женушка встречает мужа с войны! — Голос Генаши был налит скорбью. Глаза же с грустью уставились в ямку на обнаженном горле жены.

Градислава, волнуясь, заговорила:

— Я думала, ты у нас, это...

— Хочешь сказать, погиб? — Генаша скептически улыбнулся. — Не выйдет! Такие, как я, на фронте не погибают.

— Никаких от тебя вестей, — добавила Градислава.

— Жив, как видишь! — Генаша опять построжал. — А раз так, то давай будем думать, как и где нынче жить? Правильно я рассуждаю, как тебя там, — Фомин посмотрел на хозяина требующе и жестко.

— Николай, — отозвался хозяин.

— Вот и думаю я, Николай, — продолжил Фомин, — не сгонять ли нам поначалу до магазина? Разговор у нас непростой.

Глотов с места не шевельнулся, но большой, как коряга, кистью руки шевельнул чуть в бочок. Градислава мигом сообразила.

Через минуту стол украсила поллитровка. Рядом с ней и соленые огурцы. Чуть поздней Градислава подаст и жареную картошку. И молока принесет, на которое гость посмотрит с неодобрением.

Водку разлили по стаканам. После первого, похрустев огурцом, Генаша повел указательным пальцем, обведя им всю кухню и дверь за кухней.

— Здесь — не знаю. Малы габариты. Да и хозяин не согласится. Коли и жить в этой вашей хибаре, то не втроем, а вдвоем. Третий лишний. Потому как делить свою Градиславу я ни с кем не хочу.

Хозяин опять сделал жест коряжистой кистью, шевельнув на ней все пять пальцев. И опять Градислава сообразила, что Глотов требовал от нее.

Еще одна поллитровка. Опорожнив стакан, Фомин накинулся на картошку. Ел и ел ее с хлебом и огурцами. Поднасытившись, встал. Приказал Градиславе:

— Собирайся!

— Это куда?

— В Подмостовье!

Градислава растеряна.

— Но как это? Как? Я же с ребенком? Вот он, маленький! В зыбке! Спит-посыпает.

— Как звать?

— Шура.

— От кого этот Шура?

Улыбается Градислава.

— Не от тебя же. От Николая.

— Я не брезгливый! Приму! Так что всё! Решено! Потёпали в Подмостовье. Николай нас проводит. А, Николай? Можешь нас проводить?

Николай поднялся. Брякнул по полу деревянной ногой.

Фомин малость подрастерялся.

— Так ты тоже там был?

— Был, как видишь.

— И как тебя это?

— Долго рассказывать, — Николай опять шевельнулся пятерней, давая понять Градиславе, чтоб та сбегала до соседей.

Минут через десять, когда она возвратилась, распечатал Глотов и эту бутылку.

— Ладно, — сказал, снисходя, Генаша, — оставляю тебе я свою дорогулю. Не за то, что ты меня, как зюзика, напоил. Она, как я думаю, стоит... — Фомин подзамялся, не зная, что и сказать, чтоб не выглядеть очень-то уж цинично. Но Глотов был мужиком основательным и прямым, спросил, как вывел из затруднения:

— Сколько?

— Тысячу! — улыбнулся Фомин, не испытывая неловкости от того, что в такую сумму определил он стоимость Градиславы.

Глотов сжал с яростью кулаки, но тут же их и разжал.

— Хорошо, — согласился он. Однако поставил условие. — Без заднего ходу чтобы. Отказную пиши...

Генаша не возражает.

— Диктуй.

Лист бумаги, чернилка-непроливашка и ручка с пером рондо тут как тут оказались перед Генашей. Слушая Глотова, он писал:

«Я, Фомин Геннадий Евстафьевич, отказываюсь от Градиславы Ивановны Глотовой, как от бывшей своей жены, потому как жить с ней больше не собираюсь. К Глотову Николаю Петровичу претензий не имею. В чем и расписываюсь.

*Г Фомин,
30 мая 1945 г.»*

Третий стакан с краями был для Генаши, кажется, лишним. Но он его выпил. Оттого минуту спустя и заснул, устроившись головой на столе, у тарелки с солеными огурцами.

Глотов же, проскрипев на протезе, сходил на конююшню. Запряг в карету самого смирного из коней и, глядя в ночную стемнелость, отправился с сонным Генашем в его Подмостовье.

Утром Фомин пробудился в своей кровати. Был он раздет и укрыт одеялом. На столе стояла бутылка водки. Тут же и стопка червонцев, в которой Фомин насчитал ровно тыщу рублей. И записка:

«Боле в поселок не приходи. Увижу – убью.

Николай».

2

Загудел Фомин, но не так, чтобы на полную мощь, а умненько. Одновременно приглядывался к молодкам, прикидывая умом: к кому бы из них совершить бесплошный подкат? Соседке Капе сказал:

– С Гранькой всё! Расстался на веки. Мужик у нее не худой. Правда, робкий. Меня испугался. Думал, что бить его буду. Но я решил про себя: зачем? Пусть живет с моей хорошулей. Я получше себе отхвачу. На тебе бы, теть Кап, жениться. Да уж больно ты старая для меня. Сколь тебе? Поди, 70 лет?..

— Не дури! — возмутилась Капа. — Всево 48!

— Все равно многовато. А так бы, будь тебе годиков эдак под 30 — не глядя!

Не глядя, Фомин ко многим подкатывался в деревне. И к перезрелым невестам, которым было уже под 40. И к девкам-школьницам. И к тем, кто учится в городах, но летами живет у родителей в Подмостовье. На вид был Генаша не так уж и плох. Метр семьдесят пять. Сухощав. Лицо без морщин, с умным прищуром прицелистых глаз. Гимнастерка не мятая. И медаль на груди. Однако всюду его отшивали, видя в нем хозяина-художея, кто домом жить не умеет, и не умел.

И тут Фомин возгорел желанием встретиться с Нисой. Вспомнил, что муж ее Ваня, заняв его место, как кот, пристроился возле Клани, и живет теперь с ней, как с законной женой.

Работала Ниса на птичьем дворе. Там, на краю деревни, где стоял низкий дом, а за ним огороженный частым забором куриный двор, с утра до вечера трепыхало облако крыльев. Туда под вечер Генаша и подвалил.

Ниса — баба высокая, с гладким лицом, на котором, как васильки, сияют вскипчивые глаза, встретила гостя едва не с бранью.

— Куда приперся? Да вроде и пьян? А ну-ко отседова! Покуда я палкой не запустила!

— Я с делом к тебе! Не гони! А то обижусь, уйду, и ты ничего не узнаешь.

— От дошлого знать не хочу!

— Конечно, с мужем твоим мне куда? Не равняться. Он, вон какой полный, что тебе сокольский боров.

Ниса платок развязала, сняла с головы, стряхнув его к ногам Фомина.

— Откудов ты знаешь про мужа?

— Встречался с ним неделю назад. В Вологде. На квартире. У Кланьки.

Ниса насторожилась. Снова надела платок.

— А кто она будет?

— Гулящая баба! Теперь она с Ваней твоим.

Страшным стало лицо у Нисы, будто кто топором на нее замахнулся.

— Не врешь?

— А можешь проверить. Я и адрес запомнил. Сказать?

Сдал Генаша Ивана. Сдал, как обидчика своего. Сдал Нисе, и трудно было представить страшнее судьи для него, чем она. Ниса была бабой резкой и решительной в то же время. Фомин понимал, что теперь она дома не усидит. Сядет на первый же пароход и поплывет, чтоб расправиться с Клавой и возвратится домой вдвоем — с опозоренным мужем, кого впереди ожидала еще и встреча с сыном, матерью и отцом. Хуже кары не по желаешь.

3

Свободного времени у Генаши хоть отбавляй. Собирался было вскопать в огороде грядки. Усердствовал поначалу, потратив два дня на посадку картошки и лука. На третий день, как увидел лежавшие в борозде лопату и грабли, так и стало ему уныло. «Зачем это мне? — спросил у себя. — Каб семья была, можно б и постараться. А так... нет ни смысла, ни интереса. Лучше пройдусь-ко я барином по деревне... Душа скучилась по беседе...»

Первым, кто в это утро попался ему навстречу, был вершник Вася, правивший на кобыле за ферму, где корилось стадо колхозных коров.

— Телят караулишь? — окликнул его Генаша.

— Коров! — поправил с достоинством Вася.

— Карапуль, карапуль! Да смотри, чтоб коровам твоим волки титьки не отодрали!

— А это на кой? — Вася вскинул плечо, и кнут, просвистев, пробежался возле Генашиных ног по дороге.

— Копырзёнок! — ругнулся Фомин и тут же забыл подпаска, увидев босого мальчика лет десяти в коротких с лямочками порточках, стоявшего у калитки с белым козликом на руках.

— Э-э, мужик! — крикнул парнишке Фомин, еще и сам не зная, что дальше скажет ему.

Мальчик, кажется, рассердился.

— Я — не мужик. Я — парень!

Генаша свесела подмигнул:

— А я кто, по-твоему?

— Ты — срамник!

Удивился Фомин:

— Это почто?

— По то, что меня мужиком обозвал!

Понял Генаша, что с мальчиком каши не сваришь. Или глуп, или не образован, коли такое простое словцо как «мужик» за прозвище принимает. «И чему их там в школе учат?» - подумал, с неудовольствием вспомнив о том, что и сам он, когда учился, не особо блестал в ответах своих на уроках, получая за них в лучшем случае «уд».

Около лавки встретил Генаша сдобную, при румянце, в платье цветами смазливую бабу. Шла она с кирзовской сумкой, откуда торчали хвосты магазинной трески. Прикололся Фомин, обольщая бабу улыбкой:

— Покореводимся? А-а? Вечерком? Жди! Здесь живешь-то? — Генаша взглянул на мостки за открытой калиткой, куда молодуха свернула, смеясь:

— Мужа-та звать моего Никитой. Спрошу его: можно ли это?

Над зубцами забора выросла круглая в кепке с надломчиком голова, широкая шея и грудь, покрытая красной косовороткой. Никак сам Никита.

— Чего-о? — спросил он, не понимая.

— Беседливой ухарёк, — показала баба на Фомина. — свиданье мне в нашем домике назначает. Ты как на это глядишь?

Никита обмерил Генашу пасмурным взглядом.

— К Дуньке моей не вяжись. Еще раз увижу — поставлю вперед взамен рыла затылок! И ноги повыдергаю с корнями!

Генаша ушел от греха подальше. Расстроился даже. Не оттого, что Никита ему пригрозил. А оттого, что ему не везет на молоденьких баб. Он даже голову опустил. Шел и шел себе по дороге, изучая глазами камешки и травинки. И вдруг — зашнурованные ботинки, красивые ноги над ними и бойко трепещущий на лодыжках подол домотканого сарафана. «Еще одна мужняя женка! — подумал. — Ну, их! Свяжешься — и не хочешь, да будешь ходить с повёрнутой головой». И все-таки он оторвал глаза от дороги. Перед ним — светлобровая молодуха. Баше той, из-за кого ему пригрозили. И как будто одна. Секунду всего и видел, а на, вот, запомнил, вложив в свою память ее чуть скучающее, в редких веснушках лицо с внимательными глазами, которые словно бы спрашивали его: «А может, ты тот и есть, кого мне так сейчас не хватает?..»

Обернулся Генаша. И она обернулась. И улыбка, сбежавшая с ее губ, как бы стала его улыбкой. «Кто такая?» — спросил у себя Генаша, ступая по мураве вдоль дороги к нижнему краю деревни.

— Солдат? — окликнул Генашу чей-то веселый голос.

С крыльца поднялся высокий, в чесаных бурках старик с бровями-ступеньками над глазами. Был он в расстегнутом кителе, бриджах и офицерской фуражке с простреленным козырьком.

— Не Фоминов ли отростыш? — спросил, широко улыбаясь. Обнял Генашу, как сына, с которым не виделся всю войну. — Отца твоего, ой, как помню! Вековешный шутник! И ты, поди-ко, в него?

— Даля Федя! — признал Генаша в стареющем человеке молодцеватого гармониста, кто уходил на войну с белофиннами вместе с его отцом. Уходил, разводя на

груди тальянку, да так, что трели ее доносились до пристани, где собирались призывники.

— Антонина! — крикнул Федор выглянувшей в окно курносой старушке. — Ну-ко, подай по весёлому ковшику. Выпьем с воином за его отца! И вообще — за всех, кого разбросала война по свету...

Сидели они на крыльце. Молодой и старый. Курносая Антонина ухаживала за ними, принеся из дома поднос пирогов, два литровых ковша и ведерко поспевшей браги.

— Выпьем за славные времена! — Федор зачерпывал брагу, нес свой ковш навстречу ковшу Генази, чекался, восклицая:

— Бывалotto и на лодках гуляли!

— Бывалotto — каждой день пироги!

По дороге — скрежет колес. Лошадь в яблоках. На телеге с вожжами в руках между фляг — белоусый мужик в бескозырке.

— Митька, никак? — Федор машет ему рукой. — Здорово, моряк!

Генаше же объясняет:

— Водолазных дел мастер. Всю войну — под водой. Теперь на суше. Возит на пристань колхозное молоко...

Между ковщиками находит Генаша время, чтобы спросить:

— Как поживаешь-то ты, дядя Федя?

— Будничаем. А ты?

— И я навроде того...

Тут вдоль по улице, как прорезало женским криком:

— Витька! Не ходи-ко туда! Там в кустах, под елками бродит чертуха! Еще утащит в болото!

Но Витька был, видать, смельчаком. Промчался, как дуновей, подымая босыми пятками пыль с дороги. Вслед за мальчиком — баба в кофте, волосы стелются за спиной.

Федор дает объяснение:

— Это соседка. Марина. Угарная баба. Каленая, как кочерга. Иноё я ее ажно остерегаюсь...

Солнышко. Теплая благодать. Тут и там вьются ласточки с воробьями.

Генаша сам не заметил, как задремал. Очнулся от дрёмы, увидев сквозь доски забора в красивых ботинках красивые ноги. Поднял повыше глаза. И лицо его поглупело от удивления. Опять эта самая молодуха в будничном сарафане, на лямках которого пляшет русый фонтанчик волос, опахнувший всю ее шею из-под косынки.

— Сирота, — вздохнул с грустью Федор.

— Это как? — пожелал Генаша узнать о молодке, как можно больше.

— А вот так. Девка — золото. И жизнь была у нее добра. Да война испортила всё. Беда за бедой. Пришла похоронка сперва на отца. А потом — и на мужа. А зимусь померла и мать. Во, хозяйка-та бы была! А-а, Генашка? Был бы ты не пьянчужка, сам бы тебя за нее сосватал!

Фомин не упорствует.

— Что верно, то верно. Не по губе, видно, мед. Коли быть побитым, найдется и палка.

— Хотя тут дело такое! — Федор повел бровями-сту-пеньками так значительно, точно знал, как направить Генашу на правильный путь. — Коли эту заразу, — посмотрел недовольно на брагу в ведре, — в сторону от себя, то и мед может стать по губе. И никакой тебе палки.

Генаша заволновался. В кои-то веки желают ему разумения и добра? Рассудил:

— Брошу пить. А вдруг и получится? Хотелось бы, дядя Федя. Мне и всего-то 26 лет.

Федор поставил вопрос:

— Летами взошел хорошо! А умом?

— Умом? — растерялся Генаша.

Федор не стал объяснять, но сказал, как суровый учитель:

— В этом суть нашего бытия! — И, зачерпнув из ведра по ковшу, предложил:

— По последнему?

— Нет, я не буду, — отказался Фомин.

4

Лето уже подходило к зениту. Свистели в лугах свирепые косы. И Генаша в лугах. Ставит с колхозными бабами стог за стогом. Сам бы явиться в колхоз на работу не догадался. Да председатель послал за ним верхового. Разговор был короткий. Председатель сказал, как поставил печать:

— С завтрева выйдешь на сенокос!

Генаша чего? Согласен. Дело знакомое с детства. Председатель подразъяснил:

— Он у нас в Подулице, в Хуторах, на Вороньей горе, в Исадах. Знаешь эти места?

— Знаю.

— Вот и будь там, как штык. Разорвись, а чтоб 200 стогов стояло!

Удивился Фомин:

— Уж не начальником ли меня?

— Звеньевым. Не хотел бы, да не кого боле. А теперь — а конюшню. Забирай, хоть Ястреба, хоть Матроса...

Удивился Фомин, что его, такого беспутного, вредного, без царя в голове, — и вдруг в колхозное руководство? В то же время и лестно ему. Никогда людьми не командовал. И, пожалуйста, вам — звеньевой!

Старался Генаша. Сам председатель отнесся к нему, как к какому-нибудь товарищу из райцентра. А может, и вправду, есть в нем нечто такое, чего нет в забулдыгах и дураках?

Худощавый и черный, как головешка, Матрос таскал его на себе с одного урочища на другое. Фомин и тетрадку завел, куда записывал пофамильно всех кол-

хозников и колхозниц, кто пластался на сенокосе. Собственно, люди знали и без него, что и как полагалось делать. На конных косилках работали мужики. Старухи же, девки и молодухи на сеногребе.

Фомину можно было не вклиниваться в работу. Но было ему неудобно, что он, такой ловкий и спранный, будет стоять в стороне, как какой-нибудь наблюдатель.

Чувство задора играло во всех его косточках и суставах, когда, отстранив тороватую стоговщицу, он сам становился на стог. И было ему азартно до упоения, когда загорелые молодухи старались его закидать пышным ворохом кошенины, а он, поигрывая граблями, ловил и ловил летящее сено, подминая его под себя. Уставал, задыхался, только-только что успевая. И не просил, чтоб его пощадили, сбивали темп, кидали пореже. Наоборот, уронив язык на плечо, жадно требовал:

— Не спите, девки! Шибче! Пуще!

И так на всех четырех сенокосах был Фомин на подъеме физических сил. Да и желание, чтоб понять, на что он гож и не гож, гуляло в его крови, когда он хотел проявить себя в самом ответственном деле. Особенно, если оно лежало через косилку. Садился в дрожащее кресло и вел коня вдоль покоса, следя за идущим с ним рядом вращательным кругом, в котором летели, как сабли, острые косы, ссекая срыва густую траву.

Машинисты, угадывая нутром настроение звеневого, уступали ему косилки. Все они были фронтовиками. Троє из них сошлись с Генашей накоротке, курили с ним общий табак и похлопывали его по плечу, как свои своего. Четвертый же из Подулицы Степан Бородяев почему-то его невзлюбил, был с Генашей высокомерен и, уступая косилку, однажды взял и предупредил:

— Поаккуратней. А-то я вас знаю.

Генашу задело, и он подзвался:

— Кого это вас? Может, ты разглядел во мне какого-нибудь шпиона?

Бородяев, не разжимая губ, презрительно процедил:

— Выскочку разглядел. Всё-то ты можешь, всё-то умеешь. Видали таких...

Генаша не стал заводиться. Потому и сказал, насмешливо улыбаясь:

— Тебя, поди-ко, надо на «вы» величать. Однако я недостаточно вежлив. Так что прошу меня извинить, ваше высокородье...

Вечером, когда все расходились по разным тропкам к своим домам, Фомина придержала одна из колхозниц, в ком Генаша признал ту самую молодуху, о которой дядя Федя сказал, что она сирота.

— Геннадий, — сказала она, подняв на него чуть подвялое, с грустной улыбкой скучастенькое лицо, — ты человек, по всему видать, смелый. Слышала я, как ты с Бородяевым говорил. Осторожнее с ним. Ты у нас звеньевой. А метил на это место Степан. Да председатель его не поставил...

— Значит, было, за что его не поставить, — сделал вывод Фомин, задержавшись взглядом на молодухе, чьи глаза были взяты ласковой грустью, сквозь которую пробивалась скрытая женская благодарность.

— Спасибо тебе, красавица! — неожиданно для себя добавил Фомин.

— Ой! Красавица-то зачем?

— А звать тебя как? — улыбнулся Генаша.

— Галина.

— Какое хорошее имя!

— Что имя, ежели всё у меня позади. Все мои песенки спеты.

Генаша, как и тогда, в тот день, когда впервые ее увидел, сильно заволновался. Стеснительный вид Галины, ее сарафан на шелковых лямках, доверительное лицо, как бы просившее обороны, пальцы рук, держав-

шие горстку цветущего пырея, — все это высветилось в глазах Генаши каким-то доброжеланием, даже лаской, и он застенчиво произнес:

— А может, еще не все?

— Хорошо бы! — Галина весело повернулась и, помахав букетиком пырея, поторопилась по тропке к себе в деревню.

Фомин с уздечкой в руке, придерживая Матроса, смотрел ей вдогонку. Видел обнявший гибкое тело ее легкий ситцевый сарафан, фонтанчик русых волос, расплескавшийся под косынкой, и было ему в эту минуту молодцевато, легко и лихо, как гармонисту на вечеринке, когда его уговаривают сыграть.

Сзади — топот, тяжелое ржанье, голос сердитого верхового:

— Вылупился? А зря!

Генашу так и обдало ответной злостью. Оглядел Бородяева острым взглядом, бросил с вызовом:

— Это еще поглядим!

Верховой обернулся, качнувшись в седле. Качнулось и все его долгоносое с крепким лбом волевое лицо, а голос выплеснул, обещая:

— Ты не знаешь еще меня!

— Не знаю, и знать не хочу, — ответил Фомин, провожая взглядом хвост и ляжки чалого жеребца, уносившего вершника к перелогам, за которыми пряталось Подмостовье.

Как и всякий общительный человек, Генаша легко сходился с людьми. Ему нравилось путешествовать на Матросе от одной луговины к другой. Нравилось и людей заряжать энергией на работу. Где дело остыло — тут он и есть. Он и с косой. И с граблями. И с сеном-ворохом на носилках. И везде он спешил, словно кто его подгонял, понуждая и тех, кто с ним рядом, работать проворнее и быстрее. Его стали даже остерегаться. И удерживать от излишних его порывов. Иногда его даже и упрекали:

— Ты уж нас совсем загонял, Геннадий!

Фомин смеется:

— По вам не видно!

Ему объясняют:

— Не до седьмого же пота! Колхоз колхозом, а надо думать и о себе.

— А я вот не думаю! — улыбаясь, баxвалился звеньевоy.

На что ему вразумительно отвечали:

— Женишься. И тебе будет думно. У нас ведь у всех по дворам скотинка. А кто для нее наготовит кормов?

Вот оно что! Наконец-то дошло до него, что люди себя берегут, потому как приходится биться им в двух работах — в дневной — на колхоз, и в ночной — на себя.

«Надо быть быками, а не людьми с эдакой-то нагрузкой!» — приходило в голову Фомину, когда он заглядывал в перелески, где среди ольховых редин стояли стога, по-местному — догадашки.

Ставили их колхозники по ночам. Все поляны обкашивали вручную. Работали с остерёгом, чтоб не быть застигнутыми врасплох. Поймают — жди неприятностей. Вплоть до следственной канители, а там и суда, за которым последует жизнь по правилам лагерного режима.

Догадашки прятали сенокосники от начальства. Остерегались не председателя. Тот редко когда навещал сенокос. Да если б и навестил, ничего бы плохого не сделал, скорей всего сделал вид, что не видел этих пряток. Пуще всего боялись колхозного бригадира и кого-нибудь из приезжих, будь то инструктор райисполкома или райкома и хуже всего нырливый корреспондент, имевший привычку быть там, где его никогда не ждали.

Звеньевого не опасались. Быстро поняли, что Генаша за них. Сочувствует им, как сочувствовал бы себе, кабы был при хозяйстве с овцами и коровой. К тому же Генаша и сам стал работать на скрытных полянах. И не

с кем-нибудь там, а с Галиной, помогая ей подымать догадашку за догадашкой.

Бригадира Генаша встретил там, где его встретить не собирался. Ехал как раз на Матросе к последнему из стожков, который он собирался поставить сегодня вместе с Галиной. Галина была на месте. А он задержался. Надо было заехать в контору. И вот он, коротко отчитавшись перед главой колхоза, едет себе обратно, сделав крюк к догадашкам, таившимся в сумерках перелесиц, что раскинулись под деревней вдоль колхозных лугов.

Содомкин даже одрог, когда увидел Генашу, повернувшего в его сторону из-за стога. Бригадир был верхом.

— Гуляем, Иван Никонорович? — улыбнулся ему Фомин.

Продолговатое, с бакенбардами, как у гоголевского Ноздрева, лицо бригадира моментально переменилось, перейдя из строгого в мягкое, как если бы встреча с Генашей была для него ожидаемой и приятной.

— Надо когда-то и погулять, — согласился Содомкин, — давно не бывал я в этих краях. Гляжу, все тут прибрано. Всё так чисто и аккуратно. Следы от грабелек даже видать. А стога, каковы! Будто выстали на парад.

Слишком красиво заговорил бригадир. Не веря ему, Генаша спросил, нажимая на голос:

— Не одобряешь, Иван Никонорович?

— Да что ты, Геннадий! Наоборот! — Иван Никонорович, чуть шатнувшись, пнул сапогом, внедряя носочек в гладко зачесанный стог. — Как-никак даровое сено! Радуюсь за людей. Будет хоть корм у них для скотинки. Одно вот хотелось бы мне понять. Скажи, Геннадий, а эти ваши красивые догадашки не отвлекают людей от колхозных работ?

— Нет, конечно! — ответил Фомин.

Бригадир улыбнулся, да так широко, что щеки его поехали. Поехали вместе с ними и бакенбарды, и был

он в эту минуту похож на родственника Генаши, который гостил у него и вот, нагостившись, нехотя расстается:

— Ну и добро! И тут хорошо! И там все в порядке! Чего еще надо для бодрой жизни? Действуйте! Только поосторожней. — Содомкин и голос посизил, точно кто мог услышать его. — Чтобы об этом никто не узнал. Особенно из района. Согласен со мной?

— Очень даже согласен! — кивнул Фомин, провожая глазами бодрого бригадира, утонувшего вместе с конем в поднимающемся тумане.

О встрече своей с бригадиром Фомин не рассказывал никому. Даже Галине.

В Галине он не чаял души. Сегодня, поставив последний стожок, они сидели в выемке сена, как в мягкой пещерке, и отдыхали.

Отдыхали и звезды, прорвавшиеся сквозь вечность, оставив вдали все свои беды и катастрофы. Были они наполнены знанием о вселенной. Однако не ведали, кому это знание передать, и вот уставились венчиками своими на солнную, под седыми туманами землю, плывущую вместе с ними туда, где их ждали новые знания, катастрофы и неизвестность.

Не первую ночь делили между собой молодые. Не первое небо видели над собой. Не в первый раз обнимались и целовались. Устроившись головой на груди у Галины, Генаша поклялся:

— Я тебя никогда не брошу! А ты?

— Что — я? — улыбнулась Галина.

Генаша увидел вверху стемнелую ветку, на которой сидела проворная трясогузка, с любопытством подглядывая за ними.

— Не прогонишь меня?

— Ни за что! — высветилась Галина.

Генаша забыл дорогу домой. К Галине! С Галиной! И у Галины!

Не было времени на ненужные разговоры. Они жили, как муж с женой. И мечтали: как только кончится сенокос, пойти в сельсовет, чтобы там записали их как супругов.

На работу они уходили врозь. Галина пешком. Он верхом. Она — к близким лугам. Он — к дальним, с тем, чтоб за день успеть побывать в трех местах, а под вечер — в четвертом, в Подулице, где была у него Галина. Был еще и Степан Бородяев. Взламывая в усмешке лицо, тот нет-нет и косился на Фомина — предупреждающее и угрюмо, как если бы собирался его задушить.

Дивно было Генаше. Как-то полюбопытствовал у Галины:

— И чего он так меня ненавидит?

— Жена у него больная, — сказала Галина, — из дому не выходит. А во мне полюбовницу углядел. Сколько раз приставал! Фу-у!

— Прикажи! — распалился Генаша. — И я ему голову переставлю!

— Не вздумай! Брат у него в милиции самым главным. Хуже будет. Лучше не задевать. Пусть живет, как умеет. Нам-то что до него...

Женщина знает, что говорит, потому что думает не умом, а сердцем. У Галины огромное сердце. И Генаше возле него очень усидчиво, очень уютно.

5

Дни бегут. Пробегают сквозь лето к осеннему ли-стопаду. Сенокос завершен. Поставлен стог — самый осадистый и последний. На макушку его уселся пепелятник, провожает людей, правящихся к деревне. И на Галину с Генашкой глядит, равнодушно окинув их ястребиной поглядкой.

Хорошо молодым. На душе у обоих — праздник. Завтра у них торжественный день: пойдут в сельсовет, где их объявит женой и мужем.

Не знали, не ведали труженики лугов, что по главной дороге деревни от колхозной конторы к Подулице громыхали на двух телегах приезжие из райцентра. Приехали по сигналу осведомителя, сообщавшего о хищении в крупных объемах колхозных кормов, и что в хищении этом замешан сам звеньевой. Возглавлял приезжих главный милиционер района капитан Бородяев. Вместе с ним трое милиционеров в форменных гимнастерках.

Нужен был председатель колхоза. Но в конторе его почему-то не оказалось. Бородяев окинул взглядом столы.

— Где председатель? — поставил вопрос.

Но ни бухгалтер, ни кладовщик, ни кассир не могли на него ответить. Кстати для капитана оказался в конторе Содомкин, низкорослый мужик с лохматыми бакенбардами и глазами, в которых высвечивалась учивость.

— Спрятался, — сказал он, выступив из-за печки.

Бородяев потребовал объяснить:

— Это как?

Кассир, кладовщик и бухгалтер пожали плечами. Бригадир же знающе улыбнулся:

— Робок характером. Всегда прячется, коли кто к нам едет с проверкой.

Бородяев прошелся взглядом по всем столам.

— Обойдемся тогда без него. Кто покажет стога?

— Колхозные? — уточнил тихим голосом кладовщик.

— Бесхозные! — ответил с рокотом Бородяев.

Бухгалтер с кассиром уставились молча на бригадира, мол, он у нас знает тут всё и про всех, он, наверное, и покажет.

Бородяев взглянул на сидевшее в бакенбардах рубчатое лицо.

— Знаешь, где они там?

— Догадываюсь, — улыбнулся Содомкин.

— Так что же мы время теряем?

Три пары глаз устремились взглядом за капитаном, вслед за которым покинул контору и бригадир.

Ехали громко. На грохот телег из курятников и ко- нур вылезли головы птиц и собак с потревоженными глазами.

Содомкин, сидевший около капитана, учтиво осве- домился:

— Кого-то, наверное, будете брать?

— Будем.

— А можно узнать?

Китель на Бородяеве от хлопка ладонью по клапану накладного кармана пошевелился.

— Тут все записано. А записывал кто-то из ваших, из деревенских.

— Неуж-то? — изобразил удивление бригадир. — Кто бы это мог быть?

Капитан позволил себе улыбнуться.

— Один из тех, кто неставил эти самые... догадаш- ки. Ты-то как? Сставил их? Или неставил?

Содомкин воздухом поперхнулся. Хотел, было что- то сказать, и не смог.

Солнце снижалось, почти прикасаясь к макушкам далекого леса. Вращавшиеся колеса вращали и солнечные лучи, пытаясь их затолкать под телегу. Пыль поднималась и долго стояла, словно задумавшись, над дорогой. Какой-то малыш без штанов в долгополой ру- башке забежал в эту пыль и радостно засмеялся, махая руками, как птица, которой надо лететь, и она полетит.

Вскоре обе телеги, выехав за деревню, свернули к колхозному лугу. От луга навстречу — артель молодух и старух, и где-то в ее глубине худощавый молодец в гимнастерке, на которой поблескивает медаль.

— Этот, что ли, кашу-то заварил? — спросил капитан.

— Он, он, — кивнул бригадир.

Лошади, помахав хвостами, остановились. Бородяев спрыгнул с телеги.

– Звеньевой? Который из вас? – властно спросил, хотя и так уже знал, выделяя глазами легкого на ногу мужика, ступавшего рядом с русоволосой женщиной в сарафане.

– Здесь! А что такое? – ответил Фомин, приближаясь.

– Показывай, где тут у вас эти самые догадашки? Насторожился Фомин.

– Зачем они вам?

– Затем, что сено в них воровское.

Вспыхнул Фомин:

– Неправда! Никто это сено не воровал!

– Тогда откуда оно?

– Из лесу. Не с колхозного же угодья.

– А лес тогда чей?

– Общественный!

Бородяев сообразил, что мужик перед ним отпорный, не спасует перед милицией, будет стоять на своем и в споре ему не уступит. Недолго думая, он взмахнул, забирая жестом руки трех бойцов в таких же, как у стоявшего против него упрямого спорщика, гимнастерках.

– Взять его!

Была у Генаши секунда, в которую мог бы еще защитить он себя. Он рванулся к колхозному бригадиру.

– Сodomкин! Скажи им, что нет никакого тут воровства!

Сodomкин потупил глаза, потупил и бакенбарды. Было ему неловко, оттого, что все на него глядели, а рядом трое бойцов из охраны, взломав звеньевому руки, вязали его веревкой и, зло бормоча, не вели, а тащили к пустой телеге.

Сенокосцы стояли, как пораженные, еще не совсем постигая, какая беда навалилась на Подмостовье. Где-то сзади стоял, сугорбившись, и Степан, брат начальника милицейского отделения. Стоял, отчаявшийся и бледный, со сжатыми кулаками, еле удерживая себя, чтобы не кинуться с боем на брата.

Разворачивались телеги. На передней сидел Бородяев. Рядом с ним, по ходу телеги, спешил, спотыкаясь, Содомкин, запоминая то, что ему говорил капитан:

— Завтра следователь приедет. Проводи его к этим чертовым догадашкам...

Ко второй телеге, где лежал по рукам и ногам связанный звеньевой, как подбитая куропатка, метнулась растрепанная Галина.

— Геня! Да что это! Дикость какая-то? Как же? Как же?

Какие-то бабки ее поймали и крепко держали в своих объятиях, боясь за нее, как бы она сгоряча, чего не надо, не натворила.

— Галиночка! — отвечала телега. — Мне нельзя без тебя! Я, не я, коли я не вернусь! Жди-и!

Был поздний вечер. Солнце старательно пробиралось сквозь красное марево горизонта в уже ушедший с лица земли летний день, где, казалось, что-то забыло и вот возвращалось, чтобы забрать забытое и опять, как ни в чем не бывало, явиться к людям, разбросав во все стороны темноту. Последний лучик его скользил по дороге, с трудом заскакивая в телегу, чтобы высветить напоследок воинские рубахи, в которые были одеты конвоиры и арестант.

КОРОТКАЯ ПЕРЕДЫШКА

1

Великопятов, скрипя деревяшками ног, ступает себе по ползущему около поля проселку. То к деревне. То от деревни. День и ночь перепутаны у него. В голове сплошняком — думы, думы. И все они о земле, о хлебе, о предстоящем.

Ранняя осень. Волглыес сумерки. Дремлет, шурша лапником и шишками, старый ельник. И вдруг погост-

ная тишина, а в ней спускающийся к земле сам небесный ходок – белый месяц. Под месяцем стелется по стерне нехоженая дорожка, обливая свои обочины слепо блещущим молоком.

Великопятысу любо всматриваться в знакомые очертания елово-березовых островков, как караульщиков желтой живы с ее ометами и стогами, в которых роется ветерок, перебирая уложенную солому.

Главным была в эти дни уборка. Справились общим миром. Золотые суслоны стояли в полях, как степенные кавалеры, дожидаясь, когда их загрузят в телеги и увезут.

Чтоб убежать от дождей, свозку хлеба вели на всех лошадях. Подвозили жито к пяти овинам. В каждом из них помещалось по триста снопов. Устилали снопы по решетинам над пожогом, где и денно и нощно горели кряжи. Следит за овинами Федор Насадкин, великовозрастный, в пыльных бурках, с бровями-ступеньками старолеток, насквозь пропахший сухой соломой.

Гумённик со всеми его овинами, луговиной, двором и гумном – как огромный гудящий улей. Вместо пчел в нем – усердные бабы и мужики, а на воле, где веют зерно и отвозят солому, - старательные подростки, с лицами, на которых мужское, раньше времени вылезшее взросление.

Хозяином здесь – председатель Великопяты, такой победно несокрушимый там, где плечи, шея и голова, и такой уязвимый, где его ноги, вернее, не ноги, а стулбаны. Светлые, с проседью волосы, чтоб не лягались, смазаны маслом. Оттого и пахнет вокруг него истопившейся печью, откуда вот-вот достанут поспевшие пироги.

Председатель горяч. Успевает и тут, и там. То он с цепом, знай, колошматит киём по верхушкам снопов, выбивая из них прыгучие зерна. То с трехрогими вилами, подавая на них из кладей необмолоченные снопы. То хватает по паре пузатых мешков, загружая ими дву-

колку, чтобы сходу отправить ее к амбарам, где – телеги, лошади, коновязь и стремительный, ко всему успевающий Гриша Котов, подмостовинский кладовщик с ремнем на плаще, под которым торчит тетрадочный поминальник.

Молотьба – операция затяжная. Управляются с ней не раньше, чем к Новому году. Великопятов хотел бы свернуть ее до морозов. Чтобы меньше было глядильщиков молотьбы, коим вольно бывать здесь как осенью, так и зимой, проявляя себя толкачами разных районных контор, готовых взять под контроль каждый сноп и каждое зернышко урожая.

Великопятов ступает домой. Дать ногам отдохнуть от потертостей, сбившейся ваты и жестких ремней. За ворота еще не шагнул, как от теплой ржаной горы, где теснится с лопатами стайка колхозниц:

– Иван Политович! До утра нам тут? Али как?

Обернулся Иван Политович, кивая на спицы в стене, где висят зажженные фонари, освещая гумно.

– Пока не кончится карасин!..

Снова ступают ходячие деревяшки, оставляя в земле продавленные следы. Вдоль гумна. Вдоль синеюще-го овина, откуда, раздвинув пар с дымом, как из чади-лиша, вылезает, чернея бровями-ступеньками, бывший воинский повар, ныне овощник Федор Федорович Насадкин.

Великопятов остановился. Засунул руку в пиджак. Достает из него кисет с табаком, прихватив заодно и сгибень газеты. Сворачивает цигарку. Не отказывается от курева и Насадкин. Интересуется председатель:

– Бурделягу-то как? Ставить не разучился?

– Было бы из чего.

– А сивуху?

– И это могу.

– Как бы ты, Федя, у нас раньше времени не сомлел?

– Не в кабаке и родился, не в винте и крестился.

— Вот и ладно. Вскорости праздник затеем! Ведро самогонки можешь накапать?

— Было б жито.

— Будет! Главное: надо людей вдохновить. Четыре года без радости. Сделаем радость!

— Во имя отдохновения! — улыбнулся Насадкин.

Улыбнулся и председатель:

— Во имя жизни и этого вот всего! — вывел руку, поворачивая ее от вечерней деревни к вечернему полю.

Покурили — и разошлись. Насадкин — к завитым огнем кряжикам и поленьям. Великопятов — к деревне.

Вон и амбары с телегами. А за ними — смутные пятистенки, стоят в приземном тумане, как пароходы в затоне, где решили зазимовать.

Слева, до самого горизонта — отработанная земля — скучная, как оставшаяся в живых после жизни. Стесняясь своей наготы и ненужности, глядит она в низкие небеса в ожидании туч и снега, без которых, как девушка, ощущает себя голой до неудобства.

Еле слышимые удары. По полю кто-то, кажется, скачет. Скачет замедленными прыжками. Наверное, заяц. Куда он? Видимо, к ближней опушке, где куртinka берез, откуда, словно чужая душа, застонал вдруг надломленный сук, поворачиваясь по ветру.

В голове председателя напряженно, как в доме, который могут обворовать. Не уходит из памяти осень 32-го. Председателем он еще только-только. С весны. Оыта никакого. Урожай в ту осень был невысокий. Распределяя его, он невольно урезывал трудодни. А тут еще гости. То агенты заготконторы. То служащие райпо, то аппаратчики из райкома. И всем им выдай свеженамолотый хлеб. Не выращивали, а выдай. Великопятов упорствовал, как умел. Однако сила была не за ним. Было зерно в колхозных сусеках. Стало — на грядках подвод, отправлявшихся под охраной милиции в строгий город.

Зима 33-го года на всей Вологодской земле была малохлебной, весна же – и вовсе бесхлебной. Трудодни потеряли силу, так как нечего было на них выдавать. Колхозники, что ни день, то торили дорогу к Белой горе, где погост, куда попадали в первую очередь дети и старики.

Иван Политович видел, как на яву, одетого в саван, без тела, Голodoхода, как тот, стуча батогом, проникал в каждый дом, чтобы всех и всё остудить и выставить из жилого. Великопятов спрашивал у себя: «Будущее без нас? Или мы без него?»

Без будущего, решил. Чтобы люди не умирали. И, не мешкая, вопреки всем суворостям и запретам, раздал по домам семенное зерно. Не все, разумеется. Половину. Оставленными семенами хотел оживить яровое поле. И ожил бы. Да не успел. Кто-то из деревенских уведомил вышестоящую власть о том, как он раздавал семенное зерно. За это с Ивана Политовича спросили в маленьком зальце районного нарсуда, определив ему новое местожительство на Дмитлаге – многоверстном прогоне земли, соединяющем Волгу с Москвой, где 192 тысячи заключенныхрыли канал.

Вот почему в эти дни, что пали на осень 45-го года, он затвердил для себя: «Голод в деревню не пропущу!» Будут опять приезжать, как тогда, посланники разных организаций с тем, чтобы взять у них «лишние» рожь, ячмень и овес, обрекая деревню на тихий выморт.

Утаивать! Оставлять про запас! Государству не всё, что имеет колхоз, а лишь то, что положено сдать в виде поставки, пошлины и налога.

Иван Политович понимал, что такие ходы чреваты. Снова можно попасть на канал. В то же время являлось ему и другое: устраивать так, чтоб туда не попасть. Как-никак за спиной горемычный опыт. А рядом с опытом – осторожность. И чувство меры. И вера в верных ему людей. Таковыми были бухгалтер и кладовщик.

У одного из них – подотчетные документы. У второго – припрятанный хлеб. И еще был резерв, тот, который давал неучтенные деньги. Это промысел. Даже два. Один – где спокойные воды реки, второй – где колхозная лесосека.

Деньги, деньги. Если запросто живешь, их никто не давал и давать никогда не будет, то за нужное дело – они, как нашел. Знай, лишь рыбу лови. Да руби из поваленных елок белые домики или бани. Что и делал Великопятов, сбив бригаду деляночных избостроев и артель рыбарей.

Главный рыбак его Митя Субботин легок на помине. Возвращался с устья, где перед сухонской быстриной, расставлял рыболовные сети, чтобы рыбу, какая в них попадет, не мешкая, в этот же день пустить в оборот. Потому Иван Политович и назначил Митю старшим над рыбаками, что был он очень уж совестливым и честным, сам рыбу домой не таскал, и другим не давал. Оттого весь улов попадал или в столовую парохода, или в забитый снегом и льдом колхозный ледник.

– Иван Политович, вот с двух уловов, с седнишня и вчерашня! – Субботин лезет в карман суконного, из шинели шитого пиджака, вынимая завернутую в газету колоду денег. – Завтра снова, поди, продадим.

– Пароходским?

– Да. Спрашивают опять. На обратном пути заберут.

– А налогите?

– Для чего и сетки стоят!

– Верно! Верно! – Великопятов тылом ладони, любя, коснулся Митиного плеча. – Всяк, как хочет, а мы, как можем!

В стоптанных сапогах, с выпусктом светлых волос из-под кепки, маленький, шустрой, право как школьник из семилетки, Субботин сворачивает к проулку, где его дом. Великопятов машет ему вдогонку, прикидывая с заботой: «Рыбарям, перво-наперво – сапоги. Всё

в воде. Не долго и простудиться. Больно уж ветох у них обуток. Куплю, куплю. Вот только денег чуточку поднакопим. Ходите ребята, плюхайтесь по воде»...

Тихо в деревне. Улица широка. Справа и слева дородные, ставленые в том еще веке избы и пятистенки, в окнах которых алыми крестиками моргают заправленные на ворвали жирники и мигалки. И опять председатель в заботе: «Пора бы вас лампами заменить. Со стеклом. Пожалуй-ко, продавщице скажу, за товарами в город поедет, пусть привезет и ламп. Трехлинейных, а то и семилинейных. На сапоги денег нет, а на лампы найдем...»

Тишина – и вдруг шагах в двадцати, где дом под трёхмя рябинами, сглушённая рамами окон – женская песня, такая нелепая в эту минуту, что председатель при задержался. «Надо же? Это Галина, – подумал сквозь удивление, – горемыка из горемык. Такая молоденька. Мужа в войне потеряла. Второго нашла. Звеньевого Генашу. Только бы свить с ним гнездо, как и его потеряла. Не с радости это она. С великого горя. Одолевает его. Спасается песней...»

Зачем тебя я, милый мой, узнала,
Зачем ты мне ответил на любовь?
Ах, лучше бы я горюшка не знала.
Не билось бы мое сердечко вновь.

Терзаешь ты сердечко молодое,
А здесь тебя зазнобушка всё ждет...
Проходит только время золотое,
Ах, что же мой желанный не идет?..

Изумило Великопятова не только чувство, с каким выплескивала себя молодая вдова, но и богатство щемящего голоса, отдававшего нежностью, равно как безысходностью и тоской. Слышал Иван Политович

много песен по репродуктору. Но эта была не сравнима с ними, потому как брала неожиданно редким даром, о каком, поди, и сама не догадывалась вдова. Воистину пела не женщина, а сидящий на майской веточке соловей. Один из тех неизвестных талантов, каких на Руси считать – не пересчитать, ибо они себя специально не выставляют, живут, как живется и, когда, бывают взволнованы, славят страдание и любовь.

Спать в деревне ложатся рано. Тут и там гаснут кроткие огоньки. Улица прячется в полумрак. Над улицей – горний купол, весь уткнувшийся в черный бархат. Бархат рвется от острых звезд, прорывающихся сквозь вечность. Звезды прячут в себе загадки и знания о Всеянной. Мертвые звезды, а за спиной у них – и живые, где, как у нас на земле, продолжается жизнь.

Ветерок. От него качаются ветки и веточки палисада, где стоит, наклонившись к улице, то черемуха, то рябина. Припадают к земле и чуть видимые кусты. А за черным забором, по воздуху, поднимаясь, колышутся вдохи и выдохи взрытой почвы. Колышется с ними и сам ее голос – таинственный и глухой. Голос никто не слышит, но он ощущим, как взволнованный зов обитателей этой почвы, кто когда-то здесь жил, ухаживая за нею. «Люди смертны, землица же – нет», – машинально подумал Великопятов, распахивая калитку.

Во дворе – темнотища. Стук да стук по мосткам. Тут и всполох огня в выносном фонаре, с каким встречает Великопятова Серафима, отворив ему дверь на крыльце.

И вот он дома. В большой русской кухне, где поплати, печь, две широкие лавки, скрытая занавесом кровать и обеденный стол, а над ним – суровое, с вышивкой полотенце. За полотенцем – наследственные иконы, которые Серафима то открывает, то закрывает, дабы не видели их партийцы, навещавшие иногда председателя на дому.

В углу у коника два гладко обструганных костиля. Изладил их сын. Великопятов стесняется выходить на них в люди. Не хочет слабость свою выставлять. Но дома и в огороде он с ними не расстается.

Костили помогают сместь тяжесть тела на кисти рук, в которых сила немереная, и запасы ее, казалось, не кончатся никогда. Упираясь руками в свои подпоры, Иван Политович ощущает себя необоримым богатырем. А ведь и был таковым. При весе в восемь пудов был ростом под три аршина. На троицу, когда ее праздновали в деревне, любил показать свою стать. Боролся с холостяками. Чтобы быть для них уязвимее, вставал на колени, и те на него набрасывались гурьбой. Пó шесть человек, а то и по восемь. И ни разу подмять под себя не могли.

Привлекателен был Иван Политович и лицом. Румян, светлобров, в серых с прозеленью глазах – великолюдшие и задор. Девки на выданье и молодки сходили с ума по нему. Каждой хотелось бы быть у него подругой. Великопятов был к ним прохладен. Но это днем, когда все видно, светло и повсюду народ. Теплой же ночью, когда луна, выглянув из-за тучки, подглядывала за всеми грешниками деревни, он, очутившись где-нибудь около мягкого стога с одной из отчаянных доброхотиц, чувствовал, как нарушалось его дыхание, и горячая страсть набирала такую ярость, что он не сдерживался и падал в развалы пахучего сена. Падала вместе с ним и красотка. Отдавалась она. Отдавался и он. И эти минуты, минуты жадного зова друг к другу, были неукротимы. Луна подглядывала за ними, уже не таясь, бесцеремонно и нагло ощупывая их поощряющими лучами.

Сколько было таких полнолунных ночей? Сколько в них – сладких девушек и молодок? Иван Политович не запомнил.

Запомнил он лишь последнюю ночь и последнюю из подружек, в глазах которой он разглядел сияющую

луну, а в луне – самого себя, кто, казалось, проник в миловидную девушку для того, чтобы ее загубить.

Звали девушку Серафимой. Какой-то особенной тяги он к ней не испытывал. Была для него, как и все. Не хуже других и не лучше. Тут всё зависело от него. Повлиял веющий страх стать не только разнуданным, но и распутным. Слишком много было подруг. Он уже начал их путать, называя Натаху Маней, Маню – Натахой. И мужики уже стали глядеть на него, как на ражего вертопраха, по чьей спине должен был поплясать тяжелый осиновый дрын.

Перестал ходить Иван Политович за деревню. Забыл дорогу к стогам. Очень быстро остыпенился. И, не откладывая на завтра, повел Серафиму в сельский совет, где их сразу и расписали.

Живут. Временами успешно. Временами – как все. Поставили на ноги сына и дочь. Дочь по весне увез куда-то за Вологду молодой лейтенант. Сын с семьей возле них.

Серафима для мужа – вторая душа. Готова служить ему, как рабыня. Лицо у нее меняется год за годом, укладываясь в ласковые морщинки. Глаза же без перемен – большие и тихие, глядящие из далекого далека в еще одну даль с долготерпением и надеждой, как смотрят в будущее свое, в которое верят даже сквозь слезы. О! Эта великая вера! Сколько в ней стояния и любви! Тринадцать лет, проведенные Серафимой без мужа, когда он был в зоне и на войне, отозвались в ней накатом непрекращающейся печали, с которой она бы не справилась, кабы не вера в живучесть супруга, в то, что смерть обойдет его стороной, и он возвратится домой.

Иван Политович, садясь на широкую табуретку, к которой сын прикрепил четыре березовых колеса, снимает с ног чурбаки, и катится по полу к рукомойнику, чтоб умыться. А после – к столу, где проворная Серафима уже расставила, вынув из печки, несколько

криночек, плошечек и чугунков, откуда по кухне, будто туман, расстилается пар.

Серафима возле хозяина. Села на лавку, в конце которой под стеганным одеяльцем спит, выставившись розовым ухом, их пятилетний внучок.

Великопятов кивнул на дверь в боковушку.

— Как у них там? Не собачатся?

— Слава те Господи. Тихо-мирно. Ужнали даже вместе. А сам-от ты как?

— Это чего? — недопонял Великопятов.

— Ноги-то? Не намял?

— Лучше живых. Никакого износу. Только скорости маловато.

Вспомнила Серафима:

— Прибегал Василек, — назвала молоденького подпаска, кто по весне на птичнике у Анисы удил на удочку кур.

— Чего ему?

— Спрашивал, когда ты встаешь, чтобы к этому времени лошадь подать.

— О-о дает! Это наш бух заботится обо мне. Ну, спасибо. До чего я дожил! Ординарца мне выделяют, да еще и с конем.

У Серафимы еще одна новость:

— Содомкин опять разошелся! Обляял Клавдию! Та со старухами на болото по клюкву ходила. Вот и страшил ее. Штрафом пугал.

— По клюкву? — Великопятов поморщился. — Это не дело. С дисциплиной у нас не тово... Я бы тоже ее отругал, попадись она мне.

Новостей у жены — слушать — не переслушать.

— Я по рыжики ноны ходила. С Валюшкой. Нарезала целый пестрёль. Устал паренек. Много ножками походил. Спит, как пахарь.

Великопятов советует:

— Ты бы, Сима, поосторожней по рыжики-то ходить. Увидит кто — пальцем показывать на меня. Мол, своей,

дак по рыжики можно, а нам? Я к тому, чтоб колхозники вместо работы, не стали бродить по ягоды и грибы.

Запас новостей у супруги не исчерпаем.

— Забыла сказать. Городской тут у нас ходит по избам. Богов покупает. И к нам заходил. Я его не пускаю. А он улыбается — и к божнице. Полотенышко отвернул. Увидел Казанскую Богоматерь — и говорит: «То, что надо! Немедленно покупаю!»

— Ну, а ты? Продала?

— Что ты! Грех-то какой! Ругаться возле Богов не положено. А я заругалась. Да с криком. Еле купчишку этова выставила за дверь.

Серафима еще собиралась что-то сказать, да Иван Политович поднял руку:

— Всё на сегодня. После расскажешь. Туши огонь. Будем спать...

Уютно в топленых хоромах. Тепло. Пахнет поставленным тестом.

И на улице — благодать. С холодком, волоконцами рвущегося тумана, подсматривающей луной.

Луна, как хранительница видений, выделилась из мрака и давай поливать деревню трепетными лучами, отправляя к окнам хором свои тихие сны с тем, чтоб их разглядели люди.

Великопятову снились ноги, то, как прошла по ним гусеница от танка, под который попала его граната, и ревущая лава металла разворачивалась над ним, пока ее не опряло пламя. Великопятов не видел, как выскочили танкисты, пытаясь спастись от огня на земле. Не видел, как их прошила очередь автомата. Боль была лютой, сильнее его терпенья, и он пропал в ней, теряя себя, как в аду. Боец с размолотыми ногами обречен был на скорую смерть. Однако не умер Великопятов. Друзья-товарищи вынесли с поля боя. И он попал в тот же день в санпалатку.

За этот танк Иван Политович должен бы был получить медаль «За отвагу». Не получил. Слишком много

сменил санитарных палаток, хирургических отделений, белостенных госпиталей. Для тех, кто вручал награды, он потерялся.

Не потерялся, однако, для Серафимы. В Вологодский госпиталь, где он лежал, она приехала на коне с колокольчиком, запряженном в праздничную карету. Как получила весточку от него, так по мартовскому снежку и тронулась в путь.

В Подмостовье встречали его всей деревней. Встречали, как заступника своего, кто, спасая людей, бросил вызов варварскому режиму, отправившего его на целую восьмилетку в пекло сталинских лагерей. Встречали и, как солдата, не увернувшегося от танка со свастикой на броне, который шел умертвлять российские села и города, однако сам оказался мертвым, ибо встретился с воином-хлебонащем, не умевшим пятиться от врага.

2

Раньше всех встают в Подмостовье хозяйки. Сегодня, как и вчера, побегут на гумно. И доярки – туда. Подоят лишь коров. Ждет гумно и мальчиков-недоростков, на чьем попечении - кони с телегами, чтоб на них отвозить солому и хлеб.

Как и летом, работы в колхозе невпроворот. И погода, как на заказ. Бей цепом, загребай, вей, вози, укладывай клади.

Испокон на Руси: черный хлеб на столе, светлый Бог – на стене. Это прежде. А ныне – тот же хлеб на столе. На стене же не Бог, а Сталин, тот, кто хлеб повернул ближе к городу, чем к деревне, утвердив повсеместно план, учет и контроль - трехголовое, как у змея из сказки, неразделяемое единство, то, что в высшей цене. Жизнь отдельного человека по сравнению с ним – копейка. Потому и идет колхозник той самой дорогой,

которую расстелили на всю его жизнь перед ним. Не хочет идти, а идет, как идут к тишайшему из погostов, что за тихой рекой на Белой горе.

Телефон не смолкает весь день. Указания. Требования. Подсказки. От кого они? От того, кто не мог подсказать: каким образом выправить жизнь, переведя ее в сытую из несытой.

На ведение собственного хозяйства у колхозников времени нет. Оттого и встают хозяйки еще до рассвета – в четвертом часу то ли ночи, то ли утра.

Серафима, успев подоить корову, командует у печи, погромыхивая ухватом. Все уже поднялись. Лишь один Валентинчик, выставя алое ухо, спит под стеганым одеяльцем, продолжая рассматривать сны.

Разговаривают негромко. Не потому, что спит паренек. Валентинчика выстрелом не разбудишь. Поселилась в стенах хором затянувшаяся неловкость. Шла она от невестки. Нисе было 24 года. Любила она Ивана самозабвенно и ждала его всю войну. Иван же до дому не доехал. Стал жить на квартире у горожанки. Собирался с ней жить и дальше, забыв навсегда дорогу домой. Этого Ниса простить не могла. Постоянно его ругала и упрекала. Иван не оправдывался. От стыда и попреков жены замолчал, как молчит квартирант, которого вот-вот вытолкают за двери. Вместо двух голосов, как во всякой нормальной семье, лишь один – недовольный и раздраженный. Очужела Ниса ко всем. И на малого стала покрикивать без причины. Отчего паренек стал искать доброты и защиты у бабушки Симы. Иван Политович делает вывод: «Не повезло Ванюхе. С супругой, коя прощать не умеет, не житьё, а мыканье, где ни стань, тут и брань»...

Великопятов винил и себя, ибо и он приложил свою руку к невестке, изобидев ее по весне, попеняв за пропажу куриц на ферме, которую Ниса свалила на Фирулёва. Сказал он ей, хотя и не зло, но сурово:

— Пошто же ты, Ниса, курей-то колхозных на удочку парня хотела поднацепить? Будто бы он их выудил у тебя? Двенадцать заместо двух? Не ты ли этими птичками нас кормила? Парня-то бы в колонию упекли. Годиков пять бы дали ему. А тебе и добро! Что же ты так позоришь-то нашу семейку?

Не ответила Ниса. Закрылась, как на засов. Теребила пальцами пуговицу на кофте. Густо краснела. И глазами водила так, что ходили они шарами. Сама, наверное, понимала, что осрамилась. Однако покаяться не могла. Мешала гордость. И поперечливый норов. И то, что никто до этого дня ни в чем никогда ее не пянял. И на тебе: получила молодка удочку с леской, да еще с двенадцатью курами на крючке!

Неладное завелось в добром доме. Будто покойник в нем поселился. Больше всех страдал, пожалуй, Иван. Не знал, куда себя и девать. Особенно после работы. И нет заделья, да находил. То столярничал на сарае. То правился в огород. А утром после трех чашек чая из самовара едва не с радостью отправлялся на лесосеку. В лесу ему было спокойно. Знай, потёсывал топором бревно за бревном. Рядом — старательные подростки. Ни они к нему в душу не лезут. Ни он. Здесь, среди щепок и елок ощущал он себя состоявшимся человеком.

3

Утренний дым над крышами, будто стая развеселившихся плясунов. Выставляются друг перед другом, норовя сплясать на одной ноге, да так, чтоб вторую ногу никто не заметил, словно ее и не было на трубе.

Великопятовы улыбнулись, увидев возле забора широкорожего мерина с ярко выкрашенной дугой. В повозке с вожжами в руках - Фирулёв.

— Давай-ко, Василий, нас до конторы!

— Ыгы! — веселеет Василий. — Тамо вас ждут.

Иван Политович рассердился:

– Кто-о?

– В шляпке какой-то. Из города. Они у вас в кабинете. С Содомкиным.

– Нелегкая принесла! – ругнулся Великопятов.

У конторы остановились. Иван Политович слез с телеги.

– Вы езжайте. Я попозже до вас.

Притулившийся под крыльцом конторы разросшийся можжевельник закрыл шершавыми лапками клетку дров, на которой дремала, сложившись калачиком, толстая кошка. Иван Политович, переваливаясь, зашел на рундук, который был безобразен от свежих царапин, шерстинок, хвостиков и помета. Казалось, здесь целую ночь бесновалась нечистая сила. Иван Политович догадался: конторская Мурка играла с изловленными мышами и вот оставила эти следы.

Бухгалтер при виде Великопятова чуть заметно повеселел, кивнув голым черепом к двери, где был председательский кабинет, без слов давая понять, что там теперь гость. Потом он поднялся и, вытянув губы, шепнул председателю то, что нельзя говорить было вслух:

– Вчера поздно вечером позвонили покупщики бань. Сказали: приедут сегодня. На катере с баркой. Деньги при них. Просили, чтоб обеспечили лошадьми. До реки, чтоб перевезти.

– Хорошая новость! – Великопятов погладил бухгалтера по плечу.

4

Двое сидят в кабинете – Содомкин и Юдин. Бригадир не спеша, с потаённым достоинством вышел из-за стола, уступая Великопятову стул. Юдин, сидевший напротив, весело приподнялся, нырнув сухопарой ладонью к руке председателя «Ильича». Иван Политович,

подержав ладошку в своей крупной лапе, разжал широкие пальцы и недовольно спросил:

— Чего-то ты, Юдин, к нам зачастил. Позавчера был. И снова? Чего у нас позабыл?

Вместо Юдина — бригадир:

— С делом, Иван Политович. Сергей Адамыч имеет до нас кардинальный вопрос.

Великопятов на бригадира не посмотрел, но всем своим видом выразил: «Пшел!»

— А вопрос у меня такой! — Уполномоченный выступил улыбкой, и сразу ее погасил, настроив сухое с пороховыми вкрапинками лицо на упреждающе-строгое выражение. — Соответствует ли полученная нами от вас сводка действительному положению вещей?

Великопятов прихмурился.

— На что намекаешь?

Уполномоченный объяснил:

— На занижение урожая. Не у тебя. У тебя еще надо смотреть. У твоего соседа. Знаешь Попова из «Памяти Ленина»?

— Знаю. Хозяйственник добрый.

— Так вот этот «добрый» вдвое занизил сборы зерна. Три дня его проверяли. Нашли и припрятанное зерно. Центнеров эдак под сорок. Знаешь, где сейчас этот добряк? У следователя Борзова. Дает показания.

— Да-а... — Иван Политович приказал себе быть спокойным, чтобы скрыть наползавший невесть откуда мелкий страшок. Скрыл и даже вывел взглядом непонимание:

— Ну, а я-то, Сергей Адамыч, с какого здесь боку? Хлебных припряток я не имею. Налоги плачу. Подтверди, бригадир?

Содомкин, будто его похвалили, усердно кивнул головой, передавая кивок и лицу с завиточками бакенбардов:

— Конечно, конечно. Урожай полевой и указанный в сводке — един, какой есть. Без всяких там отклонений.

– Ну и отлично! – Юдин словно бы и поверил. – По сводке, насколько мне память не изменяет, у вас с гектара в среднем выжато около тонны.

– Восемь центнеров, – поправил Великопятов.

– А я полагал, намолотите больше. Центнеров эдак 12, а то и 15. Видел ваши хлеба, как они наливались! Ну, думаю, хлебушек ваш удивит весь район!

Иван Политович внимательно посмотрел на стрижку под бокс и тончавое с россыпью синих вкрапин от пороха пожилое лицо толкача. Ничего не увидел, кроме желания разузнать о том, о чем не рассказывают открыто.

«Многочего хочешь», – отметил со злостью Великопятов, вслух же сказал:

– Пусть другие вас удивляют, кто любит работать на показуху. Нам, абы выжить, да с вами, опекунами нашими, рассчитаться.

Юдин был снисходителен.

– Вот и договорились. Когда с обозом-то к нам?

– Домолотим остатки. Это сегодня. А к вам? К вам, всего вероятнее – завтра.

Сергей Адамович рад.

– Итак, – он вынул из куртки карманный блокнот, шелестнул в нем и прочитал: – «Ильич» – плановая поставка, плюс штраф за сено, налоги на живность, мясо, шкуры животных, картошку и молоко, итого 18 тонн чищеного зерна.

Великопятов угрюмо:

– 18, так 18.

Юдин доволен. Без спора, без пререканий забрать с колхоза такое количество хлеба – это, что называется, результат. Тот, что устроит райком, да и все остальные службы, привыкшие получать с колхозов по осени хлеб, если и не бесплатно, то за мизерные рубли, которыми можно рассчитываться не сразу.

– Ладно! – сказал он почти задушевно. Сказал с благодарностью как бы от имени выше стоящих организаций,

чье поручение он выполняет, и будет всегда выполнять.

— Хорошо, что без лишних слов понимаем друг друга. Мы — кто? — добавил, чтоб подчеркнуть разницу между колхозниками и теми, кто выбирает для них единственно правильный путь. — Служащие системы. И управляет нами закон. Вы с нами честно. И мы — точно также.

Великопятов ушел, сославшись на то, что дел у него под самую крышу, и надо справиться с ними в этот же день. Уходя, положил ладонь бухгалтеру на плечо и, оглянувшись на дверь кабинета, сказал очень тихо:

— 18 затребовали, стратеги.

Бухгалтер вздохнул:

— Хорошо хоть не все 64.

64 тонны зерна. Это все, что имеет колхоз с учетом того, что еще намолотят сегодня. 10 тонн из них — семена, 30 тонн — трудодни, остальное — резерв, какой можно пустить на оплату всех немощных иувечных, кто не может работать из-за того, что стал слишком дряхл или прибыл с войны калекой.

На улице солнечно, пахнет летящими листьями и соломой. В трех шагах от забора — шляпка подсолнуха, сломанная от ветра, яблочки дикой боярки, поврежденные цветы — всюду борьба за непрожитый день, увядание, свет и осень.

В проулке, откуда дорога к лесу, гремнула телега. И тут же из-за разломок часовни вылетел, вымахнув гривой, мордатый, под яркой дугой тучный мерин. В вожжах — Фирулёв. Приметив Великопятова, так весь и высветился глазами:

— Иван Политович, я до вас!

Забираясь на борт телеги, Великопятов поставил ухо на караул. Ветерок донес до него частое тявканье топоров.

— Давай-ко, Василий, до лесосеки...

Плотники, едва мерин остановился, заехав одним колесом в холодный пожог, подошли, всматриваясь

в председателя, как в хозяина, которому вольно их попенять, а может и похвалить, в зависимости от дела, с каким он сюда привернул.

Младший Великопятов, кто был за главного, хотя и старался не выделяться, бросался в глаза своей высоко посаженной головой и крупно развернутыми плечами. Обернувшись к спиленным пням, на которых белели четыре бани, сказал:

— Все успели, окромь дверей. Да и там лишь поставить брови и стомяки. Сделаем враз.

Иван Политович улыбнулся не столько тому, что сказал сейчас сын, и не ему самому, а его глазам — голубым и тихим. Было в них что-то от незабудок, выросших на меже среди пыльного пырея, глушившего их застенчивость и отраду, но они продолжали сиять наивно и простодушно, передавая всем, кто глядит на них, свой лазоревый свет.

И ребята ему понравились. Совсем ведь на плотников не похожи. Недородные, с тонкими шеями, правда, руки уже мужичьи, и в глазах — взрослый опыт, словно им не 14 лет, а в два раза больше. У всех троих отцы где-то там, в неизвестных краях, где война проходила, укладывая солдат, как снопы на осеннюю жниву. Великопятов смотрел на одетых в отцовские пиджаки молоденьких древоделов с пониманием и заботой.

— Устаете?

— Не, — ответил кто-то из них, — мы — привыкшие...

— Дай-то Боже, чтоб всё было гоже. Да чтоб не скучно жилось.

Улыбнулись все трое, а самый опрятный из них, в белых онучах, переплетенных веревками до колен, так и зажегся черненькими глазами:

— Мы ведь не старые. Погулять бы. Да где эти праздники-то теперь...

Иван Политович слез с телеги, подошел к паренькам и обнял их, забрав недородные спины жердинистыми руками.

— Ничего! Мы вернем их, все наши праздники. Погуляю и я вместе с вами! Погуляет и Ваня! — Великопятов кивнул на сына, стоявшего сзади ребят с раскрасневшимися щеками. — Всю деревню поставим на веселое колесо!

Потом он отвел Ивана в сторонку.

— Приезжают покупщики бань. Увезут их плавом на барке. А до Сухоны — на лошадках. Пошлешь за ними ребят. Постарайтесь, чтоб было тихо. Тут у нас появился чужой. С блокнотиком ходит. Всё, чем живем мы — берет на заметку.

Губы у Вани поехали, как ворота. Улыбаясь, он тихо пообещал:

— Никто не увидит...

5

Для Юдина этот день был наполнен непониманием. Выходя из конторы, в прогоне, где буйствовала крапива, приметил корову с развиликами веток на голове.

— Чего это с ней?

Содомкин весело объяснил:

— Огородница. Блудится по чужим огородам. Чтоб не блудила, вицы и привязали.

Не успели дойти до разбитой часовни, как навстречу — овца в фуфайке. Летит по улице, как слепая: ватный рукав перекрыл ей глаза. За овцой — паренек в брезентовых тапках, без кепки, в одной рубахе. Окликает Содомкин:

— Куда, Степашка?

Степашка притормозил.

— Куда, спрашиваю, помчался?

Степашка кивнул вдоль по улице:

— За дурой своей.

— Что же ты так? — не поймет бригадир.

— Колол дрова, да спотел.

– Ну-у? – подторапливает Содомкин.

– Разделся.

– Вот оно что.

– Одёжу-то бросил на кряж.

– Та-ак?

– А это не кряж, овца оказалась. Вот и сдурела. Попробуй теперь догони...

Умчался Степашка, как ветерок.

– Россия, – сиронизировал Юдин, – сколько дел у тебя! А тратишься на пустое. Как этот вон ваш Степашка...

Содомкину дай только повод. Ругать, поносить, распекать – для него сладкий смак. Все равно, что на хлеб намазывать масло.

– Вот с такими колхоз из прорухи и выводи, – заключил. – Никакой тебе дисциплины. Хаос.

Уполномоченный знал, с кем и в чем ему соглашаться. Содомкина он считал человеком своим, кого можно было порой слегка и возвысить:

– Истиною глаголиши.

Содомкин взглянул на крыши домов. Над ними, словно, вывалившись в пуху, пробиралось лохматое солнце.

– 12 часов, – определил сходу время, и повел, было, гостя к белевшей издали рамами окон избе – пообедать. Однако...

Под нижним посадом деревни спускалась к Сухоне брошенная дорога. По ней, считай, уже и не ездят. Но тут одна за другой шли по брошенке две... три... четыре подводы, и каждая с плотницким лесом. Теперь бригадир уже был удивлен:

– Куда это лес-то они попёрли?

И Юдину интересно:

– Давай-ко за ними...

Полчаса, не меньше, ступали они по проселку, не упуская из виду навалы бревен, досок и плах, качавшихся на телегах. Остановились шагах в сорока от ре-

ки. Чтобы никого не вспугнуть, свернули в кусты, где неслышно и затаились.

— Ага! — комментировал шепотом бригадир. — Это Ванька Великонятов, председателев сын. А с ним — тоже наши. Да, да, подмостовинские стрелята. А кто на барке? Не знаю. Видно, со стороны. Чужаки. Теперь я, кажется, понимаю. Это бани. Видел еще их вечёр. Стояли по-за деревней, в колхозном лесу. Теперь они здесь. Продали, значит. Кому? Гляди-ко, гляди...

По трапу с катера, свистя бродовыми сапогами, спустились трое. Первый из них в черном кителе подошел к Ивану. С деньгами. Передал их. И сразу все, кто там был, занялись перегрузкой. Барка стояла у берега, потому и бревна переносили, сразу укладывая на борт.

Растопырив плащ, Юдин порылся в карманах, достав из вельветки блокнот и химический карандаш. Стал строчить — быстро, быстро, как военный корреспондент.

— Это чего? — покосился Содомкин.

— На всякий случай.

— Не для статейки ли в нашу газету?

— Можно и для статейки. Но прежде, для наших товарищей из райкома. Чтоб знали жизнь на деревне не только с фасадной, но и с изнаночной стороны.

— А это... Это... не повредит?

— Тебе — нет, — улыбнулся Юдин, — а тем, кто тайком продаёт эти бревна — как пить. А чего ты вдруг спрашиваешь? Расхитителей, может, жалко?

— Жалко не расхитителей. Жалко леса.

— Вот то-то, — пристроив блокнот у себя на колене, Юдин записывал торопливо, словно кто ему диктовал, и надо успеть.

— Да-а, — поднял морду бригадир, — на Ваньку бы не подумал. Наверно, с ведома самого.

— Великопятова?

— Да. Нашего хромыляги.

— Ловкий товарищ! — Юдин достал перочинный ножичек, подвострив им химический карандаш. — Такие навары берет, поди, не впервой. И сын работает на него. Удобно устроились.

— Шайка-лейка! — по лицу Содомкина пробежало волнение. — И не знает никто.

— Завтра узнают! Вот только свезем отсюда ваш хлеб, тут и встречусь я с Первым. С тобой-то он как?

— Кто-о?

— Да хромыляга-то ваш, как ты его величаешь. Не делился случайно?

Насторожился Содомкин.

— Чем это мог он со мною делиться?

— Деньгами!

— Сергей Адамыч! За кого ты меня принимаешь?

— Верю! Верю! — Юдин похлопал Содомкина по лопатке. — Чист и порядочен! Одно вот только меня удивляет: почему тут у вас председателем он, а не ты?

Поворот в разговоре вывел Содомкина на раздумье. Вспомнилось, как он тихо и незаметно вернулся с войны. Великопятова, даже безногого, встретили всей деревней. Его же приезд никто не заметил. Словно приехал он не с войны, а из очень глубокого тыла, где отсиживался, как трус. И это его удручило. Но больше всего ущемило Содомкина то, что Иван Политович снова, как и в тридцатые годы, стал во главе «Ильича». А мог бы стать во главе и Содомкин. Как-никак и он эту школу прошел. Сразу же, как Ивана Политовича забрали, его и поставили у руля. Председательствовал, считай, до 42-го. Так что могли бы на эту должность поуговаривать и его. Подобной чести Иван Никонорович не отведал, и в глубине души считал себя обойденным. И с нетерпением ждал. Ждал, когда председатель проявит неосторожность. Такую неосторожность Иван Политович допустил в 33-м году. Мог допустить ее и сейчас. И, пожалуй, уже допустил. Вон как он с банями

прокололся. Попал под химический карандаш. Попал, как алчущий расхититель. Ни у Сергея Адамовича на тех, кто закон поворачивает, как дышло, безошибочен, остр и чуток. Время у Юдина есть. Пробудет в колхозе весь день. Да и завтра уедет не спозаранку. Нашел криминал в продаваемых банях. Найдет его и в другом. И Содомкин, зная, что это другое можно найти даже там, где его не бывает, поспособствует поиску, как никто.

День тускнел. И все-таки оставался покуда веселым, с белыми стайками туч над осенней рекой, которые отдыхали, радуясь скучной погоде и тишине. В тишине проехали на пустых телегах изготовители бань. Протарахтел, буксируя барку с банями, бодрый катер. Пролетела седая ворона, потеряв на лету перо из хвоста, отчего оно, покачавшись кругами, уселось Юдину в выемочку на шляпе.

Положив в карман блокнот и химический карандаш, Сергей Адамович вышел к дороге через кусты.

— Теперь можно и пообедать, — он улыбался, располагая к улыбке и бригадира.

Поковырявшись в плаще, Юдин достал из него пластмассовый портсигар. Закурил папиросу. И Содомкин с ним закурил. На душе у обеих расслабленно, как накануне победы, какую они собираются выиграть без потерь.

Юдин испытывал кайф предвкушения встречи с Первым. Он заведомо видел плавный кивок его головы и жест, с каким, выделяя Юдина, тот позволит ему поздороваться с ним за ручку.

Юдин был вхож к партийным авторитетам. Там, в их кругу мог иногда и спорщиком проявиться. Но спорщиком мудрым, не бравшим верх в спорах лишь потому, что кого-то этим он мог обидеть. Для райкома он был полезен, само собою, не этим, а тем, что ездил в командировки. Работа была у него непростой. Выби-

вать из колхозов хлеб. Заодно и налоги с колхозников. И все остальное, что было связано с проводимой политикой на селе.

В этот день примелькался Сергей Адамович всем и всюду. То он ходит с Содомкиным по деревне. То сидит в колхозной конторе. То заглядывает на ток. Со всеми он и учтив, и вежлив, и разлюбезен. Не смотря на это, многие держатся с ним осторожно. Было в нем нечто такое, что заставляло думать о нем, как о каком-нибудь иностранце, чьи слова, право, до приторности приятны, а намерения — ловко скрываемы и темны.

Великопятова он замучил вопросами насчет завтрашнего обоза. Иван Политович устал от вопросов. В конце концов, он не выдержал и сказал ему откровенно:

— Мешаешь всем! А мне — боле всех! Был бы райкомом не защищен — я бы с тобой разговаривал по-другому.

Возмущаться уполномоченному нельзя. Надо вести себя аккуратно. Хлеб-то еще не вывезен из колхоза. Конный поезд, который завтра отправится в город с зерном, это и есть то самое, ради чего Юдин терпит здесь всех и всё.

Вечером, находясь у Содомкина, Юдин узнал от него:

— Есть у нас тут амбар. Незаметный такой. Но большой. И хлебушек в нем, кроме того, кой проходит по документам, и этот самый — непроходной. Никем из районных органов не учтен.

— Ты об этом пока никому, — предупредил бригадира Юдин. — Возьмем с поличным. Это я беру на себя. Теперь ваш Иван Политович — здесь!

Содомкин увидел, как Юдин сжал в кулачок сухопарые пальцы. Лицо бригадира омыло волнением. Не кулаком он видел перед собой, а капкан, в который вот-вот попадется Великопятов.

Зерно выносили из двух амбаров. Грузили его на телеги.

20 телег. Столько же и коней вывели из конюшни.

В вожжах — опоясанные ремнями озабоченные подростки. На передней повозке — сын председателя 25-летний Ваня Великопятов, непробиваемо безучастный, с тем выражением на лице, с каким отправляется на работу военнопленный.

Юдин сидел на последней телеге. Перед тем как отправиться в путь, Содомкин, таясь, чтобы, кто не заметил, пробрался к нему, показав на прикрытым кустами старый амбар:

— Вон она, неuchtёночка наша. Затерялась среди мешков, которые на учете. Не украдена, а чужая.

— Будет наоборот, — вымолвил Юдин, чувствуя, как на губах его закачалась задумчивая улыбка.

Великопятов к амбарам не выходил. Сидел в конторе. Смотрел из окна на обоз, как тот, белея нагруженными мешками, потянулся к большой дороге. По этой дороге должна возвратиться из города продавщика, кому Иван Политович заказал закупить в торговой сети 60 подарков, ровно столько, сколько колхозников в Подмостовье. Уехал с ней и бухгалтер Жучков. Деньги на эти подарки заработаны были на рыбе и банях.

В голове у Ивана Политовича — как в поле, по-осеннему грустно и широко. В то же время и многодумно. Одна дума складывалась с другой. Допоздна засиделся Великопятов. Счетовода домой отпустил. Сам остался. Сидел и сидел. С цифрами на обкатанных косточках счет. С цифрами на тетрадном листке. С цифрами в го-

лове. Цифры, как думы, вели его к одному – по-человечески надо жить! Всем! Чтоб нужда навсегда ушла из деревни. И люди себя почувствовали людьми.

Потом он встал. Дунул в лампу. Окунулся в густую конторскую темноту. Выбрался на крыльцо. Стоял на крыльце и слушал, как подлизывается к нему, царапая его деревянные ноги, конторская кошка. Зашуршало в траве. И кошка – как не бывало ее – шмыгнула с крыльца в можжевельник, где и застыла, как мертвая, чутко настроившись на охоту.

Сумерки. Серое небо. Вспыхнувшие огни. От надречного ельника крался к конторе синеющий вечер – тихий-тихий, точно ушедший в воспоминание молодости своей, когда и дома, и люди в деревне были другие.

Издалека по стемнелой траве побежало волглое ржанье. Вслед за ним и поющие скрипы колес. Возвращался обоз. Было слышно, как направился он к камням, где стояла, выставя в небо свои вытяжные трубы, бревенчатая конюшня. Возчиков было не видно. Лишь выблески дуг и ремней пробились к глазам председателя сквозь сутемки.

Тут и бухгалтер Жучков. Выплыл из темноты, как из глубокого омута, где пугает. Пожал председателю руку. Коротко отчитался:

– Иван Политыч! Купили, согласно списку. В клубе и разгрузились. Анну Васильевну я домой отпустил. Сам – сюда. Может, чего-нибудь надо, так я...

– Спасибо, Илюша! Поди, отдыхай... Завтра у нас с тобой жаркий денечек. А послезавтра...

– Жарче, чем жаркий, – продолжил Жучков, – зато расприятный. Когда это было, чтоб выдавали колхознику хлеб без урезу, ровно столько, сколько он заработал?!

– По 500 граммов на трудодень! – Иван Политович усмехнулся. – Эта цифра для тех, кто для нас заплани-

ровал жизнь по лагерному режиму. А мы возьмем и выдадим вдвое боле! И знать об этом наши стратеги не будут. Как с документами-то у нас? Ищайка нос туда не совала?

— Совала! — даже в потемках чувствовалось, как по лицу бухгалтера проскользнула насмешливая улыбка. — Всё обошлось. Ничего не нашла...

Ушел бухгалтер так же неслышно, как и пришел, скрывшись в омуте переулков.

Вечер, словно куда-то смеялся. И вот уже ночь. Была она молчаливой и смиренной, в то же время и чуткой, как лошадь, стоящая в деннике. Казалось, она молилась среди тишины о продолжении тишины, в которой себя ощущала по-женски застенчивой и счастливой.

Иван Политович улыбнулся. Было ему хорошо. Все-таки он у себя. На родине. Дома. А дом этот был для него на всех дорогах и улицах Подмостовья, во всех пятистенках и избах, где отдыхали сейчас его люди. Был он и в верхнем краю деревни, где средь обычных амбаров стоял один необычный. Ввиду его ветхости и того, что над ним распостерли хвойные лапы две старые ели, был он почти не заметен.

Амбар был выстроен из часовни, поставленной в честь отчаянных жителей Подмостовья. Три с лишним века назад, как и многие русские веси, деревня была захвачена шайкой польских головорезов.

Что же было тогда? Да, наверное, то же самое, что и всюду.

Кто-то прячется. Кто-то плачет. Чья-то отрубленная рука. Тут и там громкий визг убегающих женщин. Повязанные мужья. Рядом же, около обречённых, где двор или уличная дорога, становище нечестивцев, тех, кто после разбоя устал и готов отдохнуть. Для них уже вынесен стол. И костер разожжён, на котором жарится мясо. Кто-то несет на плече бочонок с вином.

Это вечером, перед тем как упасть на чужую кровать и, обняв полонянку, проснуться на светлой заре, чтоб опять повторить то, что было вчера.

Ночь, однако, готова посеять не только грешное наслаждение, но и яростную расплату. Все зависело от мужчин, которых связать не успели. Для чего они спрятались? Для того чтобы остаться в живых и, собравшись в ночи, пораскинуть мозгами между собой и пойти по домам. По своим домам и домам товарищей и соседей, кто сейчас умирает, кто связан, и кто уже не живет.

И вот они вышли. Кто с топором. Кто с ножом, А кто-то еще и с секирой. Секира одна. Взята из рук в стельку пьяного лиходея, заснувшего вместе с ней у полуночного костра.

Как задумано, так и вышло. Никто из польских головорезов не ушел от праведного суда.

Говорят, та ночь была очень темной. Такой же темной, как и сегодня.

Великопятыов повел головой, направляя ее к верхнему краю деревни. Негромко сказал:

– Верх взяла справедливость. Это тогда. А теперь? И теперь она будет сверху. Иначе, зачем нам и царствовать на земле...

6

Ночью, уже засыпая, Иван Политович разглядел картину раздачи колхозникам хлеба на трудодни. Кладовщик Гриша Котов, со скоростью торопыги, умевшем сразу вести десять дел, знай, шуршит по лами плаща. То он ставит мешок на весы. То что-то записывает в тетрадку. То кричит на ребят, чтобы те забирали зерно и немедленно отъезжали. Беспорядка у Гриши нет. И очереди не видно. Лошадь за лошадью подъезжают с телегами так, чтоб грузить на них можно было с порога.

Каждому возчику Гриша считывает с тетрадки:

- Это вези к Фирулёвым!
- Это – к Смирновым!..

На трудодень выходило по килограмму зерна. Жить будет можно. Как в пословице: прожито много до нас, а и нам жить не меньше. Именно жить, а не дни проживать.

Ах, какая веселая радость гуляла в глазах хозяек при виде того, как подростки несли к их крыльцу тугие мешки. Женщины, право, благоговели, как если бы вместе с мешками входила в их дом и сытая жизнь.

С развозкой зерна управились быстро. Возчики были довольны. Закиданные румянцем юные лица, замедленная походка, с какой возвращались они к лошадям, то, как садились они на телеги, брали вожжи и чинно ехали по деревне, – все в них в эту минуту играло приподнятым настроением и готовностью быть полезными для колхоза, когда в нем устраивается добро, от которого всем становится веселее.

Великопятов моргнул. Картина, какую сейчас он увидел, была реальной. Так всё и будет. Надо вот только дожить. Дожить всего лишь до послезавтра.

7

Заграла гармонь, разметав по улице озорующие аккорды. Играл Гриша Котов. Теперь он не в старом плаще и не в кепке с продавленной тульей, а с дерзким чубом из-под пилотки, в нагуталиненных сапогах и в кожаной куртке, в нагрудном кармане которой желтел, оробело сияя, цветок куль-бабы.

На клубном крыльце самодеятельные артистки. Избачка и две подруги ее в зашнурованных до колен высоких ботинках, в кофточках с кружевами и тонких платочках на голове. Уловив говорок гармошки, они подмигнули друг дружке и вдруг пропели:

Мы идем в единой воле
Все по Ленинской тропе.
Наши девки в комсомоле,
Наши бабы в Ве-Ка-Пе!

Пропели – и шмыг в раскрытую дверь. Вслед за ними – и гармонист.

К клубу подтягивался народ. Одеты в самое лучшее. Кто в пахнущие комодами малоношеные жакеты. Кто в пальто с бобровым воротником. Кто в шинель с двумя рядами бронзовых пуговиц на груди.

Зал с портретом Ленина на стене, где расставлены скамьи, медленно заполнялся. Все глядели на сцену. Сдвоенный стол, а на нем самовар, деревянный ушат, ковш и белый выводок чайных чашек. За столом – председатель Великопятов, бухгалтер Жучков и участник двух войн Федор Федорович Насадкин.

Поднялся Великопятов. Речь его была коротка:

– Родные мои! Поздравляю вас с нашим праздником! Долго мы к нему шли. Жалею лишь об одном – не все, кто бы мог сидеть ныне с нами, находятся здесь. Виновата война. Кого-то она повалила на поле боя. Кого-то угробила тут. Несмотря ни на что, мы, живые, будем помнить всегда о мертвых. Все мы прошли проклятое испытание. Четыре года не знали ни праздников, ни выходных. Потому сегодня мы с вами и собрались, чтоб сказать громко вслух: да здравствует жизнь! Пусть она будет с нами! Всегда!

Едва председатель закончил, как место его занял бухгалтер Жучков. Высокий, с гладко выбритой головой, в офицерском мундире, похожий на незнакомого генерала, приехавшего только что из Москвы, он помахал листиками бумаги и объявил:

– Прошу всех, кого назову, выходить сюда, где я буду вручать подарки. Итак, вызываю доярку Татьяну Васильевну Воробьеву!

Из-за спины бухгалтера высверкнула гармонь. В зал метнулась мелодия. И хотя слов в ней не было, все ус-
ышали:

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои,
Сени новые, кленовые, решетчатые!

Вместе с мехами гармошки, пылал, пламенея бордо-
вой рубахой, и Гриша Котов, улыбавшийся так азартно,
словно себя предлагал в женихи.

Растерялась доярка. Даже платок съехал с ее головы,
блеснувшей шпильками и гребенкой.

Бухгалтер веселым голосом:

– Сюда, Татьяна Васильевна! Не робей! Вручаю от-
рез на платье!

Подошла Воробьевая, маленькая, в жакетке. Вспых-
нувшая, как мак, гладит сверток ладошками, хочет
что-то сказать, но забыла слова. И тут поворачивается
Насадкин. Наливает из самовара в белую чашку. Протя-
гивает ее, требуя ласковым басом:

– Осуши за хорошую жизнь!

После чашки, нырнув ковшом в деревянный ушат,
протягивает Насадкин и пиво, отпуская следом за ним
озорной каламбур.

– Наша Татьяна всего лишь румяна!
Валяй-ко запей, абы стать красивей!

В зале движение, шорохи ног, улыбки и сдавленный
смех.

Доярка усаживается на место. Бухгалтер же, полу-
жив на список уверенный палец, выкликивает из зала:

– Дмитрий Субботин! Вручаем рыбакские сапоги!..

60 колхозников и колхозниц. 60 раз и вызовет их
бухгалтер, поднимая под звон гармоники одного за

другим к столу, где вручаются полушилки, отрезы, рубахи и сапоги, а потом наливается самогонка и, как уточка, подплывает к губам приглашенного пенный ковшик.

Торжество было полным. И вдруг перешло оно в изумление.

Бухгалтер прочел:

Иван Политович Великопятов! Вручаются ноги!

Зал так и ахнул, а председатель нешуточно растерялся. Чего-чего, а такого не ожидал. Бухгалтер вручил ему два протеза. Вручая, сказал:

— Товарищи колхозники, этот подарок преподношу нашему дорогому Ивану Политовичу, как сюрприз! Он не знал о нем до этой минуты. Передаю ему его ноги от имени вас. Думаю, вы не против?

Зал забил ладонями, засмеялся, кто-то с рокотом в голосе:

— Ивану Политовичу ура!

— Ура!!! — подхватило все общество, да так горячо и шумно, что занавески на окнах зашевелились, словно их открывала чья-то взволнованная рука.

Иван Политович встал с подарком и, смущаясь, прошел за сцену, где был маленький закуток. Возвратился оттуда минут через пять.

Зал онемел. Это было невероятно. Иван Политович и на своих-то коротеньких деревяшках был ростом с матерого мужика. А тут поднялся в такую высоту, что поставь с ним рядом баскетболиста, тот будет выглядеть как подросток...

Потом, после этого вечера будет много взволнованных разговоров, и самое главное место среди них займет председатель Великопятов, на глазах у всех превратившийся в великана, одного из тех, какими когда-то славилась Русь. Да и теперь будет славиться. Славиться до тех пор, пока Иван Политович будет с нею.

Получил на этом празднике свой подарок и бригадир, приняв из рук бухгалтера аккуратно свернутую рубаху. Выпил, как полагается, чашечку первача. Выпил и пива. И хотя на душе у Содомкина выли волки, постарался собрать губами нечто похожее на улыбку. С улыбкой взошел на сцену. С улыбкой спустился со сцены в зал. И вскоре, никем не замеченный вышел из клуба.

В контору! Туда, где не было никого. Нашарил над дверью выемку, достав оттуда спрятанный ключ. Открыл замок, устремился к настенному телефону. Дозвонился до Юдина. Сообщил ему:

— У нас тут в клубе Великопятыов устроил артельную пьянь. Самогонка, пиво, подарки, гармоника. Скоро, поди-ко, и пляска будет! Совсем с резьбы соскочил председатель. Надо меры какие-то принимать.

— Примем, — ответил Юдин.

Опуская трубку в гнездо аппарата, Содомкин дал волю чувствам, отправив в конторскую пустоту сорвавшееся с души:

— Будет и на моей улице праздник!..

— Иван Политович! — На пороге конторы — растерянный Фирулёв. Острые плечики вздернуты, брови углом, и голос панический, будто где-то горит, и он зовет на пожар. — Приехали из района! Требуют к ним! Я не хотел, я не думал вас звать, да бригадир заорал: «Живо в контору! Чтоб председатель был тут!»

Великопятыов направился к двери. И Жучков хотел, было с ним, да председатель остановил:

— Сам разберусь! А ты давай с трудоднями. Подгойя под расчет. С обеда, чтоб и раздать...

У коновязи – соловая, в гладком теле, приземистая кобылка. Едва председатель бухнулся на телегу, как она простигла ушами и побежала, весело помахивая светлым хвостом.

Пасмурно. Низкие облака. Изредка проплывают взъерошенные снежинки.

У амбаров – повозки, лошади. Вон кто-то толстый от полушибка. Великопятов еле признал в нем кладовщика, одетого так, как будто уже зима и навалились большие морозы. Подальше, за коновязью, в пальто и шапке, надвинутой на глаза, бригадир. Жестикулируя папирской, что-то показывает приезжим. Кто они? Юдина он узнал по брезентовому плащу и шляпе с маленькими полями. Узнал и главного милиционера района. Бородяев был в долгополой шинели с погонами капитана. На шинели с левого бока – желтая кобура. Остальных нечего было и узнавать. Сколько их? Вроде, шесть человек. Все в бушлатах и шапках с искусственным мехом. Сидят на телегах. Рядом посверкивают стволы. Оперативная группа, догадался Великопятов.

– Зачем пожаловали? – спросил он, слезая с телеги.

Бригадир тут как тут. Как дирижер предстоящего разговора.

– А кто здороваться будет? – поддел он как бы шутя, но, в то же время и строго. Определенно, Содомкин был подготовлен к чему-то такому, что должно для кого-то кончиться чем-то хорошим, а для кого-то, кажется, и плохим. «Уже и роли здесь разданы, как в спектакле», – отметил Великопятов.

Амбар, возле которого громоздились телеги и кони, был, вместительным, с боевой, как секира, петлей, в которой сидел двухфунтовый замок. Здесь зерно. И то, что на трудодни. И то, что на семена. И то, что на всякий критический случай.

На ступеньке амбара расстроенный Гриша Котов. Гонял из угла в угол губ потухшую папиросу.

— Иван Политович! Велят амбар отворять.

— Это кто так велит? — Великопятов, ступая к амбарам, увидел, что нет к нему и прохода. Лошади, дуги, телеги. Раздвинув пошире пальцы, Иван Политович поднял руку, набросив ее на ближнее рыло, сдвигая лошадь так грубо, что та попятилась, выворачиваясь в оглоблях.

Тут же выросли перед ним Бородяев и Юдин. Улыбаются, а глаза под бровями, будто пещерки, из которых выглядывают зверьки. Заговорили попеременно. Сначала — Юдин. Потом — Бородяев.

— Поступили сведения о припрятанном хлебе.

— Этот припрятанный мы забираем.

— Рекомендовано взять его в том объеме, в каком был выполнен план поставки.

— То есть с вас должны получить не менее 18-ти тонн.

— Лошадей у нас пять. Недостающими обеспечите вы.

— Для этого нам потребуется еще 15 повозок.

— Всё! Прикажи ему, — Бородяев, качнув погоном, пренебрежительно показал на застывшего перед ним упертого Гришу, — пусть откроет!

Котов в своем полушибке, застегнутом на две спицы, стоял, присогнув колено, и весь его вид заявлял: «Никому не открою!»

«Твердый парень!» — сказал про себя председатель. И поугрюмел, подумав о человеке, наведшем незванцев на хлебный амбар. «Навел ведь на самое-самое. Нашу надежду. Прямо, в серёдышку сердца. Кто эта гнида? Где она? Неуж-то средь нас??»

— Дай-ко сюда! — Великопятов забрал у Котова ключ. Сунул его под пальто, в исподний карман парусиновой куртки, где будет ему сохраннее, чем у Гриши.

— Хлебушка захотели? — сказал, рассматривая гостей с убывающим долготерпением. — А не слишком ли велик у вас аппетит? Позавчера увезли конный поезд. Мало? Еще давайте! Хотите, чтоб был у нас новый голод? Убейте меня, а не дам я вам хлеба!

– Ездят и ездят! – послышалось в стороне, от ольховых кустов, где стояла, теснясь, стайка только что приспешивших сюда подростков и баб.

– Пустое глаголище, Иван Политович! – Юдин подправил шляпу. Лицо его, взятое пороховыми пометками, было уверенным и спокойным. Уполномоченный чувствовал за собой основательную поддержку. Поддержку не только в лице Бородяева вместе с его милицейским отрядом, но и в лице райкома, с первым секретарем, с которым он имел честь встретиться с глазу на глаз.

Услышав от Юдина о делах, творящихся в Подмостовье, где всплывала неустановленная продажа на сторону бань, подделка бухгалтерских документов, припрятанный хлеб и даже артельное гульбище, какое затеял Великопятов с подарками, пивом и самогонкой, Зародин так и вскипал, отчаянно негодуя:

– И это в год великой Победы?! В тяжелое время, когда страна оправляется от полученных ран! Когда разруха кругом?! Когда не хватает продуктов, одежды, обуви, хлеба!? Да кто он такой этот Великопятов? Да как он так мог?

– Потому и мог, – подсказал Зародину Юдин, – что у него уже опыт. Восемь лет отбывал в лагерях. За разбазаривание семенного фонда. У него это пройденный путь.

– Восемь лет, говоришь? – задумался секретарь.

– Восемь.

– Так пусть эти восемь он повторит. По второму заходу. Уж я постараюсь, обезопасить жителей Подмостовья, от присутствия рядом с ними этого пахана! Кого предлагаешь вместо него? Есть кто-нибудь у тебя на примете?

Юдин с готовностью:

– Бригадир Содомкин. Иван Никонорович. Достойнейший человек. Когда-то он был председателем того же самого «Ильича». Лучшей кандидатуры нам не найти.

— Ладно, Юдин. Не возражаю. Проводите собрание. Выбирайте нужного человека...

— А этого-то куда? Великопятова?

— Отдаем Бородяеву. Пускай арестовывает. Я ему позвоню. А тебе, чтобы не было там осложнений, предписание оформляю. Выезжайте немедленно. Наводите порядок. Никаких снисхождений к расхитителям и ворам! Забирайте всё, что они утаили от государства. В первую очередь хлеб...

Великопятов для Юдина в эту минуту был законченным человеком, чьи часы пребывания на свободе уже сочтены. Сосчитал их не только он, но, кажется, и Содомкин.

Юдин поднял глаза на тяжелое, крупной лепки лицо председателя, с которого, как с булыги, стекала тревожная бледность.

— Ключ от амбара! Ну-у?! — не сказал, а скомандовал он, протянув к нему руку.

Великопятов не среагировал. Зато среагировал бригадир:

— Он упрямый у нас. Не отдаст. Гордость не позволяет. Правильно, я рассуждаю? — Содомкин так и влез глазами в Великопятова, подбивая его на гаденький разговор.

Иван Политович удивленно:

— Чего это ты, Содомкин, завылезал? Как жук из калыжки?

От куривших шагах в десяти мужиков, подошедших только что из деревни, полетел, сверкая искорками, окурок.

— Это же сучка.

— Сучка? — не понял Великопятов.

И опять полетел окурок, попадая Содомкину на сапог.

— Это он посадил у нас звеньевого! Из-за него мы остались без сенов!

Великопятов обмерил Содомкиналастным взглядом:

— Ты-ы?

Усмехнулся Содомкии, сказав, как сплюнув с губы подсолнечную корлупку.

— Не тебе меня спрашивать, пень безногий!

Возникла неловкая тишина. Это была не брань. И даже не оскорбление. Это был наступательный, не смущающийся ничем, точно рассчитанный вызов. Вызов того, кто стремился к колхозной власти, тому, кто имел ее, но уже упускал.

— Довольно! — Сунулся Бородяев. Был он грузен, широк и уверен в себе. Вспомнил, видимо, что по должности он тот самый и есть, от кого зависит здешняя дисциплина. — Мы сюда не митинги приехали слушать! — Капитан повернулся к уполномоченному, видя, что тот готов прочитать райкомовский документ. — Читайте, Сергей Адамович!

В руках у Юдина глянцевая бумага. Поднес ее ближе к глазам.

«Обязать председателя колхоза «Ильич» гражданина Великопятова, — заговорила бумага баритоном райкомовского посланца, — сдать в обязательном порядке припрятанное зерно, считая его собственностью государства. В случае неповиновения принять строжайшие меры. Хлеб перевезти в закрома района. Выявить на наличие и другие неучтенные заготовительной службой сельхозпродукты. С бухгалтера взять подпиську о невыезде. Председателя доставить под конвоем в милицейское отделение.

Секретарь райкома партии А. Зародин».

Уполномоченный был доволен эффектом, который произвела на Ивана Политовича бумага. Глаза его излучали торжественность, дескать, попался, Великопятов, теперь не отвертишься, будешь прощенье просить, но — увы! — помочь и могли бы, да не поможем. Рукава на

его плаще слегка пропрещали, пока он протягивал руки, чтобы отдать председателю бумагу и карандаш.

— На вот тебе. Распишись, что согласен.

Великопятов брезгливо, как мертвую мышку, забрал у Юдина глянцевый лист. Карандаш же оставил в протянутых пальцах.

— С чем это я согласен? — спросил, понижая голос. — С тем, что хотите наш хлеб захапать? А меня, как злодея, в энкэвэдэшную камеру на расправу? А вот этого не хотите?

Стоявшие в стороне колхозники даже на цыпочки поднялись, чтобы увидеть, как председатель распоряжается с райкомовским предписанием. Смяв его в кулаке, он разжал его, тут же стряхнув расплющившийся комочек. Тот упал куда-то в отаву, где на него немедленно наступил тяжелый протез.

Юдин так весь и вытянулся шестом. Лицо его побело, а голос набрал волевую нотку, с какой способнее было нагнать на ослушника холод и страх:

— Пропал ты, Великопятов! За это знаешь, что тебе будет?

— 58-я статья, — сказал вслед за Юдиным Бородяев. — Самое малое 10 лет.

— 10 лет? — усмехнулся Великопятов.

Капитан показал председателю на ближайшую из подвод, где сидели его конвоиры.

— Сам пойдешь? Или, может, помочь?

Тут и Содомкин как ниоткуда:

— Он у нас сам не умеет.

Колхозники с ненавистью взглянули на бригадира. Великопятов же, сделав шаг, угрюмо остановился. Стало ясно ему, что его заберут. Увезут и хлеб из амбара. А как же колхозники? Сегодня ж они получают на трудодни? Неуж-то раздача хлеба не состоится? Как же быть-то теперь? — От ввалившихся дум в голове председателя было тесно. В думах, как на ветрах,

стояли избы и пятистенки. Оттуда всматривались в него жители Подмостовья. Всматривались с надеждой, как на заступника своего, который знает, как защитить колхозников от разора. Иван Политович понимал: надо на что-то решиться. Сделать нечто из ряда вон. Сделать так, чтобы его никуда отсюда не увезли, а хлеб, какой был в амбаре, весь бы тут до последнего зернышка и остался. «Ну же, Иван Политович?!» – подторопил себя председатель.

У амбара движение. Это рассерженный Котов. Отталкивая кого-то из конвоиров с подмостя амбара, он спрыгивает на землю, и вот уже вспыльчиво повернулся, чтобы пуститься куда-то бегом.

– Иван Политыч! Я в два момента! Всю деревню сюда соберу!

– Не надо деревни! – остановил его председатель. – Я сам...

– Правильно! – тут же вмешался подхватистый Юдин. Уполномоченный, словно ловил настроение председателя, угодившего в перехлест двух столкнувшихся сил, когда одна отбирает, другая не отдает. Он даже начал Ивана Политовича хвалить. – Молодец, что во время осознал свое положение. Принимай то, что есть. Ключ вот только отдай. Не упорствуй. Тебе он больше не пригодится. Все равно ведь амбара из камеры не откроешь.

Великопятов не стал себя тратить на перебранку. Пошагал встреч телеге, где конвоиры. Перед ним – Содомкин и Юдин. Позади – Бородяев.

И опять со своими расспросами Юдин. Но теперь не к Ивану Политовичу, кто вдруг стал для него, ни на что уже не пригодным. Теперь он – к Содомкину, будто тот уже председатель:

– Как у нас с лошадьми?

– Все в порядке. Конюху я наказал. Выделит, сколько надо.

– Надо пятнадцать!
– Да хоть шестнадцать! – готов бригадир.
– Ну, а с амбаром чего? Как тут у вас, когда ключ теряется, то чего? Дверь-то эту? Чем открываете?

Рассмеялся Содомкин:

– Да топором! Вон дровищечки. – Кивнул на приткнувшуюся к амбарам клетку поленьев. Там и лежит. Сейчас принесу.

Заторопился Содомкин, бочком пролезая между лошадью и телегой, чтобы принести к амбарам требуемый топор. И застяжал.

Председательская рука была расторопной. Потянула к себе темное, с бахромой ворохнувшееся пальто. Потянула с ним вместе и бригадира, ноги которого взрыли землю, и Содомкин, падая, испугался. А, испугавшись, вспомнил милицию и, словно жалуясь ей, прокричал:

– Он же убьет меня! Что вы стоите?!

Бородяев схватился за кобуру. Расстегивая ее, скомандовал конвоирам:

– Быстро-быстро сюда-а!

От телег тяжело затопали сапоги. Замелькали и шапки. И бушлаты замельтешили. Впереди же бушлатов – руки, так резво рванувшиеся вперед, что бойцы от них, показалось Ивану Политовичу, отстали.

«Меня еще надо взять!» – подумал он с гневом и, перевесив тяжелое тело, отправил следом за ним и длинный протез.

Бородяев смущился, увидев нависшего где-то над ним рассерженного громилу. Рука с заряженным пистолетом ловко вывела полукруг. И только б нажать на курок. Да предплечье перетянуло от проникших в него разрушительных пальцев. Бородяев, спасая руку, выпустил пистолет. Великопятым поймал его на лету.

– Тормози! – приказал конвоирам, отсылая их взмахом оружия за телеги.

Под стволом пистолета, который качался в воздухе, ничего, кроме смерти, не обещая, Бородяев выморозился лицом, Юдин же поднял руки. Где-то рядом вставал разобидевшийся Содомкин. Колхозники, как раскрыли рты, так с раскрытыми и стоят, не смея даже пошевелиться.

Иван Политович знал, что времени нет у него. Есть лишь короткая передышка, какая бывает у смертника перед тем, как выйти на эшафот.

— Прекрати, — неуверенно вымолвил Бородяев.

— Кто-о? — Иван Политович спрашивал сразу обоих. — Кто навел вас на наш амбар?

Ничего не сказали ни Юдин, ни Бородяев. Хотя и хотели сказать, но языки им не подчинились. Зато подчинились глаза. Скосившись, они очень точно моргнули на бригадира. Содомкин встретился с их глазами. Понял свою обреченность и с визгом в голосе, как свинья, когда ее режут:

— О-он! Сергей Адамович! Это он заставил меня...

Великопятов, не целясь, нажал на стальную собачку.

Содомкин сломался в коленях и не упал, а присел, бочком укладываясь на землю.

— Палач, — услышал Великопятов, поняв, что это сказал Бородяев. Повернулся к нему:

— Чья теперь очередь?

Бородяев отпрянул, а Юдин, почувствовав смерть, услышал, как на его голове зашевелилась прическа, приподнимаясь так высоко, что на ней покачнулась шляпа, сваливаясь сама по себе куда-то под сапоги. И язык неожиданно ожился:

— Я тут, не я. Это райком. Товарищ Зародин...

Великопятов презрительно усмехнулся:

— Ну и компания собралась. Один — наводчик. Второй — иуда. Третьего даже не знаю, как и назвать. Наверное, жертва неправильного режима...

Иван Политович показал Бородяеву пистолет.

— Сколько их там у тебя?
— Было два, — сказал деревянным голосом Бородяев,
— остался один.

Великопятов увидел, как с двух сторон, низко пригнувшись, прячась среди лошадей и телег, сходились с винтовками конвоиры. Посмотрев на своих обидчиков, он сказал:

— Надо бы вас всех троих одной пулей. Ну да чего теперь. Считайте, не вам повезло, а мне, — и, подняв пистолет, приставил его к виску.

Выстрела он не услышал. Покачнувшись, как пьяный, он пластом упал на телегу, которая треснула и под дикое ржанье коня поскакала по мелким ныркам бездорожья. Великопятов перевернулся несколько раз, скатываясь по комьям земли к одному из амбаров, где лежал соскорючившийся Содомкин.

Визг колес, храп и топот подков. Сколько было коней, все, как бешеные, рванулись в сторону от амбаров, где стоял запах крови, к которому не привыкают не только люди, но и они, крестьянские лошади, не умеющие быть спокойными возле смерти.

Бородяев, пиная полы шинели, бросился на колени. Стал разжимать у мертвого председателя пальцы, в которых был зажат пистолет. Но пальцы держали оружие крепкой хваткой. Капитан чертыхнулся. Проблеснув звездочкой на фуражке, поднялся и побежал догонять лошадей. Вслед за ним, подобрав с земли шляпу, заторопился и Юдин. Рука его с химическим карандашом вычерчивала зигзаги, точно рисуя в воздухе ту трагическую картину, которую подарил горожанам Великопятов — отчаянный человече, кто, не имея выбора, выбрал самое горькое для себя, сделав всё именно так, чтобы его отсюда не увозили. Чтобы остался здесь, на своей территории, не только он, но и хлеб. Хлеб, который принадлежал жителям Подмостовья.

Откуда-то взялся ветер, сдувая с дороги пыль, полетевшую над отавой к стайке колхозников и колхозниц, в ногах у которых лежали, как отдыхая, два трупа. Ветер пылил и дальше, встречаясь, лоб в лоб со старым амбаром. Дверь амбара пересекала железная петля. Была похожа она на секиру. Не ту ли самую, с какой когда-то оборонялся от пришлых обидчиков один из жителей Подмостовья?

Вологда, 2001–2017 гг.

СИЛАЧИХА

Анна Ивановна Воробьева, всю свою жизнь, отдавшая школе, преподавая военное дело и физкультуру, давно уже не у дел. Сейчас Воробьева пенсионерка, последняя, кто живёт постоянно в лесном поселке, где когда-то был лесопункт.

Вечность, вечность. Где начало её? Где продолжение? Вечность эту учゅяла Анна Ивановна в майские дни, когда заливаются соловьями весёлые славки, цветёт черёмуха и плывут по реке сплавляемые плоты. В эту вешнюю пору у Анны Ивановны умер муж.

Когда-то была она самой известной в посёлке женщиной, носившей прозвище Силачиха. Так прозвали её за две двухпудовые гири, которые поднимала она, как в школе своей, так и на стадионе, где каждый год проходили соревнования, и никто из мужчин не мог Анну Ивановну победить.

Были ещё у неё два сына. Но где они ныне, матери не известно. Повзросели, уехали и исчезли.

Однако же не совсем одна она и осталась. Спасали её от горького одиночества кот с козой да приезжавшие на всё лето дачники-горожане. Почти всех она знала, и было ей среди них по-свойски приветливо и занятно.

С кем-то из них она встретится у колодца, с кем-то отправится в лес по ягоды и грибы. От каждого дома перепадало ей, хоть и малое, но внимание. Чем и довольна была она. Даже чужие детки грели Ивановне душу, когда по зову её, они забирались к ней в огород, где назрели сладкие плитки гороха, и можно было отправить их в рот, как конфетки.

Но вот наступила поздняя осень. Расстались с посёлком все, кто в нём жил. Даже кошки и те уезжали с хозяевами отсюда. Силаиха одна. На целых полгода. Вечерами её развлекал телевизор. Смотрела его до глубокой ночи.

Утром, едва подоив козу, выходила с ней на прогулку. Рядом был ёщё Елисей, серый кот в лоснящейся шубке.

Ноябрь. Уже и снегу поднавалило. Улица длинная. Справа и слева дома с огородами. Выбираясь из косяков, окна с холодным вниманием окидывают дорогу.

Анна Ивановна несколько суеверна. Вот и сейчас кротко вздрогнула, увидев вверху на кирпичной трубе отдыхающую ворону. Замнилось ей, что в эту ворону переместился кто-то из тёмной силы, кто появляется на земле, чтоб кого-нибудь опечалить. Вздрогнула и коза.

Зато Елисей, наполнившись храбростью и азартом, мчится к лестнице через грядки. Пять секунд – и он уже там. Под трубой. Вот-вот бросится на ворону.

Птица, лениво каркнув, перелетает к соседнему дому. Там тоже такая же бурая с тёмным подгаром труба. Усевшись в опушку снега на ней, ворона глядит с усмешкой на Елисея. Попробуй, достань её, коли лестницы нет. И кот, сожалея о том, что он не летает, возвращается к Силаихе. Просится к ней на ручки. Но Анна Ивановна как бы его и не видит. И тогда Елисей, цепляясь за старенький ватник, урча, взбирается на хозяйственную скамью. Устроившись на плече, тут же заводит уютную песню.

С котовой песней и двинутся дальше. Дойдут до конца посёлка. Там, отворив отводок, выйдут к пруду, за которым целая роща шуршащих шапочками растений. Рогоз! Почему, это он, ветра нет, а шуршит, даже потрескивает крахмалом? Анна Ивановна догадалась. Это зайчики расшалились. Даже не расшалились, а увлеклись заготовкой сладких кореньев. Роют лапами чуть прихваченную морозом стылую почву, доставая из-под неё рогозовое добро.

При виде троицы зайцы испуганно всполошились. Хотели бросить свой промысел и умчаться. Однако сообразили: прибывшие были из неопасных.

Домой Анна Ивановна возвращалась в ласковом настроении. Зайцы, возившиеся с корнями, коза, на которой, как барин, устроился Елисей, блеск дороги и бодрое солнце – всё это поворачивало её к покою, какой, предчувствовала она, будет и завтра, и послезавтра, и жизнь пойдёт у неё как надо.

Коза с котом тоже радовались погоде, и приглашать их в дом хозяйка не стала. Пусть поблаженствуют на просторе.

Но вскоре всю тишину двора прогнал шум единственного мотора. Приехала почтальонка Наташа. Подвёз её на своём мотоцикле Григорий, местный механик, он же Наташин жених. Зашли оба в дом. Выдали бабушке пенсию – и назад.

День, растрячивая себя, приближался к холодным сумеркам. Стало Анне Ивановне неспокойно. Неладное уловила она в коротеньком рёве козы. Та просилась под дом, в тёплый угол, где была у неё уютная загородка. И кот, обдирая обшивку, заскрёб когтями дверь на крыльце. Пустив обоих в жилое, Анна Ивановна поспешила пройтись от окна к окну, дабы выглядеть, что там делается на воле.

И обомлела, когда увидела за избой стаю серых собак. «Да ведь это и не собаки! – вскинулось в голове. –

Волки! – и хотела было, схватив коромысло, выбежать им навстречу, чтобы их разогнать. Да одумалась. Не справиться с ними. Вон их сколько! Хоть с топором иди на них – бесполезно. Замнут. И как ей теперь? Собиралась с пенсии – в магазин. И пошла бы – да как...

Ночь Анна Ивановна то ли спала, то ли нет, сама не поймёт. Встав с кровати, снова – к окошкам. Сквозь морозные кружева на стекле, ничего толком не разглядела ни во дворе, ни в поле, ни в огороде. Всего скорее, ушли ее гости.

Подоила козу. Надавала ей сена. Водой напоила. Собиралась, как и вчера, вывести на прогулку. Да не решилась. Коза и сама никуда из своей загородки не хочет. И кот не просится на крыльцо. «А мне-то как быть? – спросила она у себя. – Кончился хлеб. Заране бы знать, насушила бы сухарей. Жила бы и взаперти. А тут? Голodom, что ли, сидеть?..»

Нечаянно взгляд Силачихи упал на ковёр над двуспальной кроватью, где висела двустволка покойного мужа. Сняла со стены ружьё. Разломила его. Увидела оба патрона. О, как обрадовалась она! Словно была уже не одна. Вокруг знакомые лица. И те, кто отсюда уехал, и те, кто умер, но возвратился.

– Кто оборонит меня? – высветилась глазами. – Я! Я и оборонюсь! Слава Богу, стрелять умею. Муж охотник. Многому научил. Спасибо Лёшенька, за науку...

Осмелев, Силачиха прошла к комоду. Нижний ящик сам предложил, чтоб она его выдвинула наружу. Выдвинув, откинула серенькую холстинку, а там, играя тускнеющей медью, готовенькие патроны. Муж был за-пасливым человеком. Знал, что когда-нибудь пригодятся. И нате вам, Анна Ивановна! Готовый подарочек от супруга. Примите, как от живого.

Зачерпнула хозяйка патроны двумя горстями. Положила в карман халата. Улыбнулась как молодая: «Теперь мне сам чёрт с ножиками не страшен!»

Поверх халата, заправив его в шаровары, надела Ивановна старенькую фуфайку. На фуфайку – рюкзак.

Вышла из дома, как только почувствовала спиной облегающую двустрелку. Шла она весело. Галоши на валенках, знай себе, шлёпали по дороге. Четыре версты прошла, даже и не заметив. И вот уже рядом разломки разрушенной церкви, два каменных дома, аптека и штабель ящиков под крыльцом невысокого с красными ставнями магазина.

В магазине людей – никого. И она отоварилась в две минуты. Стала укладывать купленное в рюкзак. Ружьё, чтоб не путалось под руками, положила временно на прилавок.

Продавщица немолодая, но строгая. Покосилась глазами-сучочками на ружьё. Сказала, словно оговорила:

– С ружьём-то куда? Нешто будешь стрелять?

Анна Ивановна:

– Думаю, что не буду.

– И то хорошо. А то я подумала: не на волков ли уж собралась?

Силачиха вздохнула:

– А что коли на волков?

Продавщица шутить, видимо, не умела.

– Да то, что не молодая, можешь и промахнуться.

Анна Ивановна недовольно:

– Коль промахнусь, тебя на помощь не позову!

– Да я и сама, – начала продавщица, но Анна Ивановна в дверь уже выходила. Дослушивать недосуг.

Было облачно, но светло. Силачихе, казалось, что волки в дневное время из лесу не выходят. «Всяко, успею», – сказала она не столько себе, сколько ногам своим, чтоб ступали они быстрее.

Где-то за почтой, где громоздилась в развалих разбитая церковь, она свернула с шоссейной дороги. Просёлок сразу повёл её в лес.

«Волки. Что волки, – думала Силачиха, – мне ли теперь вас бояться. Не дамся я вам. Не совсем ведь и дряхлая. 68 лет. Уж чего-чего, а нажать на курок, эко дело, смогу. Боевая была и в девушкиах, и в молодках. Да и сейчас, как солдат. Не зря и прозвище сохранила...»

Ободрив себя, Силачиха прошла луговину, осинник с вырубкой и редину. Впереди, в окружении ёлок белело поле. Белело оно только посередине да с юга. С севера отливало оно неспокойным багрянцем, словно там кто-то с кем-то хлестался, проливая свою и чужую кровь.

«Это от солнышка», – подумала Силачиха. Да осеклась, услышав под полушалком платок на своей голове, как он, шелестнув волосами, стал непослушно и медленно подниматься. А потом, натопорщась, пошёл круто вверх. Нет. Это было не от того, что она бойко шла. Это были корни волос. Их откуда-то снизу толкнула нервная сила, в которой было предупреждение и даже чей-то панический возглас: «Волки!»

Тroe их было. И все как раз на дороге, той самой, что вела Силачиху домой. Стояли, всматриваясь в неё, заранее зная, что будут делать. Силачиха похолодела. Сместила руками рюкзак. Сместила и лямку ружья. Тут же качнула плечом, и ружьё упало в подставленные ладони. «Встали, как специально, рядышком с домом, – прорезало в голове. – Хоть назад уходи. Но нельзя уходить. Нагонят...»

До зверей было далковато. Шагов 50. Стрелять бессмысленно. Надо ближе. Подойти к ним хотя бы на половину этого расстояния.

Силачихе было не по себе. Однако душа её вскинулась резво-резво и стала сверху повелевать: «Не останавливайся! Иди...»

Шла Силачиха. Шаги её были тяжелыми. Тяжелой была и команда, которую ей отдавала душа: «Сближайся! Сближайся! Не показывай страх. Будь настырнее и храбрее...»

И вот уже волки шагах в тридцати. Силачиха сбросила рукавицу с левой руки. А потом и с правой. Скрип скрип под галошами. Волки зашевелились. Один из них в сторону забежал. Значит, бросятся с двух сторон. И второй волк куда-то в сторону, но не вправо уже, а влево. С трех сторон на неё. Это худо.

Третий волк с дороги не уходил. Стоял, поставив передние лапы в канавку от мотоцикла. Силачиха увидела брови волка. Под ними – мерцающие глаза. В глазах вдруг прорезало, словно шла в них гроза, и молния высокочила наружу. И в это мгновение палец ее нажал на курок. Выстрел был оглушительный. Однако она не попала.

Тем не менее, волк попятился, даже чуть поскользнулся. И вдруг сделал несколько крупных прыжков в сторону от дороги. Силачиха – за ним. Бойко-байко. Словно гнала её какая-то внутренняя жестокость, с какой она преследовала того, кто её к дому не пропускал. Снова нажала на спусковой. Грохот такой, что в ушах её заложило. И опять, вроде, мимо.

Распахнув телогрейку, она засунула руку в халат, схватив из кармана почти все патроны. Но тут же, и обронила. Только один в руке и остался. Сунув его в патронник, повела стволом к ивовому кусту, где только что прошуршало. И не стала стрелять, сообразив, что волк от нее был дальше, чем надо, на том расстоянии, с которого не попадают.

Силачиха окинула взглядом крайний к лесу участок поля. В свете заката были видны на нём три ныряющие фигурки, которые торопились к лесу.

В горле у Силачихи сухо-пресухо.

– Чаю хочу, – шепнула сквозь сухоту и, собрав в снегу разбросанные патроны, тронулась к дому, где ее дожидались чуть живые от страха кот, коза и забившиеся во все закоулки избы тени тех, кто когда-то в ней жил.

Минино Вологодского р-на, 2017 г.

ГЛАШАТАЙ

Валёк и Серёга – троешники. С грехом пополам закончили восемь классов. И вот слоняются по посёлку. Хорошо бы устроиться в кадры. Хоть на валку деревьев, хоть на сучки. Тут бы были у них и деньги. Жизнь показалась бы, эх, нормально. Однако работы в посёлке нет даже взрослым. Отцы у ребят работают лишь сезонно, уезжая за сто километров на вахту, где ещё сохранился остаточный лес, и можно немного подзаработать.

Родители за своих сыновей тоже переживают. В прошлом году купили ребятам по новой рубахе, кроссовкам и джинсам. Спасибо отпускникам, забиравшим у мальчиков целое лето лесные деликатесы. Лучше всего покупали они землянику с морошкой. Собирались юнцы за ягодами и нынче. Да появилась идея – брать ягоды не по вырубкам и делянкам. А рядом с посёлком, через реку, где совхозное поле, на котором уже поспевает садовая земляника.

Лодку для этого дела устроил Серега. Отца дома не было у него, уехал с бригадой валить дальний лес. Так что и спрашивать было не надо. Сели в долблёночку – и вперёд!

Было 12 ночи. Никто не видел, как подкрались они к совхозному берегу, на котором таилась сладкая земляника. Была она крупной, почти с куриное яйцо. Потому и брать её было легко.

Тихо вокруг. Никого. Сторожа нет. А если и есть, то сидит где-нибудь да, знай себе, посыпает.

Мальчики предовольны. С час просидели они на грядках. Корзины с верхом! Пора и назад.

Вышли к изгороди, вбегавшей прядлами прямо в воду, где они оставили лодку. И удивились. Лодка была – и сплыла. Кто-то сел в неё и уехал. А может, сама она отвязалась? Ягодники смущались.

– И чего теперь?

Валёк кивнул вдоль реки, где пестрели дощаники и долблёнки.

— Пойдём по лодкам. Может, какую и отопрём.

Нашли пару ржавых гвоздей, чтобы было чем открывать лодочные запоры. Лодок было штук десять. Все, как одна, на цепях с импортными замками, гвоздём которые не откроешь.

— Во, попались! — заныл Серега.

Валёк посоветовал:

— Не скули.

Они оглядели совхозное побережье. Метрах в 200-х за низиной темнели маленькие избушки. Низину вёсна-ми затопляет, и на ней не сеяли ничего. Лишь сенокосили, выбирая среди камышей съедобицу для животных. Два стожка уже возвышались около огородов.

— Надо идти в деревню, — сказал Серёга, — пусть нас, это, перевезут.

Валёк усмехнулся:

— Вместе с ворованной земляникой?

Подул ветерок, донеся от бараков через реку чей-то голос, кривший кого-то крепкими матюгами.

Валёк прошёлся по суплесу. Пнул по выброшенной метле, отправляя её к воде. Тут и вторая метла. Пнул и её.

Где-то вверху, над пристанью, поморгало. И сразу, слепо блеснув, показался серпик луны. Удивительно, но при слабом его свечении в деревушке ответило тем же самым, таким же призрачным полублеском, в котором ребята увидели крест.

— Часовня!

Тем и знакома была им часовня, что раз в неделю её навещал из города поп Василий. Приезжал он и на неделе, когда умирал в округе какой-нибудь старичок. И приходилось его отпевать. Иногда попадали в часовенку и ребята. Просто так. Или с кем-нибудь из знакомых. В последний раз были здесь они в мае, когда у Валька умер дед. Как-то странно было смотреть на бледного, в

строгом костюме мужчину, лежавшего в ярком, с кистями гробу, чьё лицо было очень спокойным, а веки слегка приоткрыты. Отчего казалось, что дед подсматривает, оттуда за всеми живыми и даже сочувствует им, кого он, как мальчишек, обхитрил, оставив одних, без него в этом мире.

И ещё удивило мальчиков то, что было в часовне тесно. Не от людей, а от только что выделанных гробов, что были расставлены по углам и, казалось, ждали своих квартирантов, которые так и так не сегодня, так завтра прибудут сюда.

— Прячем ягоды — и за мной! — Валёк не стал объяснять, какая идея пришла ему в голову. Оставив корзину около лодок, он тут же выбрался на тропинку и пошагал уверенно, как хозяин, который знает, что надо делать для того, чтоб попасть домой.

Прокрипев сапогами по мелкотравью, они вышли на косогор, за которым, чернея решётками окон, стояла бревенчатая часовня. Дверь её закрыта была на завёртыши. Открыли. Вошли. И, приглядевшись к потёмкам, увидели, что в углах часовни гробы уже не стояли. Был лишь один, что темнел на столе.

Открывая крышку, больше всего опасались охолонуть глазами о мертвеца. Но в гробу не было никого. Покойник, видать, находился дома. Утром за гробом, поди, и придут.

— Повезло нам с тобой, — признался Валёк.

— Это как?

— Вынимать из гроба не надо.

— Кого?

— Никого.

Не давая Серёге прийти в себя, Валёк сурово постановил:

— Крышку здесь оставляем! А ящик с собой!

Гроб был из высушенных тесин, поэтому не тяжёлый. Однако нести пришлось в перевёрнутом виде, на головах, днищем вверх.

Выбрались из часовни. Перешагивая порог, кто-то из них запнулся, и гроб, задевая косяк, пронзительно скрипнул.

Где-то в потёмках тявкнула потревоженная собака. Следом за лаем брызнуло пятнышко света от фонаря.

Ребята заволновались. Хотели было швырнуть свою ношу. Да удержались. Так, согнувшись в четыре погибели, и двинулись тропкой к реке.

Кое-как дотащили. Сняли поклажу и поглядели, как она будет держаться в воде. Вроде, нормально.

Подобрали оставленные корзины. Подобрали и мётлы. Сами залезли, и, оттолкнувшись, поплыли через реку.

Чем-то гроб походил на обычную лодку. Только плыл он ужасно тихо из-за того, что в руках у ребят не вёсла, а что-то среднее между шваброй и помелом. Мальчики сразу же и устали. Оба, как в наказании. Стоят на коленочках и гребут. Верней, не гребут, а хлопают, поднимая и опуская намокающую мотню, словно отганивают от гроба нечистую силу, плывущую вслед за ними, чтобы их настигнуть и утопить.

Поглядеть на них с берега – право, поверить, что это не мальчики, а искатели собственной жизни, кою они нечаянно потеряли и теперь, спохватившись, старательно ищут, исследуя темноту...

Первым, кто разглядел пассажиров в гробу, был сторож ягодников Калыгин, пожилой, крепко сбитый пенсионер в обветшалом комбинезоне. Вооружён центральной 16-го калибра, небрежно сидевшей на грузной его спине. Это он угнал у ягодников долблёнку. Уплыл на ней к середине реки, где, прикрепившись к бакену, вошишк и караулил. Намеревался обоих арестовать. Запереть до утра в часовню. А там – и директору передать.

Смутила Калыгина дерзкая расторопность, с какой любители ягод решили вернуться домой. Без всякой там лодки. Не поленились сходить в часовню, куда он сам собирался их увести. Да ребята опередили. На какие-то

20 минут потерял их из виду. А они уже – из часовни. Топ-топ. Не с пустыми руками, а с домовищем. Гроб-от этот сам Калыгин и мастерил. Пару тыщ хотел за него получить от бабки Ульяны, чей супруг на девятый десяток перевалил, и вот преставился в воскресенье. Сегодня среда. Сегодня и день похорон. Но как хоронить, коли гроб на воде? Переправляет воришек. Работа мастера вся наスマрку. Калыгин во гневе. Мальчики-то чего? Переедут реку, абы сразу домой. А гроб? Там и бросят, где вылезут из него. Буксируй Калыгин назад. По воде. А потом по земле, чтоб обратно его в часовню. Сторож кипел: «Ну, гадючкины дети. Вас бы сейчас по подспиннику коромыслом...»

Калыгин плыл, с озлоблением наблюдая, как усердствовали ребята, продвигая гроб к той стороне.

О, если бы знали мальчики, кто их преследует, они бы, пожалуй, так сильно не напрягались. Но развиднелость над стрежнем реки была слишком мутной. И гребец, возникший среди неё, мог им представиться кем угодно, но только не человеком. А ежели человеком, то только бывшим, одним из тех, кто возродился из мертвецов.

Лодка с Калыгиным шла за воришками неотступно и, кажется, кажется, настигала.

– Покойник! – вскрикнул Валёк.

– О-о! – вздуурел и Серёга.

– Гроб-от ево! – добавил Валёк. – Сейчас, как хозяин, сюда и переберётся!

– А нам-то? Нам-то чего?

– Откудов я знаю. Пуще! Пуще греби!

Но грести тряпичными швабрами невозможно. Они впитали в себя по пуду воды, и поднимать их стало уже не под силу.

Бросили швабры. И вот в руках вместо них – матерчатые кепчонки. Но и они не годились. Их моментально выхватило водой.

Засуетились ребятки. Давай приседать то на левой ноге, то на правой, чтоб другой свободной ногой грести по воде. Гроб раскачивало, как в бурю. Неожиданно он раздвинулся, ощетинившись остренькими гвоздями. И дощечки его поехали, кто куда.

— Как же мы? — воскликнул Серёга, проваливаясь в реку.

Валёк горьким голосом:

— Плавать умеешь?

— Худо!

— И я не лучше! — признался Валёк, погружаясь вслед за Серёгой в немереную прохладу.

Двух минут не прошло, а на ложе реки — лишь две опрокинутые корзины, из которых катится в воду уже никому ненужная земляника.

Калыгин покрылся холодным потом. Ребятки-то, кажется, тонут. Что и делать? Спасать? Но как это делать, он не имел малейшего представления. Потому и вёслами зачастил, абы только прочь, прочь отсюда. На левый берег, где у него дом родимый, где старушка-жена, где охраняется им совхозная земляника.

Ну, а здесь-то как быть? Здесь-то около бакена, на стремнине, где темно, глубоко и глухо, и вода по-недоброму вьёт? Этого сторож не знает. Он в панике и расстройстве. И ничего, ничего не видит уже. Ни гроба, что рассыпался на дощечки. Ни мальчиков, что колотят ладошками по воде.

Металось в груди у Калыгина. Как если бы кто-то ловил его сердце, и оно, увёртываясь, летало, пытаясь найти спасительный уголок.

Но что это? Что? Лодка стала вдруг тяжёлой и не послушной, словно кто-то её топил. По телу Калыгина, задевая комбинезон, пробежало волнение. Калыгин увидел мальчиков на весу. Оба по шею в воде, руки же — наверху, как когтями вцепились в борта долблёнки.

Калыгин трудно выдохнул и поплыл, разворачивая долблёнку. В обратную сторону, к берегу, где темнели бараки поселка. Плыл в растерянности и в думе. Получается, он этим мальчикам помогает, не отдаёт их реке, спасает.

Калыгин едва успокоился, и последние метры, которые оставались до мелководья, где стояла гряда отцветающего рогоза, проплыл аккуратно. «Ещё один гроб, видно, делать. И очень срочно...» – подумал, взглянув на рогоз, сквозь который шли, выбирайся на берег, несостоявшиеся воришки, кого река пощадила, отобрав от них лишь кепки и сапоги.

Потянул свежачок, донося от бараков хлопанье крыльев, с каким садился куда-то наверх поселковый петух. Начинало светать.

Ребята медленно поднимались к набережной реки, оба сырующие и босые, в прилипших к спине рубахах. Выбравшись на мостки, повернулись лицом к долблёнке и громко, так, чтобы услышал Калыгин:

– Спасибо, дедо-о!..

«За что спасибо-то? – удивился старик и вдруг открыл для себя: – За жизнь! За то, что я не спасал их, но как-то по-дивному получилось, что жизнью своей они обязаны мне. Потому и лодку свою обратно не забирают. Бить бы надо меня, как стоногого дезертира. Я ведь бежать собирался от них. Глядел и не видел беспомощных рук, когда они ко мне потянулись. Такое вот коромысло. С занозинами, едрёна...»

Вздрогнул сторож, услышав от ближних к реке бараков:

– Кукареку-у!..

Кричал глашатай пробуждавшегося пространства, утверждая всё то, что несёт в себе жизнь. Ну, а то, что её умаляет, специально не замечает, считая это ниже его достоинства, не стоит даже и поворота его гордо вскинутой головы.

Вологда, 2015 г.

СУХАРИ ДЛЯ КРЫСЫ

Елизар Николаевич Татанов спокоен и тих. Сидит у окна, молча взглядываясь в красоты, в какие уходит сельская местность, оставляя под снегом отаву подворий, дорогу, изгороди и грядки.

Татанову 70 лет. Живет он двумя половинами года. В городе – до весны. В деревне – до первых морозов. С тех пор, как он вышел на пенсию, прошло 10 лет. Жаловаться не на что Татанову. Всё идет у него, как надо. Подобно ему живут многие горожане, у кого в деревне купленный дом. У Елизара дом по наследству. От матери. Отрадно ему оттого, что выкопана картошка, убрана свекла, выдергана морковь. Всё это покоится в коридоре в семи мешках, укрытых брезентом и одеялом. Подспорье. Не трястись зря ни ему с его постоянно хворающей Евдокией. Ни сыну с невесткой. Сын приедет за этим добром десятого ноября. Сегодня второе. Увезет и его. Чтоб опять он жил-поживал в своей городской квартирке. Он да жена его Евдокия, с которой он неразлучен вот уже 45 лет.

В коридоре скребнуло. Опять грызуны. В Лепенъге сорок домов. Местных жителей нет, одни горожане, и зимой никто из них здесь не живет. И хвостатая нечисть, чуя тепло, норовит туда, где еще продолжается жизнь. Крысы да мыши. Нынче их особенно много. Татанов всю отправу на них истратил. Оставился лишь яд в порошке. Очень сильный, который достал ему сын. Чтоб хватило его до отъезда, порошок растворил в горячей воде, окропив мёртвой жидкостью сухари. Сухари же повесил повыше, в сенях, около двери, в холщевом мешке. И брал их оттуда по несколько штук, каждый раз раскладывая возле мешков с овощами.

Разложил и сегодня. И снова к окну, как к приятелю, с которым мог просидеть дотемна.

Татанов обожал пространство, ощущая себя открывателем всех ландшафтных перемещений. Что он там видел? Мягкое белое колыханье, уходящее за деревню, где протекала, глотая снежинки, чуть пристызывающая река. А дальше, за рослыми ольхами, по пологому скату водораздела поля, поля и поля.

Послышались в сенях шаги. Дверь открылась. Девушка на картине художника Васнецова, прямоугольные с маятником часы, отдушина на печи, висящая лампочка над столом глядели, словно обыскивая пришельца, как бы спрашивая его: кто такой? Откуда? Зачем явился? Старик же, сидевший на табуретке, взглянул на вошедшего безразлично, не собираясь его расспрашивать ни о чем.

— Александр! — представился тот с порога. Голос свежий и ясный, как с утреннего мороза. — Попал в передрягу! За что? Да за то, что меня грабанули. Двое. Меня же и сдали ментам, как грабителя этих двоих. Пришлось убежать. Ничего. Я их всех там запомнил. Вернусь еще к ним. Они у меня будут здесь! Как котята! — Нога Александра в мокром полуботинке колебнулась, вскидываясь носочком, словно он с нее сбрасывал этих котят.

Парень был килограммов под сто. Красивый, с волнистыми волосами, без головного убора, в кожаной куртке. Глаза веселье, настежь, как раскрытые на весну блестящие окна. А на щеке — белая ниточка — шрам от ножа.

Татанов сразу понял, что парень бывалый, прошедший огонь и воду, однако с секретом, который нельзя раскрывать, и он не раскроет.

— Ну-ну, — сказал Татанов, — я же не видел, как ты убегал. Ни к чему это мне.

— Чудесно, отец! — Александр улыбался, сваливая с лица не только смеющиеся морщинки, но и неровную ниточку белого шрама. — У русского человека душа большая! Поймет, не то, что ли иностранец!

«Иностранец-то тут причем?» – не понял пенсионер, загребая рукой полукруг небольшого кухонного пространства:

– Давай проходи.

Парень, хотя и плел небылицу, но нравился Татанову. Нравился, прежде всего, своим темпераментом, натиском бойкой жизни и неизвестностью: кто он? Куда он? И почему оказался именно здесь, этакий взявшийся ниоткуда граф Монте-Кристо, незаслуженно пострадавший, и теперь настроившийся на месть?

И пройти-то всего от порога к столу полтора десятка шагов. Но и эти шаги прошел Александр так, как надо, ступаяочно, на всю подошву, отмечая себя в глазах хозяина чуть ли не праздничным человеком, кому не положено быть, как всем.

– Батя! Выпить бы мне! – попросил Александр. Но как попросил! Словно в просьбе его было то особое обаяние, какое склоняет любого, к кому обращаются с ним, на широкую русскую доброту.

Водки было у Татанова в обрез. Одна бутылка. Ее он берег. Неделю еще предстояло ждать сына, и ежедневная рюмка вечером перед сном была для него, как спасительное лекарство. И все-таки он сходил к холодильнику. Вынул бутылку. Тут же – на стол. И закуску принес. Стакан же поставил один.

– А ты чего, батя, не будешь? – спросил Александр.

Татанов отказался, сославшись на незддоровье:

– Сердце. Нельзя. Давай уж ты сам. Без меня...

Александру было не хуже. Сидел, вбиная в себя уют стариковской избы, водку с закуской и робкое шевеление стрелок висевших над ним настенных часов.

Ночь подошла, как белая женщина, заслоняя окна от полумрака, в каком сидела деревня, мирно слушая шорох черемуховых ветвей, в которых плавали еле видимые снежинки.

– Будем спать, – сказал Татанов, едва Александр покончил с едой и бутылкой.

Сам он забрался на печь. Александр – на кровать. Он уже засыпал, как вдруг услышал внизу страшный треск, словно в простенке около пола трещало рвавшееся бревно. Никогда Татанов не слышал, чтоб так хранили. Сколько энергии в этом хранили, сколько грохота, сколько силы! Словно в маленький дом ввалилась стихия.

Терпел Татанов. Ворочался на фуфайке, сквозь которую пропадала твердь печных кирпичей. Храп продолжался почти до утра. Почти до утра не спал и хозяин. Лишь когда поутихло, закрыл глаза и забылся. Но недолго. Сквозь сон услышал шаги. Ходил Александр. Снял с печи валенки и ходил в них уютно и мягко, как кот. Слышно было, как открывались дверцы посудного шкафчика, холодильника и буфета, скрипели ящики кухонного стола. Засвистел электрический чайник.

Не понравилась Татанову самостоятельность гостя. Слез с приступков, обув на ноги вместо валенок старые тапки. Выбрался из-за печки. Глазам не верит своим. На столе рядом с чайником, пачкой чая, и чашкой, откуда дымился заваренный чай, лежал разбросанный ворох квитанций, бумаг и многих других, печатью заверенных документов. Были среди них и деньги, последние триста рублей, с которыми Татанов собирался сходить за пять верст в магазин, чтоб пополнить свои продовольственные запасы. Именно эти три сотенные купюры и увидел хозяин в руке Александра.

– Ну-ко, положь на место! – сказал он ему.

Александр сунул деньги в карман. Пододвинул чашку с заваренным чаем. Стал отхлебывать не спеша.

– Ухожу, отец! Неплохо бы на дорожку чего-нибудь и покрепче. Может, где заныкано у тебя?

По лицу Татанова полезли багровые пятна, взбираясь на лоб и лысую голову, в которой стало вдруг до неприличия дурно и горячо.

— Положь, говорят! — повторил он, вглядываясь в лицо Александра, с которого тут же и стерлось веселое выражение удачливого гуляки, с кого решили потребовать деньги. И это его возмутило. Он лихо встал, смахнув со стола полетевшие на пол квитанции и платёжки.

— Тебе они больше не пригодятся!

Татанов, удерживая свой гнев, повернулся не только грудью, но и душой к вероломному гостю, словно увидел в нём лиходея, кого предстояло остановить:

— Ты чего это, парень? С ума посходил? Ведь последнее забираешь!?

— Заткнись!

Покоробило Татанова. Он оскорбленно моргнул, вобрал в себя воздух и вдруг завёлся:

— Смелый какой! А ежли я милицию вызову? Прямо счас...

Не надо бы Татанову об этом. Лицо Александра покрылось злой багрецой.

Татанов опомниться не успел, как был повязан висевшей на спинке стула бечевкой. По рукам и ногам. И лежал на кровати, брошенный так, что шея его заломилась.

Александр торопился. Схватил со стены хозяйственный рюкзак, стал бросать туда все, что могло пригодиться в дороге, из того, что нашел он в этой избе. Досадовало его, что старик был из бедных и, кроме двух банок тушенки, двух пачек чая, пакета с сахаром, пачки масла, он не нашел ничего. Подошел к Татанову:

— Хлеб? Где хлеб?

— У меня не хлеб, — ответил хозяин, — у меня сухари.

— Где они?

— Там, за дверью.

Александр пнул ногой в проскрипевшую дверь. Увидел мешок на стене. Снял и бросил его в рюкзак. Потом увидел на вешалке стеганую фуфайку. Натянул на себя. А сверху — рюкзак.

Татанов поднапрягся:

— Ты, видать, человека убил? — голос его сухой и скорбный, как шелест страниц книги актов о смерти.

Александр усмехнулся:

— Тебе-то, не все ли равно.

— А куда ты пойдешь? — спросил Татанов.

— И этого, батя, знать тебе нынче не надо.

— Развяжи меня, — попросил Татанов.

Александр задумался на секунду. Что-то быстро решил. Но решил не в пользу хозяина дома. Пошарив в кармане фуфайки, достал оттуда спичечный коробок. Зажег пару спичек, пристроив их аккуратно на край кровати. Огонь пополз по байковому одеялу. Татанов встрепенулся.

— Это ка-ак? — вытаращил глаза.

— Так, старче. На всякий пожарный. Чтоб ты меня в этой жизни не опознал.

Переступая порог, Александр обернулся:

— Скажи мне что-нибудь на прощанье?

Татанов бросил в дверь негодующий взгляд:

— Подохнешь и ты...

Шел Александр и шел вдоль берега по дороге. Уже за деревней, на вырубке, где стоял одинокий стожок, оглянулся. Увидел на фоне летящего снега дым и огонь.

— Был свидетель, и нет, — иронически улыбнулся.

— Никто обо мне ничего не расскажет. Хорошо, когда есть на Руси пенсионного возраста обормоты. Слава Богу, мне с ними не по пути. Мне еще жить и жить. А им? Пожили, кажется. Хватит. Их у нас слишком много. Стране и так не легко. Для чего ей балласт? От него надо срочно освобождаться. Как это сделал сегодня я. Хоть одним обормотом станет поменьше...

Ступал Александр в мягких валенках по снежку. Ступал, не смея остановиться, ибо хотел унести свои ноги подальше от этой ненужной ему деревушки, где он оставил огонь, а в огне — никчемного старикашку, каких

на Руси слишком много, и все они зацепились за жизнь, как липучий репей.

Вечером мог бы он завернуть в светившееся сквозь лес огнями маленькое селенье и там попроситься к кому-нибудь на ночлег. Но не стал заходить, страхуя себя от случайного невезеня. Потому и разжег среди леса костер. Набил котелок свежим снегом. Растиопил его на огне. Опустил туда пару щепоток индийского чаю. Налил в кружку и начал пить, хрустя трофеинными сухарями.

И было бы в этот вечер ему сытно, угревно и романтично, но сухари объявили войну, разрывая желудок с той силой, с какой могли умертвить бы они и крысу. Александр поднялся и побежал к спасительному селению, откуда к нему сквозь деревья струились оконные огоньки. Но боль разрасталась и разрасталась. Была она нестерпимой. Александр споткнулся, с отчаяньем постигая, что мукам своим он обязан пенсионеру, потому и находится в этом чёртовом перелеске, где только голые ольхи, снежный покров да какая-то белая птица на пне, разглядевшая то, как он падает в снег. Падает, сознавая, что самое жуткое для него в этом мире – это собственные глаза, на которые смотрит вечерняя птица перед тем, как распробовать их на вкус.

Вологда, 2014 г.

НЕПОНЯТКИ

* * *

В леспромхозовских поселках страны в пору их расцвета, павшую на времена правления Хрущева и Брежнева, проживало более двух миллионов человек. Сейчас, от силы, одна четвертая от этой величины. Убыль населения продолжается и поныне. Причина одна - вырублен лес, других заработков в поселке нет. В данном очерке автор пытается нарисовать картину жизни сегодняшнего поселка. Нельзя допустить, утверждает он, чтобы земли тех, кто на них живет, стали ненужными, и хозяевами их будут чужие, те, кто способен не только лес, но и всю Россию продать с молотка.

ДЕДОВ БОР

Галанову – 60. День рождения с выходом на заслуженный отдых. Радоваться бы ему. Но Илья Арсеньевич равнодушен. Как если бы вышел из пустоты. В пустоту и попал. Ещё неделю назад собирался в город пенсию оформлять. И вдруг, в день большого футбола, который встретила с радостью вся страна, с газетных страниц, с телевизоров, со всех средств массовой информации ко всем кандидатам в пенсионеры посыпались упредительные глаголы: подождите! Наберитесь терпения! Не спешите влияться в братство пенсионеров! Как служили родному отечеству, так и служите. Продолжайте привычную жизнь.

Очень Галанову непонятно: это как продолжать, коли он зарплату свою с Нового года не получает? Чья-то влиятельная рука прошлась по бюджету лесхоза, сократив его чуть ли не вдвое. Галанова известили об этом через письмо, сообщив о том, что должность его сокращается, и он отныне уже не лесник.

А как же быть с лесом, ежели он с того самого года, когда дед Галанова Илья Саввич был в добной силе и руками своей семьи посадил целый бор? Кто будет его охранять, если нет лесника?

Илья Арсеньевич не умел зарабатывать деньги. А мог бы. Сколько раз уходил он от сладких соблазнов, с какими его уговаривали пустить в дедов бор, чтоб спилить в нем десяток-другой товарных стволов! Просили об этом и горожане, и посельчане. Он, разумеется, мог бы их и пустить. И надо-то было для этого лишь глаза призакрыть, не заметив того, как лесное сырьё уплывает туда, где берет верх невидимая нажива. И ему бы от этой наживы был солидный кусок. Но Илья Арсеньевич ни в какую.

По полёту фантазии в голове был Галанов почти романтик. Он и жизнь свою устраивал, словно сказку. Не желал, чтобы где-то с ним рядом рос измученный лес. Хотелось его переделать, преобразить. Дабы всё него-жее стало в нем гожим.

Там, где шумели рабочие лесосеки, откуда был взят спелый ельник, он и затеял устроить будущий бор. Но, чтобы бор заиграл бронзовыми стволами, мхом-бело-мошником и колючими ярусами ветвей, нужны были деньги.

Нуждались в деньгах и временные посадки, где бы могли расти грузди, рыжики и волнушки. К грибному делу сманило Галанова общество женщин. Говорили ему не раз:

— Живём в лесу, а грибов не видим. Ты бы, Илья, эдако место для нас нашёл, где бы они стояли мостами...

Мест таких в лесу нет. Но устроить их можно. Для этого нужен был трактор. Нужен и опытный тракторист. Однако, где их сегодня найдёшь? Разве в городе. Но за деньги, которых лесник в наличии не имел.

Несчастные деньги. Будь они трижды неладны. Ничего-то без них уже стало нельзя.

Выход из положения, как ни странно, но Галанов нашёл в гибридах Сибирского абрикоса. Как-то по осени у вологодского садовода Осокина он приобрёл косточки этого фрукта. Посеял их у себя в огороде. Целую грядку. Сеянцы выросли в то же лето.

На стареньком Жигулёнке Галанов отправился в город. И стал продавать. Разбирали растения чуть ли не в драку. Ещё бы! Кое-кто в их районе уже испробовал эту редкость. Вкус такой же, как у южного абрикоса, только плоды в два раза мельче. И урожай снимай не по третьему году, а по шестому. С деревца – по ведёрку. Это и соблазнило жителей города стать покупателями реликта.

Абрикосовых денег хватило, чтоб заказать день работы трактора с трактористом. Так была вспахана меж болотом и бором расчищенная низина, куда Галанов с ребятами местной школы перенёс молодые берёзки, под которыми и должны пойти в рост заказанные грибы.

Собирался Галанов пахоту повторить – сделать новый заказ на трактор и тракториста. Да вышел конфуз, а там – и сама неприятность.

Сеянцы абрикоса он продавал на районном базаре. Трижды сюда приезжал. Хотел приехать ещё пару раз. И не мог. Один из барыг некто Шура Касиворубин, круглоголовый мордоворот с жирным брюхом, какое держали помочи брюк 62 размера, кто тоже сбывал устойчивые к морозам осокинские гибриды, увидев у лесника расценки на этикетках, жёстко предупредил:

– Продаёшь саженец свой за 40 рублей. А ты продавай за 200. Аб было на равных. Как у меня. Не сделаешь – пожалеешь.

Не внял Галанов голосу спекулянта. И, как результат – лишился средства передвижения. В одну из сентябрьских ночей проснулся он вместе с супругой от пламени во дворе, какое опряло его удаленький Жигулёнок. Не стало машины. Не стало и выездов на базар.

В отчаянии Илья Арсеньевич подался было в райцентр. Стал ходить по конторам и службам, которые были связаны с лесом. Хотел найти патриотов природы, кто бы пошёл навстречу ему и дал на такое дело тыщёнку-другую. Многие, как и водится, отказали. Тыщёнка-другая самим пригодится. Да и к чему им лишняя канитель. И всё-таки в будущее своё не все глядели крохотными глазами. Иные в рождающемся бору заранее видели красоту и даже зону массового гулянья, куда можно выехать, как выезжают компаниями на отдых, чтобы походить среди сосен, попутно грибков поднабрать, а то и ночь провести рядом с речкой, насыпавшись туманами и цветами. Обещали Галанову крепко подумать, и может действительно пособить. Но пособить не сегодня. Потом. Когда будут лишние деньги.

Бывший директор лесхоза, теперь глава обанкротившихся хозяйств Вадим Николаевич Чумаков денег тоже, считай, не имел. Но искал их тщательно и усердно. Было время, когда он руководил межрайонным лесхозом. Как много чего эта должность ему обещала. Однако пришлось уйти по собственному желанию. Попался на сделке с предпринимателем из Калуги, куда отправил вагончик стройлеса. Был обличен как производственный расхититель. Должен был состояться и суд. Но от следствия и суда отвел влиятельный покровитель. 4 года с тех пор прошло. 4 года поиска кресла, откуда бы снова можно руководить. И вот повезло. Сейчас Вадим Николаевич – шеф, чье ведомство курирует убыточные хозяйства ушедших в небытие колхозов и лесопунктов. В том Чумакову еще подфартило, что контора имела

автомашины и трактор. Был и нужный ещё человечек, кто управлял всеми видами транспорта, включая машину, трактор и автокран. Вот через этого человечка он и решил поправить финансовые дела. Для чего и послал разнодельца к Борзенину в Моховое.

Послал после встречи своей с лесником. Увидев в своем кабинете Галанова, кого знал по совместной ещё работе в лесхозе, он попытался понять, спросив мысленно у себя: «Нужен ты мне? Или не нужен?», что равносильно было: «Имеешь в своем Моховом лес-лесочек? Если имеешь, то я с тобой с удовольствием пообщуюсь...»

Илья Арсеньевич лесником уже не был. Однако сказал, как лесник, который в курсе всего, что происходит в лесном хозяйстве:

— Лес выборочный имеем. Но тот, что в массиве, этого нет. Сами знаете. Всё подчистую взяли. Лишь осина с берёзой в силе. А она вам зачем? Не дрова же заготовлять.

Вадим Николаевич согласился:

— Правильно. Не дрова. Нужны ель и сосна. А где они ныне? Перевелись. Хозяйствовать не умеем. Надо бы так работать, чтобы хозяйство, которое лес вырубает, само бы его и выращивало.

— Вот, вот, — подхватил Галанов. — Мой дед именно так и старался. Требовал с мужика: ёлку свалил, ёлку и посади. Но когда это было? Сто лет назад. В 20-е годы. А что от тех пор мы имеем сейчас?

— Боры, — подсказал Чумаков.

— Но боры недоспелые, — поправил его Галанов, — им стоять ещё надо. Да и жалко их. Такая неповторимость! С них бы только писать картины.

— Знаю, знаю, — согласен был Чумаков. — Неповторимость, как я понимаю, надо, надо беречь. Абы кто на неё тёмной ночью не замахнулся. Убережём её, как ты думаешь?

— Всенепременно! — заверил Галанов. — Мало того, к нашим мачтовым великаншам добавим детёнышей с маточной грядки.

Чумаков немного насторожился:

— В каком это смысле?

— Плугами бы нам — на наши запущенные угодья! — открылся Галанов. — Распахать бы их и посеять сосняк.

— Новый лес?

— Новый лес!

— А где ты его возьмёшь?

— Да хотя бы в моём огороде. Каждый год по стакану семян высеваю.

Чумаков, когда надо, умел выражаться красиво и крупно:

— Дело такое. Считай, государственного размаха. По всей бы России его. А люди для этого где?

— С людьми всё в порядке. Школьники у меня. Который год помогают. Хоть шишки в лесу собирать. Хоть шелушить их на семена. Кое-кто даже вон ямки копать по пахоте наловчился. В одном заковыка — нет трактора у меня. Нету и тракториста...

Чумаков смотрел, смотрел на сидевшего против него одетого в серый пиджак и футболку под ним поджарого человека, перекатывая в уме нечто спрятанное от всех, чем неплохо бы было воспользоваться, пока обстоятельства позволяли. Лицо его с короткими усиками под носом и чёлкой чёрных волос, опущенной косо по лбу, было сосредоточенным и серьёзным, и вдруг по нему пробежала думающая улыбка, а следом за ней и азартный порыв страстного человека, который всё, что ни делает, делает лишь с расчётом.

— Будет тебе и то, и другое! — выпалил с жаром. Отчего Илья Арсеньевич даже вздрогнул. — Завтра же и получишь! Слово даю! Сажай себе всем на радость!..

Галанов смущился. Не ожидал такой широты от главы убыточного хозяйства. Смутился и испугался, за-

думавшись о деньгах, которые предстоит отдать за пахотную работу. Подождал, глотая застрявшую в горле слюну. А потом малым голосом не спросил, а прошелестел:

— Во сколько мне это выльется? Имею в виду рублей?

— Ноль целых и ноль десятых! — Чумаков сиял молдавской кожей лица, сиял и коротенькими усами и даже крыльышком чёрных волос, спускавшимся с головы куда-то к правому веку. — Или мы не великороссы? Не понимаем друг друга? Сегодня я тебя выручаю! Завтра — ты! По-брратски! Как и должно быть у нас на Руси! Или не так?

— Так...

Уходил из конторы Илья Арсеньевич окрылённым. И домой добирался, весь заряженный на задор. Ехал себе на попутке, бок обок с шоффёром, таким же заряженным на невесть откуда взявшуюся приятность. Ехал и шёпотом:

— Эх, любо, братцы, любо. Любо, братцы, жить...

Шоффёр покосился на лесника:

— Вроде тверёзый, а ну-ко-ты, льёшь, как скворец!
Даже слушать тебя занято...

2

Слово своё Вадим Николаевич не нарушил. На другой день, далеко ещё до обеда против дома Галановых остановился голубенький Беларусь с поднятым плугом. Тракторист назвал себя Васей Блиновым. Был он маленький, круглоглазый с крепкими жилистыми руками. Сразу и дело себе затребовал:

— Пахать, говоришь? Это мы можем! Показывай: где, чего, сколько?..

Тракторист оказался парнем сообразительным, спорым, имевшим опыт того, как надо ходить на колеснице среди хлама и лома, не попадая лемехами на

камни. Галанов сидел с ним рядом, с опаской оглядываясь назад в тракторное оконце, проверяя: нет ли где пропусков и огрехов? Разумеется, были не взятые плугом пропущенные участки из-за крепких корней, перекрутивших подзол на всю его глубину, и лемех не мог ничего с ними сделать. Но это было преодолимо. В любые пахотные изъяны предстояло врубаться остро заточенным топором, который всегда торчал у Галанова за спиной.

Лесную землю пахать, с одного сворачивая машину от попадавших навстречу пней и подросших деревьев, было не только трудно, но порою и невозможно. Тем не менее, быстренький Вася был готов ко всему. Не унывал, даже если колёса трактора дико визжали среди кустолома, а то и подскакивали над ним. Хуже всего, когда впереди, как змея, выпрыгивал трос, норовя хлестнуть по радиатору или кабине. Тут уж дай колеснику остановку.

Галанов соскакивал вниз. Пытался вырвать трос из чрева земли. Вася мог бы сидеть за своим рулевым колесом, но он, переполненный соучастием, тоже спрыгивал вниз, чтобы не в две, а в четыре руки выбрать из плоти земли металлическую прыгунью.

Да. Работа была далеко не гладкой. Не как у колхозного пахаря в чистом поле. Вот почему местные мужики, мальчики и старушки не любили ходить на старые лесосеки по ягоды и грибы. Здесь не только ногу можно сломать, но и попасть, как в капкан, в неожиданную ловушку.

Беларусь то и дело сбивлял без того черепашью скорость, а то и стоял, как идол, не зная, в какую сторону двигаться дальше. Как память о произволе, там и сям рыжели ржавые траки машин, смятые конники, стойки и даже скелеты трелевочных тракторов. Один из таких скелетов оказался вверху, метрах в трех от земли, в нагромождениях мертвых елок, и там, построив се-

бе гнездо, поселился прилётный ворон. Галанов видел его не раз, когда ходил сюда с наберухой по малину. Он и сейчас там живёт, таская туда время от времени плачущих зайцев.

Здесь, в первый свой выезд при виде летящего ворона, тракторист и оставил свою машину. До утра.

Блинов был очень уж впечатлительным трактористом, бравшим в голову всё, что видел перед собой. Он даже рот приоткрыл, когда услышал всплеск крыльев, с каким хищный ворон устраивался в кабине.

Илья Арсеньевич к подобным картинкам в лесу был привычен. Посмотрев на Васю с сочувствием, он снисходительно усмехнулся:

— Завтра вкоряжимся в гарь. Покажу я тебе. Там стоит сухастая ель. А на самом верху её — медвежонок. Вернее, шубняк от него. Залез на дерево и не слез. Заклевали ещё той осенью совы. Словом, завтра увидишь сам...

Почти неделю Блинов урчал своим Беларусем, доляния зигзагами лесника, который шёл впереди, расчищая, где топором, где простыми руками непролазь лесосеки. И школьники были рядом. Те шли по пахоте с сеянцами сосны, зарывая их в свежие ямки. И воду таскали лейками, находя её в бочажинах, под выворотнями кокор. Без полива сеянец может и не прижиться. И ещё он не может жить без золы. Ту таскали ребята из дома, из бани, находили её и возле кострищ, где ещё летом удили рыбу заезжие рыболовы.

Ребята вели себя, как бывалые лесоводы. А ведь были когда-то у них и проколы. Особенно в первые дни. Это с лёгкой руки директорши школы Марии Васильевны Журавлёвой стали они проходить лесные уроки труда. Мария Васильевна была женщиной благодушной, в то же время и волевой. Уговаривала Галанова быть у школьников педагогом. Показывая на мальчиков, Журавлевая вздыхала:

— Ведь мужиками однажды будут, любящими не только жену свою, не только детей, но и родину-мать. А родина где? В первую очередь, где родился. Как у многих из нас — в лесу! Главное, чтоб в груди у них время от времени пела песня, какую поёт по утрам в любую погоду наш лес. Обижаемый лес. И вот ребяташки наши его спасают...

Педагог из Галанова - никакой. Но уж очень просила Мария Васильевна. Как сейчас помнил Илья Арсеньевич день своего вмешательства в души девочек и парнишек. Вид у ребят, пришедших с ним в лес на посадочные работы, был неуверенный, даже жалкий, как если бы их заставят сейчас делать что-то простое и важное, а они этого не умеют.

Кто-то из бойких, с умным лицом шалопая, которому всё и всегда сходит с рук, подделываясь под лодыря, выкривился губами:

— Илья Арсенич, а что, коли я пачкаться не желаю? Может мне отсюда сразу домой?

Повернулся Галанов к ребятам. Взял шустрого мальчика за плечо и сурово спросил:

— Это ты сказал?

— Я! — ответил парнишка. Ответил гордо, с вызовом, как равному равный. — А что-о?

— А то, что чеши отсюда! Лодырям нечего делать в лесу! Отваливай! Ну-у?

Грубо молвил лесник. Это он специально. Чтоб мальчик сразу определился: с кем ему быть? То ли с тем, кто всегда был маленьким, маленьким и остался, маленьким и в будущее войдёт. Или с кем-то другим, хотя бы таким, как лесник, от кого навевает самостоятельностью и силой.

Мальчик смущился и растерялся. Не знает, куда и деваться. А Галанов о нём уже позабыл. Он шёл по пахоте, брал в руки сеянец, расправлял корешки и, любя, укладывал малыша в прохладную почву. Приговаривая при этом:

— Расти, маломожник! Будь таким же, как я. А потом и повыше меня раз хотя бы в 15, а то и в 20!

Лесник был суров, в тоже время великодушен. Видел, что мальчиков, как и девочек, охватывает порыв: всё делать именно так, как делает он. И это устраивало его.

3

На пять дней задержался Блинов в посёлке. Днём на вырубке. За рулем, в своем трясущемся Беларусе. И лесник рядом с ним. То в кабине лесник, то в ольхово-осиновом перелоге. Две версты на восток. Столько же и назад. За день таких ходов накопится под десяток.

Иногда он наведывает ребят. Успокаивает девчонок. Те опешили от того, что трактор прошёлся рубчатым колесом по сплоховавшему зайцу. Тот лежал в малиннике на спине, перебирая мягкими лапками. Пытается встать. Да никак. Бедный зайчик. Красивенький, молодой, а терпит, воспринимая нелепую смерть, как злую необходимость. От жалости у девчушек даже слёзы капчаются на ресницах.

— Ничего не поделаешь, — утешает Галамов. — Так уж наша природа распорядилась. Кому прыг-скок по колдобинам, а кому путь-дорога в заячий рай...

Мальчики спрашивают его:

— А можно мы его похороним?

— Валяйте. Никому от этого хуже не будет. Разве волку.

— Волку?

— Ну да. Он бы ночью этого зайчика — хам! И сытый.

Домой по вечеру Галамов ступает пешком. Вместо него в кабине трактора ребятня. Семеро. Непонятно, как в ней только и разместились. Что-то выведывают у Васи. На его ответы смеются, а то и подсмеиваются над ним.

— Ты, Вася кто? Мужик или парень?

– Парень! – лыбится тракторист.

– А невеста есть у тебя?

– Есть.

– А какая она?

– Красивенькая, как я.

– А как зовут её?

Вася вспомнить не может, как зовут у него невесту. Что ребятам и надо. Снова смеются. Со смехом в селение и заезжают.

Останавливаются возле благоустроенного барака. Здесь живёт со своей семьёй знаменитый когда-то на всю Вологодчину вальщик леса Иван Никонорович Рамов, друг лесника. Теперь у Рамова нет работы. И к пенсии он ещё не поспел. Вернее поспел, да, как и Галамов, станет ее получать не сейчас, а лет через пять. Дабы иметь на житьё какие-то гроши, вместе с женой он привел в порядок не старый ещё барак, где восемь квартир, которые стали собственностью супругов. Летами во всех квартирах живут туристы. Их в посёлке устраивает и рыбная речка, и оба бора, и то, что здесь можно почувствовать настоящую русскую тишину.

За счёт туристов Рамовы и живут. И речки ещё, где плещутся окунь и лещи. А также нового леса, в котором после посадки берёз боровики и грузди стали выстраиваться плотами. Был, как подспорье у них и деляночный мёд, за которым Рамов ходил на дальнюю вырубку, где всё лето по очереди цветут одуванчики, мята, малина с брусникой и колыхающий, как пожар, неистребимый кипрей. Отсюда пчёлы и добывают прозрачную сладость, пряча её в высохшие деревья, куда, кроме Рамова, они никого не пускают.

Тракторист для Рамовых – свет и радость. Мало того, что он доставил на тракторе из-за речки воз дров, так ещё скатался с хозяином за два бора к клюквенному болоту, откуда притреплевал на тросу сражённый мол-

нией ствол осины, из которого Рамов выдолбит челн. Будет на чём путешествовать по речушке, доставляя к дому осиновую листву для двух коз. Да и так на лодочке прогуляться вдоль забытых кустами и травами берегов. Всё равно, что сходить с гармоникой на вечёрку, разглядев свою молодость, как картину, в которой ты сохранился красивым, смелым и молодым.

Интересы у каждого в этом мире неповторимы. Для того же Рамова челн был похож на редкостную мечту.

Ну, а что было здесь, в Моховом притягательным для Блинова? Вася и сам не знал. Для него было важно всё сделать так, как велели ему. За это ему платили зарплату. Чумаков своих подчинённых не обижал. Помня это, Блинов, когда проезжали с осиной вдоль бора, подсчитывал сосны. Сколько их тут? Годятся ли, как товар, который можно сбыть за хорошие деньги? Ради этого он сюда, собственно, и приехал. Так хотел Чумаков, задумавший что-то дерзкое и лихое, отчего кому-то в посёлке будет нехорошо. Ему же, Чуме (как его Вася мысленно называл) будет до сладости упёйно. Благо бор, если стволы его распилить и продать строителям даже за низкую цену, принесёт Чумакову приличный навар.

С заданием шефа справился Вася, как ему кажется, хорошо. Он был доволен самим собою.

Были довольны Васей и Рамовы, у кого он все эти дни ночевал. За вывозку дров и стволов осины они одарили Блинова таркой лесного мёда.

И Галановы одарили, но не таркой, а полным ведром. Ибо Вася с плугом своим прошёл верст 40 по лесосеке. За такую работу тысяч 20 бы надо ему. А тут ничего. Ни копейки не взял Блинов с лесника. Потому с ним Галанов ведром с краями и рассчитался. А мог бы вообще ничего не платить. Однако совесть была дороже любого меда. Не позволила отпустить работника без расчёта. За мёдом, который копили хозяева на случай

приезда сына, можно снова сходить в лесосеку. А за совестью – никуда. Коли нет её, то и быть тебе до конца своих дней крохобором. Крохобором Илья Арсеньевич быть боялся.

4

В окрестностях Мохового два бора. И оба посажены были руками. Старший бор в трёх километрах к северу от посёлка. В нём четыреста с чем-то сосен. Вид у бора такой, будто это картина Шишкина, только не красками писаная – живая. Бронзовые стволы, просторные ветви, где поселились сойки и ронжи, там и сям проблеск жёлтой смолы, и запах, особенный запах, от которого кружится голова, и ты отделяешься от земли, упливая в зовущие дали, где живёт всё бывшее и святое. И сегодняшнее живёт, возведённое век назад дедушкой лесника, от кого получил он в наследство проворную кровь, имя отчества и характер. Бору скоро сто лет. Он готов уже к рубке. Однако думать об этом не только кощунственно, но и дико, как если бы взять и напасть из-за елки в лесу на красивую девушку, собирающую чернику.

Второй дивный бор оставил после себя Арсений Ильич, отец лесника, перед тем как уйти на войну. Сосны вдоль глубоких ложбин. Сосны вдоль речки Буданги. Деревья вовсе не великаны, но вид у них строгий и властный, как у дозорщиков на границе, которые стерегут Моховое, а вместе с ним и всё то, что, высоветив душу, тянется к завтрашнему, как к песне.

Третий бор расположен на вырубках. Те, здесь кипели в годы правления Брежнева и Хрущева, оставляя после себя разрушение и позор, когда лес вырубался подряд, вся земля исхлёстана траками и тросами и повсюду на ней тлела смерть.

В этих местах Галанов и колдовал, рассаживая с ребятами сеянцы, выращенные из шишек. Будет, будет

и здесь русский бор! Да он уже, собственно, есть. Старшим соснам вот уже 30 годков. Младшим - несколько дней. А, кроме того, на малых холмах стоят вологодские абрикосы. Илья Арсеньевич всех соседей саженцами снабдил. Оставил несколько штук и в собственном огороде. А те, что соседи не разобрали, унёс с ребятами в лес. Там среди посадок сосны они и растут. Самым старшим из них 8 лет. Три абрикоса дали в мае цветы. А по осени и плоды.

Первым с этим известием прибежал к Галанову Рамов. Принес хозяину целую кепку деликатесов.

Илья Арсеньевич весел и бодр. Показывает кивком смеющейся головы на дальний конец своего огорода, где небольшое, с рост человека деревце так и светится солнечными плодами.

— Еще и в бору такое же, среди сосен! — молвил Галанов. — Завтра же ребятне прикажу обобрать, пока птички не поклевали! А косточки от него — в грядку. Хоть в домашнюю, хоть в лесную. Будем жить, Никонорович, не как нам велят, а как себе сами постановили...

Два пожилых, робко тронутых старостью мужика. Ступают по улице вдоль заборов. Редко такое случается, чтобы так, ни с того, ни с сего, взять да вот и пройтись хозяевами посёлка. Всего скорей, это от доброго настроения. Душа к душе тянется, видимо, потому, что оба видят завтрашнее посёлка. Было завтрашнего — чуть-чуть. Зато вчерашнего — очень много. Грустным взглядом окидывают они щитовые дома, огородные туалеты, окна в крестах горбылей и жердей. Некому жить сегодня в посёлке. Жило когда-то в нём более тысячи человек. Сейчас не больше семи десятков. Развалившиеся колодцы. Упавший передом на забор переломленный магазин, по крыше которого разбежались весёленькие берёзки. Пустые дворы. На весь посёлок всего две козы. Их держали Рамовы в том финском доме, где обитало когда-то четыре семьи. Здесь

же и стая кур с петухом. Петух отличился в схватке с разбойным орланом, который хотел разживиться трофеиным мяском отставшей от стаи куры-несушки. Но встретил сопротивление и еле унёс свои крылья от петуха. Петя при этом нешуточно пострадал, вывернув в драке красивую шею. Однако, как в лучшие годы свои, остался при голосе и первую песню свою, как всегда, начинает в 4 утра, поднимая с постелей всех бывших вальщиков леса, всех чокеровщиков, всех сучкорубов, кто сегодня на пенсии и просыпается вместе с певцом.

Молодых мужиков нет в посёлке. Уехали, кто куда. Вместе с работой искать свою долю. И женихов с невестами нет. Остались в посёлке лишь школьники. 12 учеников, с восьми до тридцати лет.

Оживает посёлок лишь летом в пору наезда отпускников. У Галановых сын. 40 лет ему. Не женат. Живёт на юге, около моря. Писем не пишет. Мать нет-нет и всплакнет по нему. Леснику ее слезы, как кнут по спине. Жалко супруги. Жалко, кажется, и себя. Иногда в адрес сына обронит горькое слово:

— Мог бы одинова и приехать. Не хочет. На родину — и не хочет. Значит, не в нас. Не в нашу породу. Чужой... Сколько таких, потерявших родину, сейчас шатается по России...

5

После отъезда Блинова из Мохового Илья Арсеньевич приуныл. Приуныла и Дарья, его жена. Словно все эти дни жил в посёлке не посторонний mechanizator, а кто-то родной. И сон в эту ночь был у хозяина неспокойный.

Был понедельник. Ещё и утро не наступило. Всю поселковую улицу покрывали тени предзоревых туч, как вдруг заметалось золото света. Заметался и крик

моторов, с каким проехала по посёлку колонна тёмных автомашин.

Илья Арсеньевич тут же и встал, сбрасывая одеяло. И сразу – к окну, у которого, опередив его, сидела взволнованная супруга. Там, за окном – застывшие вдоль дороги заборы, барак с распахнутой дверью, отдушина финского дома, откуда белела куриная голова. Там же, как марля, рассеянный воздух, недвижимые рябины, гроздья ягод которых слепо поблескивали средь листьев.

– Чего-то я не пойму? – сказал. – То ли не было ничего. То ли было?

Жена растерянно улыбнулась:

– Было.

– А что было-то?

– Чужие машины. Пять штук. Я их не видела. Только слышала. Голоса-то у всех, как трубы на пароходе. И куда они в э́кую рань?

Не поверил Галанов супруге. Та любила преувеличить. Потому возвратился к кровати и снова заснул. А когда окончательно пробудился, разобрал в поселковой тиши сквозь открытую створку окна петушиное: «Ку-ка-ре-е...» Значит, всё, что он видел и слышал сквозь сон, было всего лишь воображение, какого в натуре могло и не быть.

Однако днём, когда ходил в поисках рыжиков по ольховому густолесью, сквозь заслонены листвы разобрал посторонние звуки, точно кто-то жадный и злой грыз зубами жёсткую древесину.

«Да ведь это они! – пало в голову. – Чёрные лесорубы. Валят дедушкин бор!...»

Он сомкнул кулаки, ощущив, как в них пролилась не только обида с яростью, но и скрытная осторожность. Первый нервный порыв – идти туда, где гуляет разбой, был смят оглушающим пониманием – он, бывалый лесник, пуст, как ивовый куст. Тогда, как они, надо думать,

при тех современных стволах, что стреляют и попадают. А того, кого свалят они - не к врачу на лечение, а в зелёный болотный мох.

Возвратился Илья Арсеньевич в дом. Позавтракал и на пару с женой стал сидеть у окна. С нетерпением ждал. Но машины в тот день из лесу не показались.

Рев, с каким они шли, задевая мостами разрушающую дорогу, раздался во вторник перед обедом. Галанов сорвал со стены двустрелку. Вышел во двор. Отворив калитку, глядел, как мимо него шли угрюмые лесовозы. На прицепах, меж металлических стоек рыжели бревна.

Галанов держал ружьё на плече. Было оно бессмысленным, в то же время и крайне опасным. В кабинах машин сидело по три человека. У кого-то из них оружие, если и было, то, надо думать, не на виду. Похитители леса за добычей своей в чужие места с пустыми руками не ездят.

Лесовозы ушли, увозя за собой ключья чада и скрип, с каким перекатывался кругляк. Стыдно было Галанову, что он ничего не сделал, чтоб как-то машины остановить.

И тут раздался ещё один гул. От автокрана, который отстал от колонны машин и шел, норовя не попасть в провальные колеи, какие оставили после себя тяжёлые лесовозы.

В кабине двое: малолицый, в шлёме, как у танкиста, водила и рядом с ним кто-то в спортивной куртке с усами и чёлкой волос из-под кожаного берета. Галanova бросило в пот. «Ни дать, ни взять, сам Адольф Гитлер!» – сказал самому себе, узнавая директора Чумакова, кто когда-то руководил межрайонным лесхозом. А теперь наездами руководит. Наездами на святое, и никто в этом деле ему не указ.

Лесник вскинул ружье. Шофер хотел было остановиться. Но вдруг передумал. Так велел, наверное, Чумаков. Галанов еле сдержался, чтоб не нажать на взведённый курок. Отступил, сделав пару шагов к дво-

ровой калитке. И опять удивился, узнав в последний момент в водителе Васю Блинова, того расторопного тракториста, кто пахал у него лесосечную целину. Ну и ну?! Был созиателем, стал бандитом! Вот тебе и на все руки мастер!

Растерялся Галанов, не зная, что и делать ему. И тут учゅял в себе подсказчика. Тот сидел в нём, как веший союзник, который взял и направил его по разбитой дороге к водоразделу, за которым стоял дедов бор.

Был бор. И не стало его. Повсюду пни, бревна вразброс, лом ветвей, отдельные, друг на друге зависшие сосны, канистра из-под солярки, холодный пожог, где всю ночь тлел костёр, оберегая погромщиков от прохлады.

Рядом с вырубкой – нетронутые берёзы. Было им лет по тридцать. Спроса на это дерево нет. Потому они и стоят, уверенно выражая всем своим видом здоровье и силу, которые некуда применить.

Появился Галанов в посёлке, наверное, через час. До того, как взойти на крыльцо, достал из кармана мобильник. Набрал 03. Тут же услышал приветливое:

– Дежурный полиции. Что там у вас?

– Это из Мохового. Звонит лесник. У нас тут разбойные лесорубы.

– Так. Дальше?

– Ограбили бор. Вырубили все сосны. Едут с ними в сторону города. Перехватите...

Наутро в среду, сам не зная зачем, Галанов опять направился к бору. Никак не верилось, что столетнего леса больше не существует. На душе тишина. Тишина и на свежей вырубке, как на погосте, куда привозят, но не увозят. Однако здесь было наоборот. Увезли жизнь деревьев... А что им взамен?..

Приволокся Галанов в поселок, подавленный и усталый. Повесив ружье, свалился сырым кряжиком на кровать. Провался два дня. Лишь на третий, в пятницу

резко встал. Побрился, помылся и, увидев в окне попутный Уазик, помахал шоферу рукой, чтоб его подождал.

Скорее в город! Скорее! Однако скорей не давала дорога. Обе ее колеи, оставшиеся от машин с украденным лесом, были настолько глубокие, что пугали. В одну из них, наполненную водой от ночного дождя, Уазик и провалился.

Шофер, матюгаясь, выбрался из машины, разжёг на обочине костерок и стал поджидать: кто бы взял на буксир?

Галанов направился в город. Пешком. 12 верст. Не так уж и далеко.

Первой, куда он подался, притопав в райцентр, была полицейская служба, располагавшаяся в каменном доме среди палисадниковых берёз.

Молодой, при трех ремнях лейтенант, был очень предупредителен.

– Вы к кому, молодой человек?

– Спасибо, что «молодым» окрестили, – ответил Галанов. – Я к главному вашему.

– По какому вопросу?

– Я вам звонил. Три дня назад. Просил, чтобы вы колонну машин с круглым лесом перехватили.

– Что за колонна?

– Этого я не знаю. Знаю, что там начальником Чумаков. Его люди бор вырубили у нас. И уже начали вывозить...

– Так это Вас нам надо благодарить! – рассмеялся дежурный. – Такой шум-гам стоял тут у нас! Взяли с поличным этого Чумакова. Собирался было в Череповец. Там ждал его покупатель. Не вышло. В камере он теперь. Хотите встретиться с ним?

Галанов поморщился, словно ему предлагали вытереть руки о грязное полотенце, и он брезгливо:

– Нет, не хочу. Лучше скажите, кругляк-то куда с лесовозов ушёл?

– Пока никуда. Машины не разгружали. Все четыре стоят во дворе лесхоза. И кран там стоит.

– Тогда я туда. К Гусакову! – Галанов назвал старого инженера, кто заменял временно Чумакова.

– Валяйте, валяйте. Только там теперь директором-то другой. С позавчерашнего дня. Какой-то молоденький. Из рабочих...

Ветром сдуло Галанова из полицейского учреждения. В молоденьком, из рабочих, кто занимал директорский кабинет, Галанов признал пахаря Васю. Тот был в импортном пиджаке, с пробором волос на маленькой голове и важной строгостью на лице, какая Васе не подходила.

– Ага! – Вася, как и Галанов, был весь в улыбке. В двух словах объяснил, почему он теперь директор:

– Я ведь когда-то заканчивал институт. Должен был работать по специальности. Да не было мест. Вот и пришлось на разных работах. Ты, Илья Арсеньевич, во время к нам! Я только что от Михалыча. – Вася назвал главу района. – Именно он меня в командиры на это место и посадил. Разговаривали с ним о нашем лесном хозяйстве. Об украденном лесе. Вспомнили и тебя. Пришли к одному. То, что у вас Чумаков порубил - продать опять же в Череповец. Это два миллиона рублей. И всю эту сумму пускаем куда? К вам, в Моховое. На лесопосадки! Пусть там у вас под твоим началом занимаются этой посадкой не только школьники, но и взрослые, те, кто когда-то лес вырубал. Теперь пусть восстанавливают его. Правда, надо сначала долги возвратить. Накопилось их. Жуть.

Галанов услышал в Васином голосе колебание, словно тот что-то недоговаривал и хотел это скрыть.

Свой разговор они продолжили в автокране. Вася вызвался увезти лесника в Моховое на нем. За рулем он сам и сидел. Галанов слушал его и слушал. И вдруг угрюмо заволновался, посмотрев на Блинова, как на

смутного человека, кого хотел бы понять до конца. Поэтому и спросил, как сквозь что-то мешающее ему:

– Скажи мне, Вася, ты знал, что наш бор Чумаков к расправе приговорил?

– Вроде, знал.

– И никому об этом?

– Как-то уж так получилось.

– Почему?

Вася смущился:

– Наверное, побоялся.

Галанов пожал плечами:

– Как же тебя, такого несмелого, Михалыч на эту должность определил?

Обиделся Вася. Ответил сквозь зубы:

– Не у меня спрашивай. Я – что? Птица маленького полёта...

– Маленького полёта, – буркнул Галанов, – как курица, значит...

Дальше ехали молча. Оставалась почти половина пути, и тут Вася затормозил. Заняв почти всю дорогу, сидел в колее тот самый Уазик, в котором Галанов ехал в райцентр.

Шофер обреченно горбился у затухающего костра.

Вася открыл свою дверцу:

– Вытащить, что ли, тебя?

– Вытащи, друг! Я за это тебе...

– Отставить! – скомандовал Вася и, выбравшись из кабины, помог шоферу накинуть на крановый крюк подготовленный трос.

Галанов, абы помочь мужикам, тоже выпрыгнул на дорогу. Но помочь его была не нужна. Он встал в сторонке от колеи, из которой надо было вырвать автомобиль. Две минуты понадобилось на это. И кран задним ходом повёл Уазик к райцентру. Вася взмахом руки позвал Илью Арсеньевича назад, мол, садись, довезу бедолагу до ладного места, где не такие провальные

колеи, и снова к тебе, в твоё Моховое. Галанов мотнул головой.

— Нет! Нет! — добавил не только голосом, но и жестом руки, предлагая Васе не возвращаться. — Я пешедралом. Пустяшное дело. ...

Шел Галанов в заплесканный грязью высокой траве, рядом с дорогой. Шел в раздумье. Как это славно, по-старорусски, когда человек попадает в нелепое положение, и ты не мимо его проходишь, а выручаешь. «Добрый Васька всё-таки человек, — сказал он себе, — трусоватый, но добрый. Зря я его обидел... Хотя, как сказать. Может быть, и не зря. Нельзя служить по очереди: сегодня — вору, завтра — тому, кто этого вора поймает. Надо кому-нибудь одному... Жить без этой, без непонятки. Вот и у нас с супругой непонимание. Как и что теперь нам? Какому богу служить, абы в бедность не провалиться? Хотя, мы чего? Не такие и бедные. Что имеем? Пару тыщёнок. Остались от лучших времен. Их мы — на хлеб привозной, каким раз в неделю снабжает райцентр. Остальное возьмем натурой. В огороде — овощи и картошка. На речке — свежая рыбка. В лесу — ягоды и грибы. Да и мед местами на вырубках сохранился. Прячется в пнях. Пчелы для нас, что летающие коровы. Можно эдак-то. Жить своей головой. Не как велят, а как подскажут нужда и совесть...»

Смеркалось. Вечер усаживался на землю. Где-то в кустах попискивал рябчик. И вдруг блеснуло. Галанов даже отпрянул, придерживая шаги. Из-под маточной ели, единственной, что осталась на вырубке от былого, полетела куда-то к небу ныряющая луна. Свет её был неверный, однако далёкий, смело прыснувший над дорогой, а потом — по крышам, дворам и пажитям Мохового, где сегодня, как и вчера, продолжалась жизнь тех, кому некуда уезжать. «Да и зачем уезжать?» — удивился Галанов, примеряя вопрос к себе. И посуворел, почувствовав правым плечом, а потом и левым мягкую

лапку, какой прикоснулся к нему лунный лучик, словно благословляя его ещё на одну созидательную работу, ту, что пойдёт в разгромленном дедушкином бору. Работу, которую Вася с Михалычем оценили в два миллиона рублей. «Куда эти деньги? Нам, что ли? Жителям Мохового? – Галанов заволновался. – Именно так! Тем, кому предстоит вновь устраивать бор. А, ежели миллионы-то эти тю-тю? – притормозил Галанов приятную мысль, заменив ее неприятной. – Вася сказал, что надо сначала долги возвратить. Кому и за что возвращать, про это он умолчал?»

Илья Арсеньевич не заметил, как сбилась его походка, и он шатнулся, как пьяный, с досадой вымолвив про себя: «Нами можно, как пешками, поиграть. Оттого мы, как были без денег. И снова без них...» – Илья Арсеньевич мелко вздрогнул, стало ему очень-очень нехорошо, как перед дракой, в какую его вот-вот затолкают. Однако он взял себя в руки, выпрямил шаг, чтоб нога ступала увереннее и тверже, и, усмехнувшись, сказал, как постановил:

– Я – кто? Не только дедушкина родня, но и хозяин сегодняшня положения! Потому и вбиваю в голову: был у дедушки бор! И опять ему быть!..

То ли вечер вокруг, то ли ночь – не поймёшь. Заколыхали ольховые ветви. Зашуршала трава. Возле лужи на повороте дороги поднялся столбиком серый заяц. Кажется, всё в этом мире было обыденным и привычным, согласившимся с тем, что Галанов сказал, отправляя сказанное туда, где к нему прислушивались все ёлочки-недоростки, все ежики и зайчишки и еще махонький-махонький, но всегда воинственный муравей. Сейчас тот полз по ноге Галанова. Лесник увидел его на колене, почтительно наклонился и, взяв двумя пальцами, перенес путешественника в траву.

– Обижать нас? – негромко добавил. – Только попробуйте. Не дадимся...

РОМАШКА

Как и многие горожане, жили мы в годы войны, хоть и с маленькой, но надеждой. Сегодня бедно, а завтра, как знать, может, и ничего. Семья из пяти человек. Это месяц, назад из пяти. А сейчас после смерти старшенькой Сани нас стало четверо — мама, брат мой Миша, сестра Галина и я, самый младший. Папа был где-то в командировке, откуда не возвратился. Работала только мама. Нам всё время хочется есть. Но кроме талонного хлеба, который мы получали, выстояв очередь в магазине, у нас не было ничего. Самым костлявым в семье был я. Мама была не уверена: выживу или нет?

В городе многие голодали. Одолевали голод не все. Чаще всего умирали дети. Перевозчик Сан Саныч Глотов, бывший участник Финской войны, чуть ли не каждый день перевозил за реку, где было кладбище, маленькие гробы.

Мы почему-то боялись этих гробов и на дядю Сашу смотрели, как на ужасного человека, кто был главным у мертвцевов.

Летом по воскресеньям мы всей семьей выбирались в лес. Возвращались оттуда всегда с добычей. Если грибы и ягоды не росли, несли осиновую листву. Для козы.

Зимой в своей худенькой одежонке мы мёрзли. Спасались от холода на печи. Здесь, прижавшись друг к другу, и засыпали. Слушали, как откуда-то сверху по гулкой трубе спускается ветер. В нём была наша сказка. А в сказке — мама. Несёт всем троим по большому, с сахарной пудрой пшеничному караваю.

— Кушайте, детки! У меня их много. Как съедите, ещё принесу...

Без мамы нам невозможно. Копировали её. Всё, что она делала по хозяйству, хотелось делать и нам. Особенно нравились нам мамины поручения.

Надо только представить, как я был счастлив, когда я закончил четвёртый класс, и мама послала меня на Пеженьгу к бабушке Пуше. Пуша была двоюродной паниной тёткой. Я должен был помогать ей пасти стайку коз, среди которых была и наша, ещё не коза, а козочка, маленькая Ромашка, белая-белая, с быстрыми ножками и постоянно распахнутым ртом, откуда всё время вы-прыгивал шустрой язык, просивший у нас какого-нибудь вкусного угощения.

Мы старались ей угодить. Особенно в майские дни, когда стали расти под заборами лопухи. Рвали их по пути из школы. А во дворе, выпустив козочку из хлева, сразу их ей и отдавали.

Ах, как была она благодарна! Съев травку, тут же вскакивала передними ножками на наши коленки. Присила ещё.

Но увы! Травы лишней в городе не водилось. Коз держали многие горожане. Из-за чего лопухов, как и всякой другой подзаборной травы, хватало не всем.

Интерес меж Ромашкой и нами был обоюдный. Пойдай козочке свежей травки. Нам же – свежего молочка. Мы то и дело, присев на корточки, заглядывали туда, где у Ромашки должно появиться вымя. Проверяли: не подросли ли её сосочки?

Очень уж нам хотелось попробовать молочка. А ведь и пробовали когда-то. Однако не от Ромашки, а от Гулявы, большой долгогорой козы, которая вдруг в разгаре зимы куда-то пропала. Стояла с края двора в маленьком хлевушке – и до свиданья. Кто-то увёл у нас наше сокровище.

Однако мир не без добрых людей. Узнав о нашей пропаже, к нам из соседнего с городом хуторка пришла баба Пуша. Маме она приходилась дальней родственницей по папе. Пришла не одна – с шестимесячной козочкой, белой, как снег, живой-преживой с забавными крохотными рожками. Звали маленькую Ромашкой.

Бабушка Пуша была из семьи кулаков. И на работу, куда бы она ни просилась, её не брали. Потому была вынуждена сама искать себе заработка в природе. В своём хуторке держала по семь-восемь коз, козла Ерофея и целую стайку козлят. Были ещё у неё и куры. Яйца и молоко продавала в город, куда ежедневно и отправлялась, зимой — пешочком с санками на верёвке через плечо, летом — на лодке.

В подпасках у Пуши кто-нибудь из ребят нашей школы. Нынче в подпаски попал и я. Потому меня мама туда и определила, что надеялась: жизнь на хуторе даст моим косточкам нужные килограммы, и я, как Саня, от голода не помру.

А ведь и вправду, вольная жизнь на хлебах бабы Пуши пошла мне на пользу. Спи, сколько хочешь. Ешь картофельные лепёшки, а то и яйца, сваренные вкрутую. Пей трижды в день драгоценное молоко.

Да и работа не из тяжёлых. Сбегать куда-нибудь к лесу, где оказалась отбившаяся от стада привередливая коза. Вернёшь её, и опять, знай, погуливай возле стада. А то в лесок на полянку шмыгни, где начинает зреть сладкая земляника. Или заляжешь куда-нибудь за валун. Левым глазом следишь за стадом, правым — за облаками. Не заметишь, как и заснёшь. Проснёшься же оттого, что кто-то тебя старательно лижет. Лижет и смотрит влюблёнными глазками на тебя. Разумеется, это Ромашка. Она себе на уме. Никуда от тебя ни на шаг. Только с тобой. Иногда тебе кажется, что она вовсе и не коза. Просто ей притворяется. Тогда как на самом деле она — девочка-шалунишка. Хочет с тобой играть. И будет играть, даже если ты этого и не хочешь.

Вот и сегодня, зашёл я в осиновый перелесок — узнатить, не растут ли боровики? И она тут как тут. Ходит, словно к тебе её лентами привязали. Куда ты, туда и она. При этом не забывает отщипывать то сочную ду-

дочку, то цветочек и тебе показывает на них, мол, и ты давай ешь. Очень вкусно и очень полезно.

Тихо. Слышно, как наливаются пуговками лекарственные рябинки, как раскрывает белые крыльшки полянника. А вон кто-то, кажется, из людей. То ли ряженый, то ли тот, кого ищут, и он прячется среди леса. В гимнастёрке с ремнём, на котором чехол с походным кинжалом, в фуражке-сталинке и высоких, почти до колен морщинистых сапогах. Спрашиваешь себя: чего ему тут? Будто ищет кого?

Так и есть. Неизвестный подкрадывается к Ромашке.

Хрустнул, ломаясь, куст ирги, настолько резко метнулась Ромашка, спасаясь от рук чужака, который пытался её поймать. Но козочка не далась.

– Не уйдёшь! – ядовито пропел зыбким голосом злой охальник. – Быть сегодня мне с шашлыком...

И тут он заметил меня. О, сколько ненависти блеснуло в его сощурившихся глазах.

– Тебя мне только и не хватало, – хрюплю буркнул и, подбежав ко мне, ударил ногой, а потом и второй, дабы я убрался с его дороги.

Я сам не заметил, как оказался лежать в ракитовом кустоломе. Я бы, пожалуй, тут и вскочил, чтобы сбежать, кабы не белое мельтешение, с каким Ромашка прыгала по кустам, увёртываясь от гневного человека.

– Бе-е! – всплакнула козочка, и я услышал в плаче её человеческое:

– Спаси-и!..

Бедная козочка. То пропадает среди трепещущих листьев, то пробирается среди них. Ко мне бежать не решается. Уверена: не спасу.

Ловец от Ромашки не отстаёт. Вот и нож уже выхватил из чехла.

Я неловко перевернулся, учуя бедром, где был карман моих брюк что-то вдавившееся в меня.

— Рогатка! — сообразил. — И парочка, как орехи, кру-гленьких камешков. Это моё оружие. С ним я не расста-юсь уже третье лето. Мечтаю попасть в какую-нибудь летящую птицу. Чтобы домой её. Пусть мама сварит нам суп. Дважды она варила его. Суп из подстреленных голубей. Подстрелил их за городом мой старший брат. Я тоже хотел бы, как брат. Отдать маме летятинку для обеда. Но мне не везло. В городе птиц было мало. Зато здесь, в заброшенном хуторке, что куликов, что дроздов — целые тучи. Однако стрелять в них я отказался. Зачем? Бабушка Пуша не голодала. И убитую птицу из рук моих, точно бы, не взяла...

Вот и сейчас прошумело со свистом над головой. Одновременно и жалобное блеянье.

Ромашка, вывалив мокрый язык, летает туда-сюда меж деревьев. Ей бы на хутор. Однако она в беспо-койстве, и одна, без меня на хутор не побежит. Хочет помочь мне, но как это сделать, не понимает. Оттого, наверное, и страдает.

Чужак весь в азарте. Солнышком заблестела его ру-ка. Это от лезвия на ноже, по которому побежал узкий солнечный луч.

Солнышко суматошно вскочило и прыгнуло за Ромаш-кой. Ромашка — в сторону. Это её и спасло. Однако тут же она и запнулась. Боднула мох остренькими рожками. Хотела встать. И не встала. Чужак мгновенно повеселел:

— Вот так-то лучше...

Было до него с десяток шагов. Я приподнялся. Уви-дел потное, изъеденное комарами лицо. И лоб увидел под козырьком. В середине лба сидела лесенка грязных морщин. Эту лесенку я и выбрал, как цель.

Пальцы мои — к выпуклинке рогатки, где затаился маленький камешок. Потянули за обе резиновые поло-ски. И отпустили.

Я не поверил своим глазам. Преследователь Ро-машки скривился в пояссе и, складываясь, упал куда-то

под ёлку, где рыжел от иголок взъерошенный муравейник.

Испугался я, завертев в панике головой. К счастью, увидел выгон перед собой. А там, за выгоном огород, в котором таилась бабы Пушина банька. Туда и рванул. Бежал и слышал, как кто-то гонится следом за мной. Оглянуться бы. Да не смел. Так, запыхавшийся, весь в перепуге достиг калитки бабы Пушиного подворья. Открыл её и едва устоял: меж ног моих к крыльцу, где отдыхала бабушка Пуша, метнулось белое. Я перевёл дыхание: Ромашка.

Баба Пуша, увидев меня, сняла с коленей чёрного, с ленточкой на ошейничке слабенького козлёнка.

— Али кто напужал?

Я еле вымолвил:

— Не он меня! Я — его! Не напугал — убил! Из этой! — Отдал старушке свою рогатку.

Бабушка растерялась, не зная, верить мне, или не верить. Неловко встала. Пробормотала что-то невнятное про себя. И пошла к калитке, как неживая.

Возвратилась она, наверное, через час.

— Поблазнило тебе, — сказала, — нет никого. Вот только это. — Из кармана фартука достала нож. — Кто-то из городских. Ходил, поди, по грибы. И вот обронил.

О, какая гора свалилась у меня с прогнувшихся плеч! Дабы убедиться, что никого рогатка не лишила жизни, я тут же выбрался в проулок — и вперёд. Туда, где разбойничала рогатка. Рядом со мной, то, обгоняя, то, отставая, бежала, подскакивая, Ромашка. Была она ласковой и весёлой, хвостик так и ходил колесом.

Вот и закиданная тенями деревьев маленькая поляна. Муравейник с заснувшими муравьями. Здесь и лежал тот, кто хотел разделать Ромашку на шашлыки. Но где он сейчас? Куда подевался? Как ни странно, но знать об этом я не хотел. Одно во мне шевельнулось,

уверенно утверждая, что человек отсюда ушёл на своих двоих. Значит, живой!

«Я никого не убил!» – кричало во мне. Однако радости не было у меня. Любитель козьих шашлыков, наверное, боится встреч с людьми, коли куда-то пробирается безлюдными путями. И тут мне стало ясно: не на войну спешит. С войны. И я бы воевал, будь годиков на пять постарше. Но мне всего одиннадцать...

– Ромашка! – молвил я, подставив для довольной мордочки свои ладошки, в которые козлюшка ткнулась и покорно замерла. – Какие мы с тобой не боевые, – добавил с сожалением, – что не умеем эту гадину остановить...

Гадиной я называл войну. Ромашка, как бы соглашаясь, кивнула головой.

Мы возвратились к бабе Пушке. Та, как сидела с кочкой на трехступенчатом крыльце, так и сидит.

– Всё ладно? – улыбнулась.

Я тоже улыбнулся:

– Всё...

Где-то рядом, за узенькой, как ручеёк, речушкой Пеженьгой прогрохотало, точно от выстрела из пушки, какой послала нам сюда далёкая война. Я посмотрел на бабу Пушку:

– Это чего-о?

– Деревина упала. От старости, – ответила баба Пушка.

Словно чья-то рука подтолкнула меня к крыльцу, и я в сию же секунду – около бабушки Пушки. Сюда же, к моим ногам пристроилась и Ромашка.

Поздний беззвёздный вечер. Две запоздавшие птицы, пролетевшие между ёлок. И тучи, тучи. Идут колоннами, похожие снизу на тёмные танки. Идут торопливо, словно на помощь. На помощь к тем, кто родину защищает. Я взволнованно спрашиваю старушку:

– Баб Пуш, а война к нам сюда не придёт?

- Коль придёт, тут же в обратну сторону и отскочит.
- Почему?
- Все живые подымутся на неё!
- И ты подымешься?
- Как в половодье Вычегда, подымусь.
- Вычегда – это река?
- Да. Река моего далёкого детства...

Стояла беззвёздная ночь. Даже и не стояла, а шла и шла куда-то на запад вместе с быстрыми облаками, унося с собой два тихих голоса, переполненных ожиданием той самой жизни, в которой всё будет именно так, как хотелось того бабушке Пушке и мне. Этого же, наверно, хотели и присмиревшие возле нас доверчивые козлятки.

Минино, 2017 г.

АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Ах, какая она была доверчиво-юная, пылко веरившая ему, как какому-нибудь кумири, кто всегда её и поддержит, и защитит. В то же время была у Наташи и собственная гордыня. И ещё уверенность в том, что он её на другую не променяет. Уверенность эта была у нее во всем. Прежде всего, в её неусидчивой быстрой фигурке, чистом, всегда улыбающемся лице, смелой походке и, конечно, в прекрасных глазах, смотревших на жизнь, как на праздник, главную роль в котором сыграет она. Платье было на ней ручного шитья, с кружевами на рукавах, казеиновым поясом и подолом, игриво плясавшим, когда она шла, и эта пляска Андрея смущала, ибо он видел ее божественные колени, и хотелось ему целовать их и целовать.

И ведь что? Воспаляющая мечта оказалась осуществимой. Торопливые поцелуи. Шепот. Сбивчивое дыхание.

В свою очередь и она свои маленькие ладошки поднимала ему на плечи и, пройдясь по ним каждым пальчиком, говорила, любя:

— Никому не отдам. Ты — мой...

Андрей учился в 10-м. Она — в 9-м. Всё это лето она как бы перерождалась. А до этого что? Была подрастающей, незаметной. И вот обозначилась той, какой её порода и назначала. Чувствовала каждой клеточкой тела, что не только её одноклассники, а, пожалуй, и все кавалеры города ловили её глазами, дабы понравиться ей, настолько была она зазывающей и прелестной. К тому же она очаровывала своими зелёными, что-то скрывающими глазами, в которых пряталось нечто такое, что достижимо бывает только в мечте.

Вечер. Зыбкие тени от тополей. Где-то рядом река. Как всегда, они были на берегу.

— Ты никуда от меня не уедешь! — сказала она.

— Почему? — Он не понял и даже чуть испугался, учуяв в её мягком голосе женский напор, словно она ему что-то вдруг запрещала.

— Потому, что там будет другая. Не такая, как я, и ты меня бросишь.

Андрей снисходительно улыбнулся.

— Даже если и так, всё равно ты её будешь лучше.

Они обнялись, и он услышал её ладошки, лежавшие на обоих его плечах. Казалось, они ему и сказали:

— Буду ждать каждый день!

Они расстались на берегу. На пристань они не пошли специально. Наташа могла бы при всех разрыдаться, и ему от этого стало бы неприятно.

Шёл пароход по вечерней реке. Все пассажиры на палубе. И Андрей среди них. И тут он услышал голос ее:

— Андрюша-а!

Она стояла на берегу, под текучей листвой березы. От платья, панамы на голове, туфелек с ремешками — вся белая-белая, как невеста. Махала ему сначала пана-

мой, но та от порыва ветра вырвалась из руки и полетела следом за пароходом, вызывая в толпе пассажиров дружный восторг.

Андрей смутился. Все, кто на палубе был, переводили глаза с неё на него и умилялись, завидуя им. И тут он услышал всплеск многих рук, с каким пассажиры весело отправляли Наташе свой солидарный порыв. За что? За самое молодое. За то, что она сбросила туфельки с ног и стала ими махать, посылая всему пароходу своё горячее: «До свиданья-я!»

Андрей чуть померк. Полагал, что Наташу он больше уже не увидит. Как ни странно, однако стало ему в последние дни с ней немного однообразно. Неужели она ему надоела? Он и сам был этому удивлен. Еще неделю назад испытывал к ней влечение. И вдруг как-то сразу и поскучнел. И стала казаться ему она слишком, слишком простой, слишком, слишком провинциальной. Он считал себя выше ее. Разумеется, и умнее. И в эти минуты, пока её видел с палубы парохода, он был расстроен и напряжён. В то же время внутренне рад. Впереди ожидала его свобода.

Разлуки не было для него. Уплыл, принимая всем своим существом длинный ряд новых дней. Хотя нового в них и не было ничего. Всё банально, обыкновенно. Общежития. То одно, то другое. Служба в армии. Институт. Работа на производстве. Девушки. О, как много их было. Выбирал самую-самую среди них. С выбором обманулся. Узнал об этом, когда погрузился в семейную жизнь. Супруга с характером оказалась. Капризным и вздорным. Пришлось разойтись. И вот он один – свободный, скептический, перспективный. На ум приходило то, что он еще молодец хоть куда. 39 неполных лет. Так что есть у него и запас, тот, что можно пустить еще на одну семейную жизнь, где будут и дом, и жена, и будущее, и дети. В думах вспомнилась и Наташа. Вспомнилась сладко, ласково и легко, и он ощутил её

пальчики, как лежали они у него на плечах. Казалось и не Наташа, а сами пальчики спрашивали его:

— Ты помнишь? Помнишь, как ты меня целовал?

Десять пальчиков. Столько же и вопросов. А сколько ответов? Ни одного.

И вот он, тусклый и одинокий, опоздавший к той самой пристани, без которой и человек — да не человек. Оставалось в душе, однако, упрямство. Оно Андрею и подсказывало: потеряно, да не всё.

В конце концов, появилась идея — вернуться туда, где прошла его юность. Кто его встретит? Некому встретить. Мать с отцом он еще в юные годы похоронил. Дом перешел к дальним родственникам, кого он не знал даже, как и зовут. Но дом — это дело седьмое. В крайнем случае, можно его и купить. И ввести в дом хозяйкой кого? Почему бы не её, Наташу, вновь вернувшуюся к нему.

Решил послать срочную телеграмму. Пусть придет, опять же на тропку под тополями, где когда-то они проводили свои вечера.

Потерял Андрей чувство меры и времени. Да и так потерял. Не надо бы было ему телеграмму. Кто знает, как сейчас обстоят у Наташи дела. Может быть, она замужем. Семья у нее. А он туда, как незваный варяг?

Телеграмму отправил он в тот же день, когда сел в пассажирский автобус.

И вот он, старенький городок. Нет, не старенький. Андрей не сразу его и узнал. Среди ветхих домов там и сям стоят, как на выданье, молодые многоэтажки.

Куда Андрею идти? Пошел туда, где высокие тополя.

Однако не было тополей. Вместо них — огромные свежие пни. Кое-где на них — доски. Садись, отдыхай. Что и сделал Андрей.

Взгляд налево. Потом — и направо. Глаза мелко засуетились. Отчего они так? Словно кого-то он обманул, и сейчас предстоит отвечать.

Вон какая-то девушка, стройная, быстрая, в белом, с дамской сумочкой на плече. Приподнялся Андрей. Хотел встать, но опять усился, от волнения ощущив, как всё его тело отяжелело. Неужели она? Наташа? Какой была, такой и осталась. Нисколько не изменилась. Вот она подошла. В двух шагах от него. И нежным, однако, насмешливым голосочком, как своему знакомому, кто причинил ей что-то плохое, иронически изрекла:

– Пришли?

Андрей снова попробовал встать. Но снова отяжело.

– Наташа? – сказал он испуганно.

Девушка усмехнулась.

– Вспомнили маму?

Прошибло Андрея сверху донизу, так что ноги его ожгло, и он переставил их рядом, на новое место.

– Я и не знал.

– Что – не знал?

– Ничего.

Похожая на Наташу красавица заговорила так, как если бы совершил Андрей тяжкое преступление, и надо за это его наказать:

– Вы её бросили.

– Так уж вышло, – буркнул Андрей.

Девушка чётко растолковала то, чего мог Андрей и не знать:

– Она ведь в школе училась. И снова хотела туда. Хотела учиться в десятом. И вот – никуда. Беременная. А беременных в школу кто пустит? Исключили её за аморальное поведение. Одна она и воспитывала меня. Думала, вы приедете к ней. А у вас там своя, видно, жизнь...

Изумился Андрей:

– Она чего? И замуж не выходила?

– Вас ждала! – В глазах у девушки раздражение.

– Но я, – продолжил, было, Андрей.

— Не надо. Лучше не объяснять. Понятно и так.

— Может, можно еще... — добавил Андрей.

— Напрасно приехали. Мама не пустит. Зачем ей такой? — Это был уже грубый вызов, с каким девушка отвернулась от собственного отца. От него же и маму отгородила, дав понять, что не нужен он здесь никому.

— Дочка, — чуть слышно сказал Андрей, — как хоть звать-то тебя?

Но дочка уже уходила. Заметила возле школы высокого юношу, в светлом. К нему и пошла.

Андрей побито вздохнул и остался сидеть, глядя, как среди летних кустов, в свете поздней зари шли, обнявшись друг с другом, дочка его со своим женихом. Оба могли бы быть и роднёй. Могли бы, однако не будут уже. Шли, пожалуй, туда, где ждала их сейчас Наташа. Ну, а он оставался на берегу. Станет думать: куда ему? И зачем?

Сидел, весь какой-то истратившийся, пустой. «Поплыву», — сказал самому себе, разглядев под берегом стаю пасшихся на воде лёгких лодок. Спустился к реке. Подошел к шалашу. Увидел сторожа.

— Покупаю корабль...

Отдал сторожу деньги. Уселся в одну из долблёнок. Подождал, пока сторож его выводил на речную струю. Бухнул вёслами и поплыл. Сначала к купающейся вехе. После — к бакену. Ну, а там и к небесному ходоку, опускавшему вдоль реки серебрящуюся дорожку.

«Ну, куда я? — спросил у себя. Сам же себе и ответил: — А не всё ли равно. Главное, всё на родной стороне, как было, так и оставить. Хватит с меня и одной Наташи. Упустил её. И себя упустил...»

Андрей поднял голову, прислушиваясь к чему-то. Но было вокруг тихо-тихо. Лишь капля за каплей падала с вёсел вода.

Целую ночь просидел он за вёслами. То плыл, то не плыл. Иногда поднимал вверх глаза.

Там, вверху – глубокое звездное небо да очищающая луна. Тогда как хотелось грозы и темнеющих туч, в глубинах которых кто-то кого-то подстерегает.

– О, небо, небо, – молвил Андрей, – ну, почему ты такое беззлобное? Почему не меня ты подстерегаешь?..

Рано утром он был на автобусной остановке. Купил билет и поехал туда, откуда хотел убежать. Сидел и слышал, как на плечах его пальчики шевелились. Он узнал их по шепоту, с каким они спрашивали его:

– Ты помнишь? Помнишь, как ты меня целовал?

Десять пальчиков. Десять раз и спросили его об этом..

ВЫБИРАЮСЬ – НА ГРОМ

Имею привычку ходить в лес без компаса. Научился ещё в молодые годы, когда работал геодезистом и, дорогу сквозь лес выбирал по движению туч. Однажды такую дорогу мне предстояло найти по-за Тотьмой, где были когда-то бойни, а там за ними пестрели ольхи, в которые я и пошел собирать рыжики и волнушки. Удалился, наверно, на километр. Грибов попадало мало. И я хотел углубиться в елки, где обычно росли молодые боровики. Как вдруг плеснуло дождем, и с юга, откуда я шел, повалили угрюмые тучи. Бабахнул и гром. Тут же и росчерк стрелы, от которой плеснул белый свет. А потом – темнота. Ничего не видать.

Пришлось забыть про грибы. Предстояло назад. Чтоб домой. Но как это сделать?

Я, вроде, не растерялся, потому что запомнил движение туч до того, как войти мне в мой лес. Тучи шли строго с юга на север. Стало быть, выбираться мне надо теперь на юг. Помогал ориентироваться и гром. Гроза только ещё начиналась. Потому и грохот его сместиться не мог, шел от центра грозы. Центр же был в разгуляв-

шемся мраке, впереди моего пути, где таилась бедная Тотьма. Туда мои ноги и поспешили. Ох, как мешала спешившая вместе со мной лохматая темнотища. Чтоб не наткнуться глазами на острые ветки, я замораживал шаг и ждал. Ждал ослепительный свет, какой бросали небесные стрелы. В этот длившийся две-три секунды выброс пламени в небесах, я не шел, а бежал, стараясь, как можно больше сделать шагов, чтоб приблизить себя к выходу из потемок.

Сколько было погашенных молний, столько и остановок. А потом – сумасшедший рывок. Один за другим. Азимут мой не менялся. С севера к югу. По лесному меридиану, который вел меня как за ручку туда, где кончался смешанный лес.

И вот я уже не в лесу. Впереди лавина мутного воздуха, чахлые кустики, поле, канава и тысяча луж. Всё так же гремело небо, шумел бурный дождь, парила земля.

Впереди ожидала меня окраина города и длинные-длинные, во весь город проходившиеся мостки, на которые, радуясь непогоде, высакивали лягушки. И еще в тот бушующий день ожидал меня чай, наливаемый бабушкиными руками. А после чая листок бумаги, на котором я набросал небольшое стихотворение, посвятив его непогоде.

Не помню всего его. Но две строки в памяти сохранились. Позднее, уже переехав в Вологду, я прочитал их известному в области критику Василию Александровичу Оботурову:

...Люблю пробираться ночами
Из тёмного лесу на гром...

Выслушав строки, критик кисло поморщился и сказал:

– Пустое стихотворение. Из лесу во время грозы выходят домой. А у тебя на какую-то там грозу...

Буквально в этот же день свое творение я прочитал Николаю Рубцову.

Выслушав, Николай горячо воскликнул:

— Прямо, не верится! И как это так у тебя получилось?

— Не знаю, — ответил я. — Наверное, мне помогла стихия. Ведь я написал только то, что было на самом деле. Лес под грозой, и то, как я из него выбирался. Выбирался туда, где был гром...

ДРУГ-СПАСИТЕЛЬ

Помнится, в Тотьме, на Красную, 2, где жила моя бабушка, приходили многие жители деревень, кого Александра Ивановна зачастую даже не знала. Как правило, все они отправлялись на пароходе по Сухоне в Вологду или дальше. И время, которое оставалось до отправки парохода, удобнее было препроводить не на пристани, а вблизи от нее, в деревянном доме за самоваром, рядом с хозяйкой, которая, выставив чашки с вареньем, садилась к окну за станок и плела кружева.

Жил я с мамой, сестрой и братом недалеко от улицы Красной, потому и бывал у бабушки часто. И постоянно видел уставших после дороги откуда-нибудь из Медведева, Середского, Совинской, Вожбала, Старой Тотьмы и прочих больших и маленьких деревень пешеходов и пешеходок, кто, достав из заплечных мешков глыбку хлеба с яичком, притыкались к столу, чтобы выпить чашечку чая.

Запомнился лысоватый с пороховыми ожогами на лице, одетый в солдатскую форму улыбчивый человек по фамилии Тихановский. Пришел он за 50 километров из Заозерья. Фамилию я запомнил, кажется, потому, что он называл ее несколько раз, когда, попивая из блудечка чай, разговаривал с нами. И еще потому, что позд-

нее, когда я начал учиться в Лесном, то подружился там с неким Юрием Тихановским, который был тоже из Зазерья. Оттого фамилия в памяти и осталась.

— Вот, — говорила бабушка, ставя на стол вскипевший на угольях самовар, — чем богаты, — и добавляла к нему вынутую из горки вазу с вареньем.

Тихановский достал, в свою очередь, из солдатского сидора каравай. Отрезал два ломтя. Один — для себя, второй — протянул к дивану, где я сидел и тайно желал, чтобы мне угодиться вкусным гостинцем. И вот гостинец, тепло отдававший печеным в русской печи белым хлебом, был у меня в руках, и я, откусив от него пару раз, вдруг спохватился, вспомнив, что есть у меня старшие брат и сестра и что они сейчас тоже голодны. Таясь, чтоб никто не видел, пихнул недоеденный хлеб куда-то под ворот рубашки. Была осень голодного 45-го года. Вот почему я сидел и внимательно слушал душевного гостя, воспринимая его, как редчайшего добрая.

— Я кто по профессии? — спрашивал Тихановский. Сам же и отвечал. — Просто колхозник. Хлебное поле бы мне обиживать. Да не вышло. Война. Удивляюсь, как жив остался. Воевал-то ведь я в пехоте. Думаю, потому и жив, что был ранен четыре раза. Не успею выйти из лазарета, как опять сшибает меня, коль не осколком от мины, так пулей, а то и германским штыком. На теле моем нету целого места. Однако же всё заживало. В последний раз, осенью 44-го сшибло взрывной волной. Это за Западной Украиной, в полях, где стояла неубранная пшеница. Цельны сутки, поди, провалялся. Когда очнулся, был полдень. Надо мной — облака и листья с опушки леса. И чьи-то живые пальчики, так и щекочут. До смерти хочется пить. К счастью, лежал я едва не в луже от ливня. Тот, видимо, только что лил да прошел. Напился водицы. И сразу почувствовал голод. Снял со спины вещевик. Должен бы быть в нем

солдатский паек. Но, увы. Пустота. Кто-то, видать, посчитал меня мертвым. А мертвому пища на кой? И тут я моргнул. Щекотали меня не пальчики, а колосья, а в них – взъерошенное зерно, так и выстреливает наружу. Стал его, есть. Долго не мог от него оторваться. Да приопомнился, слава Богу. У лошадей от зерна, коли вволю им похрустят, заворачивает кишкы, и они, мучаясь, подыхают. А что же у человека? Тоже, наверное, так. А, может, еще и похуже. После поем, подумал. И стал обрусинивать зерна в кисет. На всякий критический случай. А вдруг где по новой заголодаю?

В этот же день я настиг свою часть. Снова – топ-топ по дорогам войны. Теперь по дорогам уже не русской земли. По дорогам Европы. Шаг за шагом к логову Гитлера. Больно жалею, что не дошел. Споткнулся от новых осколков, застрявших в шее и голове. Опять попадаю в докторские палаты. Вышел оттуда в мае, счи-тай, в День победы. И сразу, как воробей, на радостных крыльях – домой!

Как и мои земляки, воротился я в свое Заозерье, чтоб продолжить мирную жизнь. С собой у меня только сидор, где – всё своё, ничего чужого, кроме кисета с той самой пшеницей, в которой я оказался контуженным после боя. Эту пшеницу я и посеял в своем огороде. Взошла до единственного зернышка. И давай наливаться, зреТЬ и брунеть. С женой убирали ее серпами. Сразу обмолотили и на ручных жерновах намололи муки.

– Хлебушек сей, – ладонь Тихановского прикоснулась к ковриге, – как раз из этой муки. Получается, он – друг-спаситель для воина на войне. Друг-спаситель и для того, кто войны не знал и, дай Бог, никогда ее не узнает. – Тихановский взглянул на меня с улыбкой. – Хочешь, отрежу еще ломоток?

Я отказываться не стал.

– Хочу. Только я унесу его Мише с Галей, – назвал Тихановскому брата с сестрой.

ЗАВИСТЬ

Легкая лодочка на реке. Сосны с рябинами на откосах. А за ними, как спрятавшись от кого-то, лукавое солнце. Под солнцем внизу на кочках и между кочек пылающая брусника. Вверху же, где гнезда рябчиков, гроздья рыжеющих ягод. Сам рай!

Рай-то бы рай, кабы не плач ветхой бабушки, потерявшей в лесу любимого внука.

— Мишутка-а! Ты — где-е?

Внук молчит. Заблудился видать, а может, встретился с сивым волком. Задрожала бабушка. Стало ей потеянно и угрюмо. И вдруг где-то рядышком ворохнуло и треснуло.

— Я — тут! — отвечает косматый, с пластами земли и двумя рогами столетний пень, на который залез пятилетний внучек.

Бабушка тут же преобразилась. Была растерянной, стала шустрой. И даже смеется.

О, как славно в лесу, когда разгуляется ранняя осень! Никто не пугает, и ягоды всюду, некуда даже ступить, знай, собирая их в наберуху и корзину! Что и делают старая с малым.

Где-то рядом сквозь можжевеловый лом крадется лиса, с завистью думая про себя: «Хорошо быть двуногим! Вон, какие они! Веселые. Да и всем довольны. Ещё и играют. Мне бы так с моим муженьком. Лиса засовывает голову в нору, где была у них маленькая квартирка.

— Чего? — удивляется лисовин.

Лиса улыбаются:

— Поиграй со мной, муженёк!

— Это как?

— Сперва потеряй меня, а потом отыщи!

— Ну, я этого не умею.

— Я так и знала, — вздохнула лиса, еще больше завидуя двоеногим.

ПРЕЛЕСТЬ

Оле девятый год. Она впервые приехала в город. Идёт себе с мамой за ручку. Всё здесь кажется ей большим. Особенно каменные дома и каменные заборы. Зато люди видятся ей такими же, как в деревне. Но молчаливые почему-то. Оля раз десять уже поздоровалась с ними, стараясь выразить голосочком своим девчонечью деликатность.

– Здравствуйте, дядя!
– Здравствуйте, тётя!

И никто ей в ответ – ничего. В деревне такого не было, чтоб кто-то вдруг на её приветствие не ответил. Всем в большую приятность, что малая всем посыпает свои приветы, причем, не только задорным голосом, но и улыбкой, а то и взмахом ладошки, покрутив её над своей головой.

А может быть шум здесь везде, и её плохо слышно? Шум от машин, от птиц, летающих над домами, от шороха чьих-то шагов и даже от ветра, который раскачивает деревья, и листья на них, шелестя, пытаются спрыгнуть на тротуар. Пожалуй, что так. И Оля усиливает свой голос.

– Здравствуйте, дедушка!

Пожилой гражданин в соломенной шляпе на секунду остановился, моргнул и давай доставать из кармана очки. Одел их и подозрительно проблеснул стекольшками по Оле, как если бы та его напугала, и он пытался понять: для чего? Но мама тащила девочку за собой, и задержаться она из-за этого не сумела, так и оставила дедушку в изумлении.

Город, как и его пешеходы, на месте стоять не умел. Все с озабоченным видом куда-то спешили. Вон двое, с усами юных мужчин шли так стремительно, что девочка им сказать ничего не успела. «Не поздоровалась, – упрекнула себя, – какая я всё-таки грубияшка».

Однако, увидев ступавшую вслед за мужчинами строгую, как учительницу, старушку, решила исправиться и очень громко произнесла:

– Здравствуйте, бабушка!

Старушка была из догадливых. Всё, кажется, поняла. Придержала Олю за плечико и, наклонившись к ней, вежливо объяснила:

– Девочка, это город. С незнакомыми здороваться здесь не надо!

Оля так нешуточно удивилась, что даже бровки вскинула вверх:

– А за это? За это не заругают?

– Нет, милая. В городе с незнакомыми здороваются одни шалопаи. А ты, мне кажется, не такая!

Оля захлопала глазками, и хотя её мама шла, как ни в чём не бывало, не останавливаясь, вперед, сумела ещё раз на бабушку оглянуться, чтоб тут же выяснить для себя:

– Какая же я?

Старушка взглянула на девочку опытными глазами:

– Наивная.

Оля губочки даже скривила, почувствовав в этом слове что-то обидное для себя. Поэтому грустно переспросила:

– Наивная – это чего? Плохая?

Старушка так вся и рассыпалась мелким смешком:

– Прелесть!..

Минино, 2017 г.

ВЫСШЕЕ СОСТОЯНИЕ

Мир к Сергею Чухину был во многом несправедлив. Отпуская от всех щедрот своих самую малую долю, он его отталкивал от людей, которые жили благополучно. Но поэт ни на что на свете не обижался. В его

характере переплелись безалаберность чудака, покладистость доброго семьянина и одержимая страсть творца, смело взявшегося сказать о многом несколькими словами. Сказать от имени тех, кого он любил. Любил же Сергей Валентинович многих. Сколько житейских историй я от него услышал, когда он рассказывал о своем крутонравом отце. О Николае Рубцове. О машинистах, с которыми каждую осень ездил куда-то под Коношу на болото за клюквой. О коммунисте Горынцеве, скульпторе Брагине и других многочисленных земляках, с кем встречался поэт на улицах Вологды, в деревнях и райцентрах, в автобусах и вагонах. Каждый рассказ его был по-особому интересен. Десятки готовых портретов! Их бы Чухину записать. Однако до прозы Сергей Валентинович был не охоч. Хотя, разбирая его стихотворный архив, я встречал в нем несколько очерков и рассказов.

На «Заре», которая мчалась по Сухоне к Вологде, он однажды столкнулся с почти умирающим пассажиром. Было видно, что пил человек не день и не два, и что к жизни его возвратить могла только водка. Чухин, имея в портфеле бутылку, распечатал ее и налил в стакан. И понес стакан через весь пассажирский салон. После выпитой водки страдальц приободрился. Сергей же смешился, ибо «Заря» в этот миг причалила к пристани Тотьмы, и речники, взяв поэта за локти, не церемонясь, спустили его с теплохода.

Такие конфузы его огорчали и выбивали из колеи. Чувствовал он себя виноватым. Пытался исправиться. Иправлялся. Но ненадолго.

Опять повторялся подобный случай, когда предстояло кого-нибудь «выручать». Вроде, хотел и хорошее сделать, а получалось – наоборот. И виновата была здесь скорее не жалость, а бескорыстность. Бескорыстность была для поэта естественной частью его состояния. Она перешла к нему по наследству.

Поэт – это Бог красоты, самое высшее состояние. Кто-кто, а Сергей Валентинович был в таком состоянии многократно. Но бывал он и в низком, когда предстояло думать о хлебе насущном. Под брови ложилась морщинка решимости человека, которому надо каким-нибудь образом выправить жизнь. Потому и жил по пословице, как впрочем, и все поэты в России: в одном кармане пусто, в другом – ничего. Однако от бедности хуже стихи не писал. Напротив. От книги к книге все мужественнее и четче звучал его поэтический голос. Пожалуй, самым священным и вещим образом был для поэта образ России. Россия для Чухина – это дорога. Дорогу эту видать и сейчас. Там, в божьих далях, искрится золотом света обломный край облака над закатом. Под облаком – сжатое поле, река с сенокосным сараем, налитые теменью ели и пышная, вся из усыпанных листьев, дорога, которой, мерцая очками, ступает в своей желтоплечей, не знающей старости куртке Сергей Валентинович Чухин. Ступает, чтоб вновь навестить свою мать. Сколько раз приезжал он в свое Погорелово! Приезжал по весне и лету, но чаще – по осени. Чтобы убрать в огороде картошку. Наносить из лесу грибов. Сбегать с удочкой на пруды за ленивыми карасями. И еще посмотреть на гонимых ветрами северных птиц, как они пролетают стаями над деревней. Посмотреть – это значит, почувствовать связь с миром тех, кто высок, благороден и смел.

Родился Сергей Валентинович в октябре 1945 года. Сорок лет понадобилось ему, чтоб явить себя миру. Нелепая смерть, как нарочно выбрала тот подлый вечер, когда поэт возвращался домой из гостей, и последняя улица, на которую он ступил, пытаясь ее пересечь, несла на него резкий ветер и снег, и он не увидел мчащуюся машину.

ЧЕРТ БЕЗРОГИЙ

Впервые я познакомился с чёртом, когда мне было семь лет. Я ёщё не учился в школе, ходил в детский сад и всё свободное время проводил с ребятами-одногодками, играя в весёлые прятки. Иногда катали по улице большое дубовое колесо – обруч от бочки. Били лопатками по нему. И колесо бежало туда, куда мы его направляли. Однако однажды после того, как я щёлкнул по колесу, оно угодило в незапертую калитку, раскрыло её и исчезло в большом дворе Алика Куликова, почти уже взрослого человека, кто нигде уже не учился и на работу пока не ходил, но все свои дни проводил возле дома. Здесь, во дворе у него стояло несколько маленьких домиков, в которых жили и птички, и звери, и кто-то еще, кто ночами выкрикивал человеческими словами.

Увидев меня, Алик буркнул:

– Разбудил своим колесом.

– Кого?

– Чёртика моего.

– Чёртика? – Я покосился на чёрный ящик с дырой, откуда мелькнуло что-то зубастое, с языком, на котором подплясывала морковка. Спросил, удивившись:

– Это кто там такой?

– Кто, как не чёрт!

Я подошёл поближе. Присел рядом с Аликом на вмуренное в траву моховое бревно. Сказал:

– Но их у нас нет. А если и есть, то только в волшебных сказках, и то не во всех.

Алик, недолго думая, взял и заехал ногой по ящику, приказав:

– А ну, покажись!

Тотчас же дыра заполнилась чем-то белым с пугающими ноздрями.

– Видишь рыло?

— Рыло? — не понял я.

Алик попробовал объяснить:

— Ну, морду.

Я снова не понял. Однако предположил:

— Личико, что ли?

Алик лишь усмехнулся:

— Это у нас с тобой личико, а у чёрта — рыло!

Алик привстал. Повернул на дверце завёртку. Из ящика тут же, как белая буря, с визгом вырвалось непонятное существо. И пошло носиться около домиков и крыльца бешеными кругами, приводя в волнение откуда-то взявшегося кота, который тотчас же вскочил на зубья забора. Где-то рядом с кудахтаньем полетели курицы и цыплята. А существо носилось всё и носилось.

Я так и не понял, кого оно мне напомнило. То ли оскаленную гиену, которую я однажды видел в кино, то ли голодного волка, о ком мне читала по книжке бабушка Шура. Во всяком случае, запомнился мне тонкий, в несколько перегибов крутящийся хвост, лапы с копытами, уши, как два лопуха, и нос, откуда, как пена, вздувалась дикая сила, которая видимо, и носила чёртика по двору.

Оставаться здесь дальше, мне показалось, небезопасным. Я привстал, собираясь сбежать. И надо же! В это мгновение дикая сила вдруг заставила чёртика прыгнуть в кадку с той самой водой, которая капала с крыши. Я сорвался и побежал, схватив на бегу свое колесо, надеясь, что чертик не сразу бросится следом за мной, и я успею выскочить за калитку.

Маме я ничего не сказал, хотя она и пыталась понять: почему у меня такой разлохмаченный вид. Однако старшему брату открылся, спросив у него:

— Ты когда-нибудь видел чертей?

Брат снисходительно улыбнулся:

— Нет. Не видел. А ты?

Я признался:

— Еле сбежал от него...

Брат, разумеется, не поверил. Однако мои одногодки, с которыми я хожу в старшую группу детского сада Валька Двойнишников, Вовка Пантин и Юрка Поздеев, как только я их на другое утро увидел и дал им понять, что виделся с чёртом, тут же стали требовать от меня:

— Расскажи, расскажи!

И я рассказал. Однако ребятам мало рассказа. Вовка, право, трясёт меня за рубаху:

— Во что он одет?

— Да он без одежды, — ответил я, — голый.

Валька тоже трясёт меня за рубаху:

— А рога? Сколько их у него? Один или два?

Я не знаю, чего и сказать. Знаю только одно, что черти безрогими не бывают. Поэтому признаюсь:

— Не видел рогов. Видно спрятались под ушами. А уши, уй, уй! Большие-большие. Даже больше, чем вон у Юрки.

Юрка не сердится на меня. Сейчас ему хочется лишь про чёрта. И он торопит меня:

— А руки?

Я поправляю:

— Не руки, а ноги.

— Сколько их?

— Две, вроде, пары. А может, и три. Он так носился, что сразу не сосчитаешь.

— С когтями? — в три голоса спрашивают меня.

— С копытами!

— О-о! — ребята в восторге.

— А говорить он умеет?

— Худо. Хуже даже, чем Вовка.

— Ну, ты! — обиделся Пантин. — Я, да чтоб хуже...

Ребята, пожалуй, могли бы со мной и заспорить. Да тут к нам во двор воспитательница спустилась. Пантин тут же к ней с жалобой на меня:

— Мария Тимофеевна! А Сережка вон говорит, что я разговариваю хуже, чем черт.

— Чем черт? — воспитательница смутилась. Но сразу оправилась, построжала, посмотрев внимательно на меня:

— Ты что, Сережа? С чертями, что ли встречался?

Я покраснел:

— В общем-то да. Но с одним. Правда, я немножко не понял: настоящий он? Или ненастоящий? Рогов у него не заметил. А вот копыта и хвост...

Мария Тимофеевна так и сверкнула по мне глазами. И я замолчал, понимая, что разговор об этом в детском садике неприличен.

— Всё! Всё! — Мария Тимофеевна взмахнула рукой, показывая к крыльцу. — Никаких хвостов и копыт! Всё забыто! Идём на занятия! На серьёзное переходим! О будущем нынче поговорим.

Минут через пять уже на самих занятиях Мария Тимофеевна почему-то первым выделила меня:

— Ты кем у нас хочешь быть, а, Сережа?

Это был мой любимый вопрос. Потому я с радостью и воскликнул:

— Будённым!

— А ты, Володя?

— Ворошиловым!

— Ну, а Валя Двойнишников?

— Щорсом!..

Был месяц май. Второй год войны. Время, хотя и суровое, но живое, в котором нам, шестилетним, вольно было порою и заблудиться, веря в то, чего нет, но могло бы и быть, и ещё восхититься великими мира сего, в кого мы действительно верили, как в героев.

Тотьма, 2017 г.

НЕ СТРЕЛЯЙ, ЧЕЛОВЕЧИЩЕ...

Лидии Тепловой

Селезень с уточкой. Плавают, радуются свободе. Оба красивые, молодые, самой природой назначенные для счастья.

Где-то рядом – сплетённое из травинок осоковое гнездо. Ещё вчера в нём были яички. Ровно семь. А сегодня уже – утяточки. Тоже семь.

Мать с отцом торжествуют. Сегодня они на реке вдвоем. А завтра – всей утиной семьей. То и дело ныряют, испытывая глазами, перьями и сердцами отраду подводного пребывания. Но вверху, где так много простора, брызг, сияний и красоты, где гнездо, а в гнезде ворочаются цыплята, им ещё отраднее и милее.

Неожиданно – тень охотника-птицебоя. С наведённым на них ружьем. Первым селезень встрепенулся. Встрепенулся и тут же понял, что прятаться им уже поздно. Но не поздно броситься к уточке на защиту. Не поздно и крякнуть, сообщая отчаянным кряканьем птицебою:

– Не стреляй, человечище, в нашу маму! У неё семь утяточек. Без неё они пропадут. Ты в меня, человечище! Я – сейчас! Я – поближе к тебе. Чтобы ты попал не в неё, а в меня... Чтобы, чтобы не промахнулся...

Минино, 2016 г.

БЛИЗКОЕ – ДАЛЕКОЕ

В ЛЕСНОЙ ТИШИНЕ

Приезд писателей в Тотьму был для нас, точно праздник. О их приезде мы чаще всего не знали. Однако встречали их так, как если бы знали. Особенность всех тотьмичей в том, пожалуй, и заключалась, что самым любимым их местом в летнюю пору, где чаще всего они собирались, была вечерняя пристань, к которой причаливал плывший из Вологды пароход. Сюда, к пароходу, любил приходить и Вася Елесин. Я тоже редко когда пропускал его разворот, с каким он сближался с берегом Тотьмы, пестревшим от множества кепок, косынок, вихрастых голов, загорелых затылков, машущих рук, платочеков и шляпок. Так был встречен однажды Сергей Васильевич Викулов, самый яркий певец советской деревни.

На той же пристани встретили мы и Василия Ивановича Белова, автора только что вышедшей книги «Знойное лето». Белов прихрамывал, и лицо его было угрюмым. Мы поняли: что-то случилось на пароходе. Белов открылся:

– Скора была. С пижонами. Из-за песни. Они пели какую-то красивую чепуху. А я потребовал нашу, русскую. И даже запел. И вот они на меня. Всей стаей... Не буду об этом и говорить. Противно. Сейчас бы мне, эх, настоящей лесной тишины. Может, подскажете: где она тут?

Мы рассмеялись:

– Где же, как не в лесу!

Белов улыбнулся

— Что мне и надо!

Сказано — сделано. Переплыв на пароме через реку, мы оказались на том берегу, где была проселочная дорога, которая нас и вывела в Красный бор, одно из красивейших мест в окрестностях Тотьмы.

День был чудесный. Мы с Елесиным приставали к Белову, чтобы он открыл нам, как это так у него в рассказах выходит соединение того, что случается в жизни сейчас, с тем, что было в ней, и что будет.

Белов поморщился:

— У вас и вопросы... Как у литературных светил. Вы это... выбросьте лучше из головы. Когда захочешь писать — запишется само. И о том, что вчера, и о том, что потом. И без всяких соединений.

Мы даже немного смешались:

— А как же нам быть?

— Никак. Просто жить! — ответил Белов и, выбросив руку вперед, спросил, как потребовал:

— Что вы там видите?

— Сухону.

— А там? — рука Белова вскинулась вверх.

— Облака.

Опишите их состояние. По-настоящему опишите. Это и будет литература.

Право, около нас и над нами, было всё так обычно, в то же время и необычно. Большая река. А над ней? Упłyвали одни облака. Приплывали другие, точь-вточь строители, образуя на карте небес белопёroe государство. Так, наверное, и душа, сливаясь с душой, образуют счастливую территорию, где подобно всполоху над рекой, торжествует развернутое сиянье.

Вологда, 2018 г.

ЗАПРЕТ

Поздним летом, когда мне было семь лет, я ходил вместе с бабушкой в лес по грибы. Заблудился. Не зная, в какой стороне был мой дом, заметался среди деревьев. Мне ещё повезло. Ноги сами вывели на дорогу. И пошёл по ней вниз, к пароходной реке. От реки же встречи мне - собаки. Штук шесть или семь. Серые, с остро вскинутыми ушами. Увидев меня, почему-то свернули с дороги, к ёлкам. Подождали, пока я пройду. И снова выбрались на дорогу.

Собаки ли это? Нет, нет и нет. Обычные волки. Мне они были совсем незнакомы. Из-за чего я не испугался. Не знакомо мне было и то, что собаки в тёмное время не бродят по перелескам. Узнал я об этом позднее, когда закончил четвертый класс и стал ходить, как и многие мои одногодки в ночное, где мы ловили на удочку рыбу и, расположившись у костра, с вниманием слушали взрослых. Тысячи разных историй. Одна из них – о волках.

– Волки, да чтобы загрызть человека? – как сейчас слышу голос бывалого рыболова. – Ни в коем разе! У них это запрещено. Кого-кого, а двуногих не тронь! Это вешний запрет. Не обидь человека! Иначе будет расплата. Всю волчьью стаю перестреляют...

За всю свою жизнь раз пять или шесть слушал я завывание волка. Как только вокруг всё стемнеет, тут и слышен их вой, обещающий в новой ночи справу над чьей-нибудь жизнью.

Там, за тёмной рекой по осоке бежит стая серых за верховодом. Разумеется, на охоту. Кому-то из живности в эту ночь так и так пропадать, потому как и волк нуждается в пропитании.

Ну, а если ещё одна встреча с серыми удальцами? Что тогда? «Ничего! – говоришь сам себе. – Ты не трогаешь их. И они не тронут. Если, конечно, они не учу-

ют в тебе изжитого человека, за кого уже некому стало и отомстить».

Новленское, 2015 г.

ЗВЕЗДА ЛЮБВИ

Колчак Александр Васильевич – это не только географ, не только морской адмирал, не только исследователь русского Заполярья, не только поэт, но и командующий войсками, кто пытался спасти Россию от большевизма. Какой ценой он ее спасал? Ценой эшелона российского золота, которое он захватил в Перми у Советского казначейства. Ценой того, что стал агентом нескольких государств, включая Англию, США и Японию. Ценой жестокости, с какой казнил не только красноармейцев, но и мирное население Сибири, отказалось признать его правителем государства. В конце концов, победителем этой страшной трагедии стал не он, а Владимир Ленин.

Потому и Иркутск с угрюмой тюрьмой. И дорога по льду через стылую Ангару к глубокой, но маленькой Ушаковке с дымящейся прорубью, из которой местные женщины черпают воду для самоваров. И ещё хруст шагов по февральскому снегу семерых бойцов-исполнителей, сопровождавших его к невыкопанной могиле, которую им предстояло самим и копать.

Ночь. Утро наступит ещё не скоро. Начальник тюрьмы, он же ответственное лицо за исполнение приговора, останавливает бойцов. Негромко, не по-военному, даже как-то сонно повелевает:

– Давайте. Здесь и покончим.

Красноармейцы вскидывают стволы. Начальник тюрьмы, как бы щадя обречённого, приказывает бойцам:

– Повязку ему на глаза!

Но Колчак отказывается:

— Не надо.

В эту последнюю из минут своего поединка со смертью хотел бы Колчак попрощаться с той, кого любил пуще жизни. Но до неё было так далеко. Как до звезды, которую он однажды воспел.

Ночь морозная, светлая. В чёрном небе тысячи звёзд. Все незаметные. Лишь одна, в середине Большой Медведицы, отличима от незаметных, и сурово, как избранная, сияет.

Александр Васильевич шевельнул губами. Может быть, он наполнился даже музыкой и от отчаяния запел. Запел не голосом, а каким-то высоким, взыгравшим в нём повелительным кликом:

...Сойдёт ли ночь на землю ясная,
Звёзд много блещет в небесах,
Но ты одна, моя прекрасная,
Гориши в отрадных мне лучах...

Сколько он написал красивейших песен! И только эта стала сейчас самой главной, самой необходимой, отвечающей его разбитому настроению, в котором Колчак учゅял родственную стихию, разглядев в ней метнувшегося орла. Орёл не летел. А срывался с огромнейшей высоты, откуда видна была вся Россия, подхватив по пути и его, честолюбивого адмирала. И в этот момент Александр Васильевич разобрал:

— По врагам революции — пли!

Умер Колчак не сразу. Будучи с пулями около сердца, он упал, пожелав прижаться к земле, как к утешительнице своей.

Но земли под ним не было. Лишь затоптанный снег. Снег внизу, а вверху раздражительный голос:

— Закапывать — много чести. Туда его...

Последнего выстрела, каким добивал из личного пистолета начальник тюрьмы, Александр Васильевич

не услышал. Оглушило нечто громадное, страшное и чужое, словно свалилась вдруг на него вся страна, со всем её населением, с товарищем Лениным, с отрядами красных бойцов, со всеми её лесами, полями и городами.

Взвод исполнителей, погрузив застреленного на сани, повёз его не на кладбище, где была так и не выкопана могила. А на снежную Ушаковку, прорубь которой дышала холодным паром, и приняла адмирала, как опытного пловца, кто сам подо льдом проложил себе дорогу до Ангары, чтобы оттуда опять подо льдом – к Ледовитому океану, туда, где его никто не найдёт.

7 февраля 1920 года. Состав с золотым запасом страны, который забрали предавшие адмирала чехи, ещё стоял на резервном пути. Куда он пойдёт? И придёт ли по назначению? Об этом в тот день не знал даже сам Всевышний, чьи глаза были заполнены трудной думой, объявляющей всей Вселенной о беспомощности своей.

Вологда, 2016 г.

ЧЕМ МОГУ – ПОМОГУ ...

Снится бабушке Лиде далёкое прошлое, когда была она молодой и жила в своем домике вместе с сыном. Муж на войне. А здесь в смоленской маленькой деревенькетише, чем тихо, пока с шоссейной дороги не повернули три танка. Один из них напрямую проехал по огороду. А потом по сараю и сеновалу и даже по домику над оврагом, развалив его на два взлома.

Вовка, которому и всего-то пять лет, еле выкарабкался из дома. Обе ножки раздавлены. Должен бы умереть. А он ползёт и ползёт, цепляясь пальчиками за землю. Ползет куда-то к колодцу. Где-то там его мама.

Лидия в ужасе. Сбрасывает с плеча коромысло. Ведра катятся по дороге.

Жизнь у малого, как на ниточке. Ещё секунда – и оборвётся. Однако он терпит. Слёз нет, но лицом он, как камень. Сквозь скрежет зубиков:

– Плохо мне, мама. Плохо...

Лидия падает на колени. Не знает, что ей и делать. Бедный мальчик всем своим лицом – ей навстречу. Так и хочет в неё проникнуть, дабы там в своей мамочке и оставаться.

– Ножки-то у меня, – жалуется сквозь трепет, каким охватила его невозможная боль, – были, и нет. Новые надо. На этих мне уже и не встать.

Мать гладит малого по головке. Вскидывает лицо куда-то к серому небу. С горем в голосе:

– Боженька дорогой! Забери мои ножки! Я чего? Хватит – и походила. Переставь их сыночку моему...

Небо завалено облаками. Нет же там никого. Однако Лидия слышит:

– Чем могу, помогу...

Спас Господь молодую женщину. Не позволил ей умереть от великого горя. Ну, а Вовке её был бессилен помочь. Был бессилен помочь и мужу, не вернувшемуся с войны.

Оттого и горюет Лидия Васильевна, не умея привыкнуть к своим потерям. В то кромешное лето было ей 22. А теперь уже 90. Бабка древняя. И жить-то было ей ни к чему. А она живет и живет.

Чем жила? Чем держалась? Колхозной работой. Да ещё сокровенной думой о сыне. То и тешит бабушку Лиду, что сынок у неё, хоть и мертвый, но где-то с ней рядом. Колхоз давно предлагал переехать во вновь построенный дом, который ей, как лучшей колхознице, выделен был в перспективном селе. Но она отказалась. Жила, как птица, в родимом гнезде, собрав его из останков, какие оставил после себя страшный танк. Дабы быть возле мальчика постоянно.

Вот и сегодня Васильевна выбралась за деревню. Идёт себе через поле, где когда-то росла богатая рожь.

А теперь здесь рогозовая трава, ивняки и заплывшие норы, в которых скрываются долгохвостки.

Кладбище рядом. Вон подкрашенная оградка с двумя рябинками, под которыми и лежит у Васильевны сын. С 41-го года он здесь.

Возле холмика с сыном – распахнутая могила – свежая, чистая, с гладко вытесанным крестом. Подготовил её местный копчик. Старушка смаргивает слезу. «Вот и постелька моя. Рядом с Вовкой».

– До завтра, сыночек, – старушка кланяется рябинкам.

На душе у неё жертвенно, чисто и благородно. Она заранее знает предел, за которым маячит безжизненное пространство, куда живущим не было, нет, и не будет дороги. Она и силы свои рассчитала, которых хватит, чтоб потихоньку дойти до дома. А там всё и так подготовлено в путь-дорогу, благо сама же себя в эту дорогу и собрала.

Гроб лежит на двух лавках, напоминая Васильевне плоскодонку, в которой она со своим Иваном когда-то плавала по заливу, собирая в нем радостные купавы.

Переодевшись, Васильевна положила на стол кучку денег. Для тех, кто пойдет ее провожать. Достала свечу. Сняла с божницы икону. Помолилась и улеглась, устраиваясь в гробу.

Ночь на дворе. Небо чёрное, с усиками от звёзд, как ковёр, который кто-то раскинул над строгим миром. Замерла Васильевна, почувствовав вдруг необычную радость, словно кто-то поднял её и понёс сквозь небесную бесконечность.

Умерла, как заснула, и сама не заметив, что уже находится в новом мире. Умерла, как под мягкой ладонью, по которой узнала любимого мужа. От ладони пахло осенней травой. В траву её муж в тот далёкий день 41-го и упал, когда выстрелили в него, и он не успел увернуться от пули.

Минино. 2016 г.

ИДУ-У

Земля прекрасна на закате лета. Но ещё прекраснее в пленау осенних дней, когда вблизи чернеющей реки висят, как паруса, прохладные туманы. Когда сторожко, как карась, крадется по реке не вспугнутое солнце. Когда, кивая хохолком, летит к рябине бойкий свиристель. Когда на избяном стекле танцуют быстрые лучи. Когда в просторы солнечных полей спускается полуденный покой. Когда, как откровение, вдруг открываются ворота неба, и в них ты видишь чистое лицо с глазами Бога, который тщательно рассматривает нас, дабы понять, кому он в этот миг всего нужней. И кто-то с колотящимся от счастья сердцем услышит среди сонма звуков негромкое, но чёткое:

– Иду-у!

УТОЧКА, УТОЧКА, ПОЛЕТИМ...

1

Был ты в обычной командировке. Только что слез с автобуса. Проходил около гаражей. Откуда-то со двора, где стоял автокран, послышались крики. Кто-то толстый, с развевающимся шарфом выскочил из ворот.

– Сюда-а!

Звали тебя. А может, и не тебя. Тем не менее, ты повернул.

– Ты – кто-о? Алексан? – спросили тебя.

– Нет.

– Всё равно. Помоги.

Кому и чем ты был должен помочь, тебе неведомёк. А когда ты понял, что это тебя не касается, ибо увидел, целую стаю о чём-то споривших мужиков и хотел пройти мимо них, как вдруг к твоей голове приложилась доска, и ты на пару минут выключился из жизни.

Удар не смертельный, но было больно. К тому же поплыли ноги, и ты упал, выпуская из правой руки чемодан.

Когда очнулся, увидел рядом под бампером крана лежавшего в сером пальто молодого мужчину. По лицу его полз красный шнур застывающей крови. «Мертвец!» - понял ты. Стало как-то не по себе. Ещё более удивило, когда вверху над собой разглядел куривших милиционеров. Их было трое, и они на тебя смотрели, как на законченного злодея. Отчего? Да, наверное, оттого, что пальцы руки твоей сжимали не ручку дорожного чемодана, а металлический болт. Не тот ли самый, которым и был отправлен в чужие миры расположившийся рядом с тобой неживой человек.

Здесь что-то не то, понял ты. Какая-то чертовщина. Или дьявольская подстава.

Милиционеры выглядели уверенно. Им, наверное, было всё ясно. По их пониманию, здесь случилась схватка двух рассорившихся людей. Схватка, закончившаяся убийством.

Ты был должен давно оказаться в своем родном доме. И вот вместо дома – бог его знает и где. Ведут в какое-то мрачное заведение. Где коридор с постовым. Где первая ночь в обществе заключённых. А затем и утро нелепейшего допроса.

Тебе это утро преподнесли, как злодею, который должен принять на себя чужую вину.

Отвести от себя подставу ты, хоть и пробовал, да не мог. Не умел убедить в своей невиновности ни защитника, ни следователя, ни суд. Потому и принял, как чайто подарочек – десять лет лагерей.

Жалко было жену. Она такая юная, неопытная, оставшаяся без денег, теперь – уже и без мужа. К тому же со дня на день ей предстояло еще и родить.

Жалко и сына, который ещё не родился, но родится, подрастёт, начнет говорить и обязательно спросит: где мой папа? Почему? Почему он не с нами?

Себя тебе было, не жаль. Наоборот, ты был зол на себя за то, что так несуразно попался, получив в обмен на свою неповинную жизнь чью-то чужую, над которой сейчас посмеивался убийца.

Из щелей вагона, мчащегося к востоку, ты видишь светящиеся цветы. День такой пасмурный, а шагах в 20-ти от тебя, возле насыпи – пышные вербы. О, как их много. И все они распустились. На какую-то долю мгновения ты в них видишь и не цветы, а сплотившиеся друг с другом чьи-то сиротские души. Ветерок чуть прошелся по ним, и ты услышал в их безрадостном шевелении сочувствующие слова:

– Не горюй, не горюй...

Скрежещут колеса вагона, унося тебя мимо разлившихся верб. Губы твои ломаются в трудной улыбке:

– Вербы, вербочки, до свиданья...

2

Ночи в лесу такие все разные. Но из разных ты выбираешь свою, ту, что тебе обещает, хоть и малую, но надежду. Вот и сейчас ты глядишь сквозь потёмы на свежие пни. Вырубка, право, как тайное озеро, где сплошные живые утки, выплывающие из пней. Прямо к ногам твоим подплывают. Так и хочется наклониться, чтоб ладонью – по гладкой спине, как любимую женщину, ту, от которой тебя увезли. Увезли, наверное, для того, чтоб опять тебя к ней привезти. Но когда это будет?

– Уточка, уточка, полетим!

Ты к полёту этому так стремишься! Так и рвёшься туда, где твой берег, а на том берегу с тремя окнами на реку твой уютный бревенчатый дом. Там жена. Там и сын.

Сыну скоро пять лет. Он желает узнать:

– Где мой папа? Почему он не дома? Когда он вернётся?

Мама гладит малого по головке.

— Почему ты расспрашиваешь о нём?

— Я люблю его! — плачет мальчик и бросается к маме, чтобы обнять её и понять: — А где он сейчас?

— За Уралом. В лесу, — отвечает она.

Сын серёзен и хмур. Что-то вбивает себе в маленькую головку:

— А папа, какой у нас? Смелый?

— Смелый.

Сын решительно объявляет:

— К папе! К папе хочу!

— Далеко он, сынок. Очень, очень.

— А на поезде можно к нему?

— Наверное, можно.

— Мама, ты у нас — женщина. Дома сиди. А меня посади на поезд. Я поеду к нему! Завтра же и поеду!

Мама подхватывает ребенка. Поднимает на грудь. Прижимает к себе. Слышит сердце. Сначала — сына, потом — и своё.

— Ты ещё маленький. Рано тебе в такую дорогу. Потеряешься в ней. Я такого не вынесу. Заболею тоской и умру.

— Нет! Нет! Нет! — О, как льнёт к горячему маминому плечу задрожавшее лицико сына. — Не поеду я никуда. Хочется к папе, а не поеду! С тобой остаюсь. Не хочу, чтобы ты умирала. Пожалуйста, мама, живи!..

Невозможного нет. Всё возможно. Только это возможное где-то там, в новой жизни. В жизни очень большой, неизведанной и манящей, к какой готова сегодня лишь тоскующая душа.

— Уточка, уточка, полетим!..

По лицу твоему порхает бархатная снежинка. Там и вторая. И третья. Много снежинок отправило небо, решив подарить их угрюмой земле, чтобы та немножко повеселела, и люди на ней снова почувствовали отраду...

Вологда. 2016 г.

ГДЕ НИКТО НЕ ЖИВЕТ

Жил да был за Коченьгой в лесопунктовской Горке дядя Коля Круглов . Всю жизнь он валандался с лесом, работая вальщиком на повале, имел семью из пяти человек, содержал дивный сад, где росли не только Орловские яблони, но и местные абрикосы. В сентябрьские дни, когда поспевал урожай, и плоды с деревьев слетали, как желтые птицы, дядя Коля не знал, куда девать урожай. Семья за последние годы убавилась, перебравшись, кто в Тотьму, кто в Вологду, а постаревшая Клава даже за Сухону на погост. И остался он в доме один. Одиночество для хозяина очень, очень невыносимо. Потому и был он всегда щедр, доволен и весел, когда в саду у него собирался народ – и старый, и малый. Что наросло, то и ваше. Не пропадать же добру. Пожалуйста, забирайте.

Уходили сборщики урожая каждый к себе, кто в сторону Городищны, кто – к Коченьге, унося в корзинах и рюкзаках сладкие абрикосы. И яблоки уносили.

– Приходите еще! – звал дядя Коля, широко улыбаясь с крылечного рундука.

– Мяу, мяу! – звала и кошка Маруся, запрыгнув к хозяину на колени.

Дядя Коля сидел на лавочке допоздна, пока не вспыхивал белый месяц. Красиво, скучно, но одиноко. Человечка бы для беседы! – мечтал дядя Коля.

В прошлом году оставались в Горке на зиму две семейки. Но нынче приплыл за ними из города катер. Загрузил барашишко – и до свиданья. Остался в селении дядя Коля один. Сторож, не сторож, скорее свидетель эпохи, которая, доживая свое, разворачивалась назад.

Впрочем, не только безвестная Горка, а все деревни и села на Сухоне отмечают уход того, что обратно уже не придет. Как на похоронах страны, откуда вот-вот за-

берут последнего жителя русской деревни, и она объявит себя сиротой.

Россия и – сирота? Такого еще не бывало. Дай Бог, чтоб и не было никогда. Однако страна уже повернула куда-то в сторону от назначенного пути. Сразу и заблудилась, не понимая, куда ее, бедную, повело. В какой-то неведомый край, где от жизни берут, но жизни не добавляют. А что впереди? Или туман, заволакивающий дорогу? Или Иисус Христос, о котором предсказывал Блок?

Вон двое катятся вдоль реки. Ищут то, чего не теряли. Безработные, злые на всех и на все, ничего не умеющие, но с претензиями к стране, которая их обидела, ничего им не дав, и они готовы с ней справиться, как с овечкой.

Ищут дома, где никто не живет. Шарят в них, будто крысы. Оба с виду обыкновенные. Среднего роста. Однако глаза, как ямки, залитые смолой, одновременно и мертвые, и живые. И тот, и другой в украденных куртках. Оба при мотоцикле с коляской, куда складывают добычу. Вот и теперь у них: пара бидончиков меда, десяток икон, стенные, с маятником часы и библия в кожаном переплете. Добро неплохое. Однако для них его мало. Надо еще.

В Горку хотели не заезжать. Слишком уж всё здесь уныло и сиро. Скособоченные дома. Барак. Будка, где туалет, откуда вдруг выпорхнула ворона. Однако привлек внимание пятистенок, хотя и старый, но крепкий с красавцем-конем на высоком князьке.

Поднялись на крыльце и вздрогнули. На лавочке рядом с дверью сидел старище с былинным туловом и руками. Как после сечи, устал и вот отдыхал. Мародеры остолбенели. Но сразу и поняли – дед на самом краю, перед тем, как ступить в пугающее пространство.

– Дед, ты живой? – спросили его до того, как войти в распахнутый дом, где горел электрический свет, и ходило под ветром, чуть покачиваясь, оконце.

Дед в ответ что-то булькнул. Позволил обшарить свою телогрейку, в кармане которой была половина пенсии и часы. Дрогнул руками-лопатами, разбудив на секунду свою Марусю, отклонился затылком к стене и затах, как ушел. Но уйти было свыше его желаний. Остался сидеть, сторожа нежилую улицу, по которой весело прыгали воробы да летели сверху березовые листочки.

Долго рылись шакалы в дедовом пятистенке. Нашли лишь большой самовар, колун с топором и пару рубанков. Унесли добычу в коляску и возвратились. Дабы отметить свое присутствие в тихом мире, разожгли на полу перед печью костер. И ушли. Отъезжая, оглядывались назад. Как горит?

Дом, однако, не загорелся. И хозяин его, как сидел на лавке крыльца, так на ней и сидит, отдыхая от долгой жизни. И кошечка с ним.

Вечность, вечность. Как и мертвому дедушке, тебе некуда торопиться. Обитаешь себе, как и вся наша северная природа, не зная ни горя, ни радости. И на шакалов, что поджигают домик за домиком в деревнях, дабы скрыть следы своего пребывания, смотришь сонно и равнодушно, как на что-то ненастоящее, которое можно не замечать.

Потому и живы сегодня блуждающие шакалы, что за старых людей в малолюдной деревне стало некому заступиться.

К счастью или к несчастью, однако, такое бездействие не везде. Говорят, что где-то за Горкой поймали недавно двоих. Застали их за поджогом не только домов, но и леса. И что после этого? Поджигателей вывели на реку. Помогли в нее окунуться. В ней и оставили. До следующего поджога.

А с дядей Колей чего? Полная неизвестность. Словно в Горке его и не было никогда. Зато пятистенок его, как стоял в центре Горки, так по-прежнему и стоит.

Только живут в нем теперь не русские, а узбеки. Вечерами новый хозяин сидит за столом и строчит письмо за письмом. Приглашает на русскую улицу тех, кому тесно в Узбекистане.

ВОЛЬНАЯ ПТИЦА

Открытка Рубцову от семилетней Леночки была, как искрящаяся любовь.

– Едем! – это был ответ на зов Николая Михайловича непременно приехать к нему вместе с мамой. Приехать на пароходе в Вологду в дом на улице Яшина, №3, где была у поэта с недавних пор собственная квартира.

О, как ждал их Рубцов! К дочке своей он испытывал трогательность и нежность с первых минут ее жизни, когда она и ходить-то еще не умела. Но зажигалась всем своим чистым лицом, протягивала к папе ручки, дабы взял он ее и, вскинув к себе на плечо, понес бы во что-то сказочно-дивное, где живет еще никем не раскрытая тайна.

Однако встреча не состоялась. Вернее она состоялась, но ее испортила та, кто рвалась заменить ее маму, оказавшаяся так не вовремя и некстати у Николая Михайловича в квартире.

Для Леночки – это и горе, и катастрофа. Уехала вместе с мамой в тот же вечер туда, откуда так торопилась. Спешила к той жизни, в которой всегда будет папа. И вот он не рядом. Рядом лишь мама и бабушка.

Выходила девочка на крыльцо. Поворачивалась к недальнему берегу, где синела, мерцая льдинками, хмурая речка. И смущаясь, в полголоса:

– Папа! Папа! Ах, как нам тебя не хватает...

Одной ли Леночке не хватает? Не ошибемся, если вздохнем полной грудью и, вспоминая жестокий январь, забравший от нас Николая Рубцова, тоже в полголоса:

— Не хватает всем, всем, кто болеет душой за родимую Русь, в небе которой ты, Николай Михайлович, и остался. Остался, как вольная сильная птица, которой лететь и лететь где-то там, в неземном удалении, но над нами.

РОСКОШНАЯ ЛОДКА

Улица. Горожане. Вечер. Все спешат по своим делам. И вдруг навстречу тебе — та, что тебя мгновенно ошеломляет. Платище до колен. Перевязка на голове. Над перевязкой — красивые волосы, в которых роется ветерок. Что-то тебя в ней остановило. И ты вдруг волнуешься, осязая вдруг особенный воздух, который плывёт от её малиновых губ. Плывёт — и куда? Неужели к тебе? Ты уже рядышком с ней. Близко-близко.

— Девушка! Вы не ко мне??!

Не помнишь, ты ли это спросил у неё. А может, не ты. Остановился. Смотришь вдогонку ей сквозь толпу. Как много шляпок и шляп, косынок, локонов и беретов. Но ты выбираешь лишь светлую перевязку с фонтанчиком русых волос, в которых, знай себе, роется ветерок.

Мелькнули фонтанчик и перевязка. И всё. Нет знакомки. Словно её и не было никогда. Ты стоишь, словно столб. И гадаешь: почему она в твою сторону не взглянула? Быть может, ты тот для неё и есть, к кому должна она торопиться?

Увы! Увы! В тот обманчивый час был под тобой не обычный асфальтовый тротуар, а что-то неверное, зыбкое. Как знать, может, был это маленький плот, и возле него проплыла роскошная лодка.

Такое лицо. Такие глаза. Всё было рядом. И вот — всё ушло. Наверное, для того и ушло, чтоб ты ждал. Такое же точно лицо. Такую же перевязку. И, надо думать, такие же точно глаза, только вскинутые не вдаль, а туда, где находишься ты.

ДОРОЖЕ ЖИЗНИ

Для счастья так мало надо. Жить для себя, в то же время и для кого-то. Пусть это будет жена. Пусть младший брат. Или чем-то расстроенный друг, которому трудно, и вот он рядом с тобой, и ты ему помогаешь.

Жить для кого-то – это святое. Возможно, оно перешло к человеку от птицы. Всего скорее, от статного лебедя. Тот никогда не бывает один. Жить в одиночестве не умеет. Только с любимой. Ей он верен всегда. С ней он и счастлив, и бодр, и готов за неё отдать свою жизнь.

Известен такой грустный случай. Произошёл он где-то за Тотьмой, к северу, на одном из озёр сурового Заозерья.

Охотник, будучи в лодке, стрелял в стадо кормившихся лебедей. Насмерть ранил лебедку.

Для гордого лебедя – это не только горе, не только беда, но и призыв к любой мести. Месть заставила взять его высоту. И оттуда камнем упасть на стрелка. Сил после этого оставалось в лебеде ровно столько, чтоб можно было ещё один раз набрать высоту. Ту, которую набирает орёл, перед тем как броситься на добычу.

С горьким кликом упал он на побережье. Упал и предсмертно пошевелился, чтоб укрыть любимую сломанными крылами.

ПЕСЬЯ ДЕНЬГА

Город Тотьму без Песьи Деньги, речки тихой и благонравной, представить, кажется, невозможно. Песья Деньга – речка-труженица. Она же и мученица. И защитница древнего городища, смотревшего деревянными стенами в её воды.

В майское половодье она готова принять в распахнутые объятья сотни тысяч кубов делового леса. В годы

сталинских пятилеток кто с ней только не расправлялся! Перетягивал режущими тросами. Топтал тракторами. Рвал сокрушающим аммоналом.

Сплав закончен давно. И в высокое половодье здесь всегда – суровая тишина. Примечателен левый берег, где когда-то стоял острог, защищавший кондовыми бревнами крепость города вместе с храмом Богоявления. Именно в эту пору, пору глухого Средневековья и вели поединок две ратные силы. С одной стороны воевода Михайлов с отрядом тотемских удальцов. С другой – ксендз Грыжинский, предводитель отряда польских легионеров. Поляки, имея пушки, обстреливали город с дощников и плотов. Они же сквозь битые стены острога, словно вши, проникали в покой двора. Для чего? Для того, чтобы спалить всё, что пламени поддается, а храм с колокольней ограбить, забрав с собой все священные книги, иконы, паникадила, колокола, которыми так гордились жители Тотьмы. Количеством воев поляки превосходили защитников городка. Однако прорваться в крепость, хотя и пытались, но не сумели. Даже напротив, были отброшены в Песью Деньгу.

Речка впадала в Сухону, и в пожарном свете огней её ход был торжественен и ужасен. В бурных струях мелькали тела, блестели мечи, кто-то кричал, кто-то бил щитом по щиту, кто-то захлебывался и плакал.

Ту короткую битву навсегда запомнил западный склон острога, тот, что круто переходил в левый берег реки. Здесь защитники русской земли положили головы, как герои. Старожилы города говорят, что расплесканная над речкой кровь человеческая навсегда удобрила эту местность. Оттого и растет здесь неумирающая ромашка. 400 лет уже как растет, славя тех, кого мы не знаем. Не знаем, но почитаем. И время от времени всматриваемся туда, где, обнажаясь сегодняшним днем, нам обнажается и былое.

ТИХИЕ ЧУДЕСА

ЛИЛИПУТЫ

Микориза – это подземная паутина, откуда по корешкам и жилкам растений, смешавшись с питательным соком, поднимается вверх витаминный рассол. Благодаря этой смеси живут все травы и все цветы, а также кустарники и деревья. В микоризе, как и на пастбище, пасутся стада маленьких организмов. Все они получают полезные соки, которыми кормится весь растительный мир. Без них, без этих невидимых глазом растительных лилипутов жизнь остановится. Но, к счастью, этого не случится. Деревья, кусты и травы живут у нас потому, что под землёй находится неумирающая среда, в которой как раз и живут, благоденствуя, неистребимые организмы. Мы их не видим. Зато замечаем и нашу траву, и листья, и фрукты, и ягоды вместе с грибами и овощами, которые нам дарят тихие лилипуты, которые, как и ежи, всю зиму спят. Весной же они просыпаются и будят всё, чему полагается бодро расти и цвести, а потом какое-то время спустя угождать нас питательными плодами. Не было, кажется, ничего. И вот, как на скатерти-самобранке, всё и явилось. Пожалуйста, угощайтесь. Вот Вам яблочки. Вот земляничка. Вот репка! Вот и морковка! Кушайте на здоровье!

СТОН

Неубранный хлеб. Целую ночь, он стоял, опрокидываемый метелью.

Унялась непогода к утру. Светло и бело.

По полю от окраины города к алой заре побежала лыжня торопливого человека. Манила его прогуляться по полю девственno-белая бесконечность. Идти бы по ней и идти, принимая душой чистоту и свежесть первого снега, да мешал громкий скрип. Казалось, не снег скрипел под его ногами, а колосья поваленного ячменя, на помощь к которым никто не пришёл, и они, как наказанные, стонали

БОЖЬЯ МИЛОСТЬ

Дивно было увидеть в ночи, как встаёт из земли, без лучей, без сияния, огромное алое солнце. Такое бывает только в начале июля. Чёрные крыши домов, застывшая листва, пролетевший с мышью в когтях хищный филин.

Нет. Земля не погасла. Не к смерти она подбирается – к воскресению. И спасёт ее, как всегда, тихий свет, разливающийся над миром. Православный народ называет его:

– Божья милость.

СВЯЗЬ

Блеск воды с пробежавшим по ней, как вдогонку, лучом заката. Над рекой, где обрыв, две порывистые берёзы. Обе в уборе дрожащей листвы. Верится, что колышет листву не ветер, а кто-то живой, затаившийся там, чтобы видеть, как ты, забредя по колени в реку,

срываешь белеющую кувшинку. Для того и срываешь, чтобы не только глазами, но и всем своим существом уловить связь с вечерней природой, открывающей в нежном цветке бесподобную прелест цветения, ту, что манит к себе, чтоб отдать тебе летнее чудо, принадлежащее берегу и реке, и ещё тому, кто скрывается в двух берёзах.

ВДАДЫКА ЧУДЕС

Рисует девочка папу. В танке за пулемётом. Рисует, как он стреляет в фашистов и побеждает. И вот возвращается в танке домой. Знает малышка, что папа убит. Поэтому и рисует, заставляя себя поверить – такие, как папа, не умирают. Призадумавшись, она спрашивает у мамы:

– А танк с нашим папой пропустят в наш город?

Мама гладит девочку по головке.

– Конечно, конечно.

– Я так и знала, – сказала дочка.

Мама в думе своей разглядывает былое. Найдя в нём нечто щемящее и родное, шепчет девочке на ушко:

– Тот, кого любят, везде пропускают. Пусть папа будет опять вместе с нами.

Дочка целует рисунок.

– Нет его, а пусть будет! – голосок её чистый-чистый, в то же время знающий то, что не знает никто...

О, владыка чудес! Не ты ли внедряешь в девочку силы, какие её укрепляют, как провозвестнику чуда у всех, кто живет на земле. У старых и молодых, у необычных и самых обычных, среди которых и мёртвые, будут для нас обязательно, как живые.

ДОМОЙ

ПЛЫВУЩЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В юные годы какое-то время жил я в Алма-Ате. Несколько дней ходил по роскошным улицам дивного города, вбирая в себя красоты востока. Однажды в пальмовом сквере геологического института увидел плечистого, без головного убора, гладко выбритого мужчину. Был он в сопровождении одетых в халаты солидных коллег, которые подкатили покрытую шёлком передвижную трибуну. Он тут же и встал за неё. И, как бывалый оратор, заговорил о дружбе советских народов. Говорил он недолго, однако эффектно, в каждой фразе упоминая, если не Карла Маркса-Фридриха Энгельса, то Ленина-Сталина, и от его веских слов веяло верой в будущее страны. Потом он спустился на каменную дорожку и, к одобрению всех собравшихся, взял и выудил из толпы юную пионерку. Секунда – и девочка с красным галстуком на груди оказалась на правом его плече – красивая и смущенная, будто маленькая принцесса. Мужчина, несмотря на жару, был в военного кроя френче и ослепительно чёрных хромовых сапогах. В повороте его головы, широких плечах и улыбке, с какой он держал счастливую пионерку, было что-то от полководца. Я даже дыхание притаил.

– Это кто? – спросил у стоявшего рядом со мной молоденького казаха. Тот, пораженный моим невежеством, едва от меня не отпрянул, но, все, же сказал:

– Лазарь Моисеевич Каганович...

Сколько лет прошло с той поры! А я до сих пор не забыл, как рассматривал этого бодрого, с девочкой на плече, сурового оптимиста. И почему-то не верил в тот исторический факт, что он отправлял людей в катастрофическое пространство, покрытое северными лесами. Отправлял не отдельными группами, а эшелонами поездов, где они, заготовляя плановый лес, ежедневно вели поединок за выживание.

Однако годы идут, меняется качество жизни, и всё подвергается переменам. Время, хотим мы того, или нет, но вносит существенные поправки. Были жестокость и беспощадность. Стали растерянность и хаос. Была и попытка что-то по-доброму изменить. Возвратить людям то, что они потеряли. Те народы, что обитали на разработанных их же руками лесных площадях, снова переселялись. Теперь уже добровольно. Без конвойных сопровождений. Именно этот кусочек жизни нашего государства я и увидел собственными глазами.

После южной Алма-Аты, в том же 1950 каком-то году я опять оказался в Тотьме. Был облачный день. На Сухоне, ниже пристани остановилась причаленная баржа. Шла загрузка людей. Откуда они? Кто с Поволжья. Кто с Украины. Кто с Казахстана. На баржу по трапу вносились ящики, сундуки, мешки, баулы и чемоданы.

От знакомых узнал, что это репатрианты. Возвращаются «на юга», на те самые территории, откуда когда-то их гнали на север. Переселяли, как кулаков второй категории, и вот теперь они едут домой.

Кто-то из горожан неожиданно подбежал к спускавшейся к трапу группе репатриантов. Наклонился к самому старенькому из них, чтобы забрать у него клетку с парой козлят.

- Помогу, – сказал. И с ходу разговорился.
- Сами-то вы откуда?
- С Днепропетровска, – ответил владелец козлят.
- А у нас-то как оказались? В Тотьме-то нашей?

— Колото-молото, — старый побито вздохнул. — Были вольные казаки. Стали, что тебе козочки в клетке. 20 го-диков здесь обретались.

— В самой, что ли, Тотьме?

— Рядом, в Чуриловке. На лесных заготовках. Сына здесь положил в земельку. И жену тоже здесь. Остался с дочуркой. Э-э, Катерина! — старичок кивнул ступавшей где-то за ним круглощекой девочке с чемоданом. — Не отставай! — Поднял кепку над головой, покрутил, по-казав куда-то к заречному бору. — А содеял такое кто? — заключил. — Его владычество, Каганович. Вот так-то, молото-колото. Пожелал бы я этому Лазарю-блин Мoiseичу, побывать в нашей коже. Едем, куда мы теперь? На родину. А ждут ли нас там?

Женщина с рюкзаком за спиной, тоже из тех, кто когда-то расстался с родной стороной, пристроилась к разговору. Была она, видно, из оптимистов:

— Не ждут, так воротимся! Обратно сюда! Будем че-го? По второму заходу в русичей превращаться. Слава Богу, земельки тут хватит на всех... Главное, что народ здесь, хоть и не сильно богатый, однако сердешный. Примет...

Много народу скопилось на берегу. Каждый смо-трел и видел, как бывшие кулаки заходили на сходни, а там рассыпались кучками по барже, образуя плывущее поселение. Тихо было. Лишь шорох подошв да гул рабочего катера, выправлявшего трос, чтобы сразу и потащить громоздкую с маленьким флагом баржу по створу белеющих бакенов к повороту реки, за которым садилось сонное солнце.

Берег замер. Никто никому слов прощальных не го-ворил. Никто и рукой не махал. Два стана людей. Один возле старого замка на берегу. Второй — на барже. Все, кто плыл, и кто оставался, словно окаменели. Каждый вглядывался в свое и видел то, что никто, помимо него, не видел.

ПОД ПОКЛОННЫМ КРЕСТОМ

Записка в НКВД без подписи ее автора обвиняла сотрудницу горторга Леночку Ковтунову в хищении трех буханок ржаного хлеба. Хищения, как такового, и не было. Однако хлеб был отпущен участникам конференции на обед. И всего-то досталось по сто граммов хлеба на делегата. Стоило бы из-за этого разжигать нехорошую страсть. Однако стоял 1944-й, предпоследний год Великой Отечественной войны, и каждый грамм продовольствия был на учете. К тому же и написавшая заявление в органы скрытная дама желала подняться в должности до заведующей отделом, того соблазнительного поста, какой занимала Леночка Ковтунова.

Служащую горторга арестовали и, осудив, отправили по этапу. Три года каторги на Опоках. Для юной женщины, только что вышедшей замуж, это было и потрясение, и несчастье, и стыд за трусливого мужа. Тот, держась за свою карьеру, отказался от Леночки, как от жены. Ну, а та, в добавление всех ее бед, оказалась еще и в беременном положении. Однако к беременным в лагерях относились без снисхождения.

Вот тебе тачка с совковой лопатой. Вот и мостки, по которым езжай на берег Сухоны за породой. Загружайся — и, топай, топай себе по плотине. Двигай туда, где сваливается порода, которой назначено быть перевправой через реку. Камни, мергель, песок и глина — это и есть главное каторжное богатство. Вози его и в чудесный солнечный день, и в туман, и в пургу под тосклиwy визг колеса прочной тачки. Сбрасывай груз в пасть реки, да следи, чтобы он и тебя ненароком не опрокинул, смешав со сваливаемой породой.

Леночек было тревожно не столько из-за себя, сколько из-за ребенка. Тот давал уже знать о себе изнутри, ибо рос, заставляя маму терпеть нечеловеческую нагрузку.

Вынесла женщина то, что вынести невозможно. А вот ребеночек – пас. Появился на свет, но уже неживой. Похоронила его Ковтунова тайно, под податливый грунт, где стояла иглистая елка. Корни ее и обняли малыша, словно руки живущей мамы.

Русская женщина и концлагерь. Кто над кем возьмет верх? Поединок почти фантастический. Проигравший его оставался на Сухонском берегу, в колективной могиле, где все были равными по судьбе. К счастью или к несчастью, но в апреле 1947-го плотина не выдержала, взломалась под натиском ледохода. Строительство прекратилось. Часть заключенных была переправлена на новый объект. Леночке повезло. Оказалась в списке тех, кто отплывает на пароходе. Туда, где нет ни лагерных вышек, ни тачек с породой, ни угрюмых охранных собак.

Остановилась Леночка в Тотьме. Здесь все для нее стало так, как она даже и не мечтала. Наверное, кто-то высокий и сильный, взял на себя заботу о ней. Поэтому и взял, что увидел в ней не падшую, а святую. И повернул ее к свету и доброте. И вот она устроилась на работу. Встретила друга жизни. Стала любимой женой. Воспитала двух дочерей. Дождалась внуков и правнуков. Чем могла, всем и каждому помогала. В конце концов, разменяла девять десятилетий. Мечтала когда-нибудь побывать в незабвенных Опоках. Вспомнить самое горькое, всплакнуть о тех, кто тоже хотел бы отсюда домой. Но побывать, к сожалению, не сумела. Вместо неё посетила Опоки старшая дочь, такая же, сердобольная, как и мама, остро жалеющая людей за их незаслуженное страдание.

– Спите, несчастные горюны, – сказала дочь на прощанье, окидывая взглядом берег с поклонным крестом, под которым лежали великие мытари страшной стройки.

ВСТРЕЧА С ТЕМ, КОГО НЕТ

Июньская светлая ночь. Ты лежишь на старинном с железными лентами сундуке. Здесь постель у тебя. Видишь сон. Хотя может быть и не сон.

Ты – один. Во дворе. Калитка открыта. А в ней, не решаясь войти, – высокий военный в запыленных ботинках, обмотках и галифе.

– Здравствуй, сын!

– Папа! – ты решительно бросился встреч полunoчному гостю, принимая его за родного отца. Но тот отошел на два шага назад:

– Нет! Нет! Нет! – рука у него какая-то вся сквозная, загородила дорогу к себе, словно это было рискованно и опасно. И ты резко остановился.

– Нельзя ко мне... Я – не рядом. Я далеко. На линии фронта. Меня уже нет. А явился я к вам нелегально.

Ты испуганно улыбнулся:

– Может, маму позвать? Я ее разбужу.

Гость неловко переступил с ноги на ногу.

– Нет. Не надо. Она расстроится.

Ты растерялся.

– А Мишу? – назвал почему-то старшего брата.

– И его не зови. Я ведь ненастоящий. Видишь? – Боец прикоснулся рукой к гимнастерке, напротив сердца, и ты увидел на ней большое расплывчатое пятно. – Это рана моя. Смертельная.

Ты смущился и удивился:

– Но как? Я ведь вижу тебя?!

– Потому и видишь, что оттуда, где я оказался, никого обратно не отпускают. А пришел я сюда без спроса. Тайком. Мне так важно узнать: как вы тут? Без меня?

Ты не мог не сказать:

– Плохо, папа. Особенно маме. У неё, что ни вечер, то и слёзы из глаз. Очень хочет тебя увидеть. А как увидеть, если тебя, говоришь, уже нет?

Гость кивнул головой и, бледнея, пошевелил тяжелевущим языком:

— До свиданья, сынок. Время моё истекло.

Спохватился ты:

— А письма к тебе? Письма можно писать?

— Нет. Не надо. Они все равно до меня не дойдут.

Ты опять спохватился:

— А что маме сказать?

— Ничего. Так будет лучше.

— Мама у нас, — начал ты. Но отец перебил:

— Самая лучшая. Любите её так, как я бы любил.

Полным сердцем.

Калитка вдруг дрогнула и закрылась. Ты поспешил ее отворить. Смотришь вдоль улицы на отца — и не видишь его. Да и сам ты уже почему-то не во дворе. Снова дома. Снова лежишь на старинном с лентами сундуке. Значит, он, твой отец, приходил к тебе в те минуты, когда ты рассматривал сон.

О, крутое солдатское горе. Сколько силы в тебе, если ты разбудило и мертвого, отправляя его за тысячу километров. Для чего? Для того, чтобы увидеть свой дом и кого-то из нас.

Что ж. Увидел — и сразу назад. Туда, откуда не отпускают.

СНЕГОВУШКА

Дедушка Веня и бабушка Маня. Живут они около города, в какой-нибудь сотне метров от нашей школы. Обоим по 70 лет. Бабушка Маня плетет кружева. А дедушка каждое утро торопится на работу. Всю жизнь он дело имел с топором. Теперь же, в пору войны работал везде, где требовался работник. Находил время и для детишек. Те, в свою очередь, знали дорогу к нему, как к занятному человеку. Вечерами дедушка на сарае. Окружив себя заготовками из берёзы, изготавливает за-

тейливые игрушки. Лавки вдоль стен все в деревянных лошадках, красноармейцах с винтовками, самолетах, гранатах и прочих затейливых развлечушках, какие он вырезает, когда бывает в художественном ударе.

В ненастную осень, а то и зимой двери дома у дедушки хлоп да хлоп, пропуская в хоромы гостей. Всем любо-дорого посмотреть, как под ножиком деда Вени палка или полено превращаются в то, что маленьких восхищает. При этом сквозь сивую бороду древодела прорывается древний голос. Молчать дедушка не умеет. Вот и сегодня, в разгар поздней осени, окинув нас взглядом, он спрашивает с улыбкой:

– Сказку хотите?

– А то!

– О чём?

Ребятишки наперебой:

– О тигре, как это так, его, эдакого большого, мог живьём проглотить хромой кот?

– Дедушка Веня! Лучше о зайце! Только не злом, а добром, кто в больницу на хвойных лапах перевёз медведицу с медвежонком!

– Память слабая у меня, – признается хозяин, – забыл эти сказки. Лучше уж я – другую. Может, про девочку-снеговушку?

– Ура-а!.. – обрадовались ребята.

– Жили были дед со старухой, – начал дед сказку. – Детей у них не было. Скучно без них. Вот и решили дочкой обзавестись, вырастить ее у себя в огороде. Нагребли с весны бадееку снега. Поставили снег на храненье в ледник. Когда на улице потеплело, взяли бадейку закопали в капустную грядку, а сверху на эту же грядку - рассаду. Долго ль, коротко ль, капуста стала расти, завиваться в тугие белые кочаны. Однажды в полночь пришли стариц со старушкою в огород и видят: из самого крупного кочана вылезает девочка-снеговушка. Обрадовались они. Забрали малышку домой.

Живут старички. Довольны, что с ними теперь такая пригожая дочка, вся белая-белая, а голосочек тихий да ласковый, как у синички. Растёт девочка помаленьку. Раз отпросилась она в лес по морошку. Пошла с корзиной. Ягод набирала. Вдруг головушка закружилась. Девочка и заблудилась. Идёт по лесу ли, по болоту ли, сама не знает куда. Увидела коровью дорожку. Пошла. Потом овечью дорогу увидела. Та её привела к избушке. Избушка на куричих лапах, с дверью из бычьего пузыря, окон нет. Девочка сразу смекнула: избушка — с особинкой, неземная. Попросила её:

— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом.

Куричы лапы переступили с места на место. Перед девочкой дверь отворилась. Перешагнула она порожек. Видит: печь, на печи старище сидит и сажу переграбает.

Старище поморщился:

— Уф-фу! Чую русский дух! Чего надо?

Снеговушка сказала:

— Покорми меня, дедушка.

Старище кивнул на стол, где белел горшок с молоком. Девочка выпила молоко.

— Теперь покачай меня! — старище слез с печки, забрался в корыто под воронцом.

Снеговушка стала качать.

— Спи, старикан, не ворочайся,

Под тобой не вода, не обмоишься.

Заснул старикан. Снеговушка вышла на волю. Слезы из глаз.

Подбегает баран. Спрашивает:

— О чём плачешь?

— Боюсь старика. Чую: проснётся, снова нянчить заставит.

Баран отвечает

— Садись на меня. Отвезу, куда надо.

Села девочка. Поскакали по овечьей дороге. Да недолго. Старище той порой пробудился. Догнал их. Загрёб снеговушку в охапку, принёс в избушку, улёгся в корыто, снова велит:

– Качай!

Что делать? Пришлось покориться.

– Спи, старикан, не ворочайся,

Под тобой не вода, не обмочишься.

Уснул старикан. Девочка вышла из дома. Стоит на крыльце, вытирает ладошками слёзы. Бежит мимо бык. Останавливается:

– О чём горюешь?

– Заблудилась я.

– Сядь на меня. Веником-банником хвост мой закрой. Откроешь его, когда почувствуешь опасность.

Скачет девочка на быке. По овечьей дорожке. Потом – по коровьей. Слышит, сзади стариик догоняет. Вот-вот схватит. Она веник и подыми. Хвост быка вокруг старицкой шеи и обкрутился. Упал старикан, забарахтался, завизжал, да тут и остался лежать середь лесу.

А бык в деревню примчался. Стариик со старушкой молоком быка напоили, овсом накормили. Тут бык брякнулся хорошенъко о землю и превратился в доброго молодца.

Снеговушка его целует и обнимает. Вскоре свадьбу сыграли. И стали жить молодые со старицами в согласии и любви, добро наживать да людей уважать…

Закончилась сказка. Однако кто-то из нас почувствовал: дедушка Веня что-то недосказал. Поэтому и спросил:

– А как того доброго молодца звать?

– Степаном, – ответил дедушка Веня.

– А где он теперь?

– Воюет с фашистами.

– А Снеговушка?

– Ушла на реку бельё полоскать. – Дедушка встал. Подошел к окну. Увидел ступавшую от реки молодушку в полушибке. На плече у нее коромысло с корзинами.

В них белело бельё – Вон она! – Дедушка ласково засиял. – Наталья Вениаминовна. Дочка наша. Она же и – Снеговушка. Только знаете что, ребятки. Вы ее ни о чем не расспрашивайте. А то она расстроится и заплачет.

Мы так и сделали. Уходили от дедушки, как немые. Даже когда молодая, зайдя в прихожую, поздоровалась с нами, погладив каждого по головке, сдержали себя, не сказав ей ни слова, словно боялись нарушить тайну, которая охраняет дедушкин дом, а вместе с ним и тетю Наташу. Как знать, может и вправду она превратилась в Наталью Вениаминовну из Снеговушки.

КОРОЛЕВСКИЙ БУКЕТ

Васильки. Их так просто было обидеть. Перейди ветерок в крепкий ветер, и корзинки цветов, осыпаясь, покроют всё поле. Но была у цветов и защита. Рядом с ними стояла июльская рожь.

Васильки рядом с рожью. Что-то было в этом сурое, чуть ли не боевое, напоминавшее наших отцов. Все отцы у нас были там. Рядовые и лейтенанты. Капитаны и майоры. Может, даже и генералы. На большой среднерусской равнине, где окопы и блиндажи, и степная трава, над которой летит фашистский снаряд.

До войны от нас – даль немереная. А от школы, где я учусь, до хлебного поля каких-нибудь две ста шагов. В тот день, который выпал на день рождения мамы моей, я решил подарить ей цветы. Поэтому в поле и оказался.

Васильков было много, и я их нарывал за одну минуту. Чтоб не измять, завернул в два больших лопуха и аккуратно положил на дно парусиновой сумки, в которой носил учебники и тетради. Хотел уже, было выбраться на дорогу, да приманили колосья. В колосьях, будто в засаде, прятались зерна. Были они еще слабые, бело-молочные, как в манной каше. Захотелось попро-

бовать. Ну, хотя бы чуть-чуть. Вместо сладких конфет, которыми мы не лакомились с тех пор, как на нас навалилась война.

Но я удержался. Нельзя. Не положено. Даже как-то нехорошо.

Выбираясь к дороге, я увидел взрослых ребят. Было их человек 12. Все, как один, в рубахах навыпуск и красных повязках на рукавах. Комсомольский патруль, понял я. Вон и сам Федя Мельников, секретарь комсомольской организации школы, девятиклассник, высокий, решительный, очень сильный, кого побаивались порой даже ребята из выпускного.

– Попался! – крикнул Федя ликующим басом. Первым ко мне он и подбежал. Обхватил мое туловище руками, стал вертеть, ощупывая рубаху, под которой предполагал найти колоски. Ничего не нашел. Забрал мою сумку. Расстегнул и лихо перевернул, наблюдая, как падают из неё в сухую дорожную пыль учебники и тетради. Упал туда же и лопуховый кулёк со свежими васильками.

– Цветы?! – Мельников, кажется, растерялся. На хлебном поле, чего бы, казалось, и брать, как не хлеб! А тут ничего не значащие цветочки? Однако юнцы из его команды цветочкам не удивились. Хихикая, подмигнули друг другу. Кто-то насмешливо:

– Это он для своей невесты!

Мельников, словно поверив насмешникам, уставился на меня, как если бы было мне не восемь лет, а все восемнадцать.

– Для невесты?

Я отчаянно покраснел.

– Нет у меня никакой невесты!

– А цветы для кого?

– Для мамы. Сегодня день рождения у нее. Вот и нарвал.

Теперь уже Мельников покраснел. В то же время и рассердился. Рассердился на пересмешников, но

еще больше, кажется, на себя, отчего под его крупным носом в разные стороны, словно поводья, дёрнулись вспыльчивые морщинки. Тут же он вскинул правую руку, показывая на поле, где сквозь колосковые стебли, моргая, смотрели на нас синеющие цветы.

— А ну за ними! Живее! Живей! Пусть наш парень, — при этих словах Мельников, словно младшего брата, мягко обнял меня, — день рождения мамки своей встретит, как полагается — с васильками!

Право, маме моей ещё никто не дарил такое обилие васильков, которые не поместились в школьную сумку. И я их нёс в обеих руках. На меня, пока я добирался до дома, все, кто встреч попадался, смотрели с непониманием и восторгом, как на явившегося из сказки василькового короля.

СЕНОКОС

Солнце. Река. Летящие всполохи сена. Женщины в белых косынках. Кто — с граблями, кто — с вилами. Почти все они — наши матери или сестры. Письмоноски, связистки, служащие конторы. Сегодня у них — сенокос. Раньше сено для почты заготовляли колхозы. Теперь сама почта заготовляет. Лишь четыре быка выделила деревня. Рада бы дать и людей. Да никак. Всех мужчин поглотила война.

Кони на сенокосе. Все они и податливы и послушны. Однако быки? До чего же они медлительны и упрямые. К тому же они совершенно не понимали, куда им надо идти, когда поводья располагались не где-нибудь прямо за ними или над ними, а в стороне. Выходит, возчице надлежало быть не рядом с быком, а вверху, на возу.

Но сидеть на возу слишком круто и высоко, к тому же, ещё и страшно — а вдруг сорвешься и полетишь?

Выручают своих матерей сыновья. Иные из них так вверх и рвутся, абы быть всех выше и всех отважней,

и чтобы ветер тебя теребил, срываая с плеч пузыряющуюся рубашку.

Смелость такая приходит не к каждому и не сразу. Поначалу я тоже боялся сидеть на возу. Но после того, как два раза подряд спокойно доехал до сеновала, и бык, чуя вожжи, был мне послушен, я, кажется, осмелел и готов был ездить верхом на возу уже постоянно.

И вот я опять въезжаю на сеновал. Въехав, остановился. Сразу и крики девушек из-за воза. Приставили лестницу к сену и ждали, когда я спущусь по ней вниз.

— Спускайся! — кричали мне, дабы тут же самим забраться наверх и начать разгружать.

Однако спускаться по лестнице для меня — слишком просто. Я на лестницу даже не посмотрел.

— Не нужна она мне! — отвечаю в задор.

Охают девушки, видя, как я сорвался не вверх головой, а вниз, ныряя с размаху в нижнее сено, где с большим удовольствием и остался, испытывая блаженство. С минуту, не меньше, лежал я около ног моего быка, видя сквозь сено его спокойную голову и глаза, которые, всматриваясь в меня, ничего, кроме покоя, не выражали.

Из ребят на вывозке сена оказался сегодня и Чиликов Гришка. Очень уж он хотел быть похожим на командира. Потому и кричал на быка, как на немца, который воюет с его отцом. Но бык оказался из тех, кто не любит большого шума. Долго Чиликова терпел. Наконец, не выдержал. Около сеновала, вместо того, чтоб войти в распахнутые ворота, взял и свернул специально в кусты, где воз мгновенно и развалился.

Сенокосцы тут же на парня с криками, готовы были и похлестать. Да Гришка спрятался, незаметно сбежав сквозь кусты, где зарылся в песок и лежал, пока кто-то, спускаясь к реке, не промчался по телу его подпрыгнувшими ногами.

Домой я в тот день отправлялся на белой кобыле. Та была с жеребчиком-сосунком. Работавшая вместе со

всеми мама моя попросила меня увести кобылу с жеребчиком в город. Сдать ее на конюшню. Та находилась около нашего дома, через дорогу. Я умел управлять лошадьми, поэтому и поехал.

Перед полем, из перелеска, пугая меня, неожиданно выскоцил Гришка. Забрался ко мне на телегу и тоже — домой.

До города ехать нам через три маленькие деревни. Гришка выпросил у меня поводья. «Люблю, — хвастливо заговорил, — когда лошади слушаются меня, как военного командира. Быки не слушаются, а эти... Как шёлковые, где я.

Проехали крайнюю к полю деревню, там — и вторую. Перед третьей, Гришка вдруг повернул к ивняковым кустам. Лошадь зашла в них и сразу остановилась.

— Ты чего? — вспылил, было, я.

Отдавая мне вожжи, Гришка сбивчиво объяснил:

— Кобыла-та вон, с молоком. Как бы оно не брызнуло на дорогу. Боюсь. Вдруг споткнется и упадет. А то и помрёт. Дадим отдохнуть.

Жеребенок тут же к матери и метнулся. Чуть согнув передние ножки, стал сосать у нее молоко. И вдруг рядом с ним, я глазам своим не поверил, пристроился Гришка. Не заметил я, когда и с телеги он соскочил. И вот уже там под кобылой, около белого жеребенка, приложился к соскам и давай их — чмок, чмок. Минут пять от них он, пожалуй, не отрывался. Наконец, поднялся из-под кобылы.

— Теперь ты! — Гришка показывает на лошадь, чтоб и я пососал кобыльего молочка.

— Да ты что! — я, кажется, возмутился.

В город я уже добирался без Гришки. Даже кнутом ему погрозил, абы он исчез с моих глаз и больше мне навстречу не попадался.

Вот и дом мой родной. Только я попадаю в него не сразу. Поворачиваю к конюшне. Тут и дядя Алеша, ко-

нюю, один из тех, кто уже побывал на войне. Встречает меня в старой воинской гимнастерке, одна нога в сапоге с галошкой, вторая – на деревяшке.

Принимая кобылу, конюх справился у меня:

– Всё у нас ладно?

– Всё в порядке, – ответил я, и чуть вздрогнул, почувствовав где-то под правой ладонью лобик шустрого жеребенка. Жеребенок, казалось, просил прощения у меня, извиняясь за то, что кашал мамино молочко не я, а другой, то есть Гришка, кого почему-то он не запомнил.

ПОТЕРЯШКА

Целые сутки плыл Аркаша на пароходе, никому невидимый и неслышный. И вдруг по прибытию в город проявил себя, как герой.

Мальчик только что был на пристани средь приехавших пассажиров. Переходил на дощатые сходни. Как вдруг случилась давка и толкотня. Кто-то даже упал. А женщина в вязаной кофте с большим чемоданом и маленькой дочкой, не удержала под мышкой котомку, и та, махая лямками, полетела в реку.

– О-ой, кто-нибудь! – закричала она. – Поймайте! Там хлеб у меня! Четыре ковриги! Хлеб-от на серьги выменяла в Усть-Толшме! Без хлеба-то мы чего? Пропадем!

Среди платьев и пиджаков промелькнул кто-то маленький, в тюбетейке. Тут же он выпорхнул из толпы и мгновенно взлетел, сразу бухнувшись в пропасть реки. Скрылся вместе с котомкой. Мог бы, пожалуй, и утонуть. Да вода оказалась ныряльщику лишь по шею. И он, захлопав руками по-лягушачьи, поймал котомку, не позволяя ей уйти от него.

И вот он к берегу выбредает, в съехавшей к носу малиновой тюбетейке, белой рубашке и пиджачке. Котом-

ка, видимо, не из легких. Потому он её не несет, лишь подталкивает руками. И та сама перед ним продвигается по воде. Вывел к подножию трапа, прямо к ногам растерявшейся пассажирки.

— Вот! — посмотрел на неё снизу вверх.

Как уж женщина ухитрилась забрать занятymi руками свои подтопленные ковриги, никто из встречающих не заметил. Ибо все, кто тут был, искали глазами не женщину, а парнишку. Кто-то вглядывался в него, как в настоящего водяного. Кто-то махал растопыренной пятерней. А лысый дедушка, взблескивая очками, даже весь горлом побагровел, настолько громко благодарил бесстрашного прыгуна:

— Ух ты! Ух! Орлёночек! Да и только!

Но тут ещё один голос:

— Не орлёночек, а орёл!

Это Миша, мой брат, кто поправил азартного деда, протянув к реке руку, чтоб помочь ныряльщику выбраться из воды.

С братом своим я прихожу на пристань, считай, каждый день. Очень уж нам по нраву встречать приплывающий пароход.

Минуту спустя, когда народ склынулся, мы с парнишкой разговорились.

— Ты откуда взялся-то, этакой храбрый?

— С парохода, — ответил мальчик. Было ему лет шесть. А может, и меньше. Прилипшую к носу яркую тюбетейку он снял и старательно выжал. И вновь её посадил на мокрую головёнку. — Вообще-то я дальний, — добавил он, — из Ленинграда. Здесь впервые у вас.

— А с кем приехал?

— Один!

— А вещи твои?

— У меня их и не было.

Непонятно нам:

— А родители где?

Мальчик трудно вздохнул:

– Кабы знать...

– Это как?

Малый сразу же омрачился:

– Папка там, на войне. Мамку пулей убило. Ещё бабушка у меня. Она, как и мы, на телеге сидела. Самолёт с крестами, когда мы ехали к поезду, расстрелял нас из пулемета. Лошадь перепугалась. Галопом – в поле. Вместе с бабушкой ускакала. Ну, а я рядом с мамой. Обоих сбросило за дорогу. В крапиве лежали всю ночь. Утром нас местные жители подобрали. Мама была уже неживая. Ее на кладбище увезли. А меня посадили на поезд. В вагон не пустили: не было мест. Так я, как белка – скок, скок. И крыша – моя. На ней в Вологду и приехал. Ну, а после с какими-то тетками попал на маленькую реку. Увидел, что все садятся на пароход. Ну, и я на него...

Рассказывая, мальчик проникся к нам простодушным доверием. Поэтому сам себя и назвал:

– Аркашкой меня зовут.

Мы с братом задумались не на шутку. Как нам и быть? Сейчас мы с ним возвратимся домой. А Аркашке куда?

Решили, что к нам.

Втроём и явились в наш двор. Мама была, как всегда, на работе. Встретила нас соседка тетя Маруся, подруга мамы. Она только что возвратилась из ближнего рва, где вместе с нашей Ромашкой пасла и своих двух молоденъек коз.

– Это кого вы сюда? – спросила тетя Маруся. Спросила придирчиво и сурово, разглядев рядом с нами переминавшегося Аркашку.

– Хорошего человека, – ответили мы.

Тетя Маруся вздохнула:

– Зря вы его. Мама будет ругаться. Вы – бедные. Вам и самим нечего есть.

Мы рассердились:

— А куда ему деться? — спросили соседку — У него тут нет никого. Только мы.

Аркашка занервничал. Завертел головой. Для чего-то снял непросохшую тюбетейку. Повернулся к открытой калитке и, фыркнув носом, направился к ней.

Мы вдогонку ему:

— Ты куда?

Аркашка кивнул куда-то в сторону улицы:

— К бабушке Нюре. Она, наверное, тут. Пойду ее поищу.

Миша тут же Аркашку остановил. Понял, что тот стесняется. Не хочет для нас быть обузой. Поэтому и уходит.

— Да, ты голодный, поди? — спросил у него.

Аркашка замялся:

— Нет. Ничего. Добрых людей было много на пароходе. Они делились со мной. Кто — луковицей, кто — хлебом. Тетя Наташа прошлогоднюю репку вон даже дала.

— Тетя Наташа? Это не та ли, которая хлеб в реку обронила?

— Она.

— Слушай! — Миша вдруг вспомнил вчерашний день, то, как ходил он со мной в поле за Черняково. Там нащипали мы по кепке хвоцей, тех недозрелых ещё побегов, из которых потом папоротник выходит. Половину из них мы вчера же на кирпичах во дворе своем и сварили. Ели их, как растительный суп. Почему бы такое же варево нам сегодня не сделать снова?

— Сейчас мы тебя макаронинами накормим! — Голос у Миши был обещающий.

Аркашка сразу повеселел. И с удовольствием стал смотреть, как мы принялись готовить еду.

Я бежал в кладовую за кепкой с нащипанными хвоцами. А Миша — к стоявшим ребром на земле кирпичам, на которых блестели банки из-под консервов, где

когда-то была мясная тушенка, а теперь в них будут кипеть полевые хвощи – пища детей Великой Отечественной войны, та, что и вправду сходила за макароны, приправой к которым был у нас малахитовый суп.

Пообедали мы. И сразу же растянулись на травке двора. Кто-то из нас задремал. Кто-то зевнул. А Аркашка, как будто и в сон провалился. К голове его тут же пристроилась наша Ромашка, то и дело, облизывая её.

Сегодняшний вечер был для нас, как волшебная сказка. Явилась с работы мама. И тетушка Пуша вдруг около нас. Раз в неделю тётушка приплывала из хутора в плоскодонке. Продавала в торговых рядах возле пристани яйца и молоко. Продав, сразу обратно и упльывала. А иногда на часок-полтора задерживалась у нас. Вот и сегодня она задержалась. Мама ее оставляла у нас ночевать. Но Пуша:

– К себе поплыву. Там у меня восемь козочек и козел. И курочек стая....

Уже уходя, баба Пуша уставилась на Аркашку. Тот только что пробудился и, зевая, вставал с лужайки едва не в обнимку с нашей козой.

– Смотрю, у вас гостенёк. Экой пригожий! Чей он? Откуда?

Об Аркаше мама узнала от нас. Поэтому и ответила нашими же словами:

– Приехал из Ленинграда. В дороге их постреляли. Маму у мальчика – наповал. И с бабушкой, видно, чего-то такое. С конём ее унесло. А куда? Никто не подскажет. Пропала, как дух. Теперь он один. Уведу его завтра в детдом.

Бабушка Пуша вздохнула:

– Сирота, получается?

– Потеряшка...

Аркаша, слушая старших, вдруг не по-детски развелновался. То и смутило его, что оказалась тетушка Пуша в такой же точно одежде, в какой была его ба-

бушка Нюра. Сарафан с широким подолом, кроличья легкая душегрея, платок, как шалашик, на голове и носатые, с пуговками ботинки. И лицом была она копией бабушки Нюры. Те же две складки на узеньком лбу, те же две ямочки над губами, и глаза такие же добрые, но с печалью.

— В детдом, говоришь, — грустно молвила тетушка Пуша.

Мама кивнула:

— В детдом.

— А что, коли я его в гости к себе заберу? — гостья тут же спустилась с крыльца. Повернулась к Аркаше. Кивнула ему с улыбкой:

— А, Аркашечка? Поедешь со мной в мою деревушку? Там лес у меня. Птички. Козочки. Речка за домом. Рыбку будешь с моим Елисеем ловить. Сколько лет-то тебе?

— Шесть лет.

— Елисей постарше тебя. Семь годочеков. Добрый он у меня. Всем котикам котик. Я вам и крючков из булавок назагибаю. Сама бы рыбку ловила. Да всё недосуг. А, Аркашечка?

Аркаша, право, затрепетал. По маленькому лицу его засквозила заря.

— А можно? — спросил он с каким-то робким переполохом.

— Ещё бы не можно! — ответила тетушка Пуша. Подошла к Аркаше. Левой рукой отодвинула от него вильнувшую хвостиком влюбчивую Ромашку, правой — прижала Аркашу к себе. Потом повернулась и к нам. Уважительно поклонилась:

— Ну, мы поехали!..

Никто и опомниться не успел, как что-то такое произошло. Произошло то ли в нас, то ли около нас. Словно к тетушке Пушке, равно и к нам, прилепилось нечто потерянное, родное. В глазах у Пуши, как и у мамы, блеснуло сырое.

— Мама! Мы их проводим! — сказали мы с Мишой.

Заторопился и Боря, наш младший братик, которому было четыре года.

— Пойдем через ров. Там, в черемухах, ёж...

Впятером и отправились к устью рва, где стояла причаленная к плоту Пушкина плоскодонка.

Пуша шла по скрипевшей траве, то и дело, глядя Аркашу по тюбетейке. Тот был счастлив. Словно получал ту особую ласку, которую не успела додать ему мать.

Был июньский прохладный вечер. Река, куда погружалось низкое солнце, была похожа на водолаза. От водолаза по всей её ширине скакали ящерки позднего света. Такие же ящерки были и около лодки. Аркаша смотрел на них, как на что-то вернувшееся назад. На что-то трогательное, родное, когда еще не было самолета, все были живы и улыбались явившейся тишине, в которой люди друг друга не убивают. И были рядом не только мама и бабушка, но и папа.

ЖИВО-ОЙ!

Почтальонка разносит по городу письма. Надо бы маме их разносить. Да она сегодня на сенокосе.

Почтальонку встречаешь ты. Та подает тебе тоненький треугольник. От кого? Ещё не взяв письмо из рук почтальонки, твое сердечко затрепетало. А вдруг оно не от папы? От командира его? Или товарищей по окопу?

Ты берешь письмо дрогнувшими руками. Разворачиваешь его.

«Здравствуйте милые! У меня всё нормально. Но и вы постарайтесь не унывать. Скоро этот кошмар закончится. Отправим зверя в его берлогу. Будет тихо, как до войны...»

Межу строчек письма какие-то жёлтенькие комочки. Да ведь это окопная глина! Один комочек даже чуть-чуть расплощен, а на нем отпечаток, да-да отпечаток мужского пальца. Значит, папа писал письмо из окопа. И в это время бомбил, наверное, самолет.

Ты понюхал письмо. Оно отдавало землей. Той землей, которая папу обороняет, спасая от тех, кто нас хочет завоевать. Ты в поклоне к письму. Целуешь.

Целует письмо и мама. Целуют и прибежавшие с улицы Миша с Бориском. На губах у нас вьётся самое теплое слово. Самое-самое дорогое:

– Живо-ой!..

КОПЬЁ

Ветер дул в спину, поднимая нас вместе с пылью и щепками над дорогой. В калитку двора мы не вошли, а влетели. Влетела во двор на наших затылках и водяная стена. Ах, какой это был настигающий ливень!

Мы – это стайка ребят, ловивших в Сухоне рыбу. Все мы были из тех небогатых семей, где работала только мать. Поэтому мы и старались – готовы были все утро глядеть на пробочный поплавок, чтобы выловить нашу рыбу. И вылавливали ее. И когда приносили домой нанизанную на ветку связку голавликов и плотвичек, мамы наши глядели на нас благодарственными глазами и улыбались: «Опять-то будет у нас уха! Завидуйте, люди!»

Однако сегодня не повезло. Не успели закинуть в реку наши удочки, как поднялся свирепый ветер.

До домов своих мы добежать не успели. Стояли под кровлей чужого крыльца, пережиная бурную непогоду.

Вой ветра и хруст ломаемых веток с каждой минутой все разрастался и разрастался. Качалась, вся, перегнувшись, черемуха над оврагом. На маленьком доме че-

рез дорогу прыгнула вверх оторвавшаяся доска. Чья-то порывистая клешня схватила с дороги зеленую лужу, с треском швырнув ее на забор. Тучи неслись, пытаясь столкнуть на своем пути кирпичные трубы.

И вдруг в тесноте несущихся туч, пересекая все небо, сверкнуло. Стояла весна 44-го года. И очень уж нам хотелось, чтобы сверкнула не молния, а копье. И чтобы оно было точным и долетело до логова главного змея войны, угнездившегося в Берлине.

Ангел, швырнувший копье, стоял где-то рядом, а может, он был среди нас. Нам, мальчикам, чьи отцы воевали с фашистами, было по 8 и 9 лет. Потому и летело наше желание, как копье, остриё которого обещало возмездие и победу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Какое просторное утро! А в нем – летящий по ветру шелест берез, всплески реки и дальний свист парохода, на котором домой возвращался с войны мой двоюродный брат лейтенант Владимир Баландин.

Окончил Владимир среднюю школу в 41-м году. И сразу, как и его ровесники, с кем он учился, – на фронт. Уплывал он с ними на пароходе. И обратно, четыре года спустя – на том же сухонском пароходе. Но уже без ровесников, оставшихся там, где стреляли и убивали.

20-летний кавалер ордена Великой Отечественной войны приехал домой с осколком в груди, который хирурги не удалили, потому что сидел он в двух сантиметрах от сердца. Покой и постельный режим, предписали ему.

Ну, какой тут режим! Владимир был легко возбудимым, азартным и заводным. У него и прозвище было – Порох.

Дома, где постоянный уют, где воскресные пироги, самовар и крыжовниковое варенье, так приветливо, так

спокойно. Но душа, у прибывшего с поля войны, была ветровой.

Рвался Владимир на стадион, где была деревянная вышка, откуда прыгали с парашютом отчаянные спортсмены. И Владимир – туда же, наверх. Его не пускали, но он прорвался. Летел с парашютом, как птица и, когда приземлился, вздохнул с огорчением: слишком уж был недолг полет.

И на Сухону рвался в стайке таких же чуть-чуть сумасшедших, как он. И, раздевшись, плыл за реку. Чтоб туда и обратно, без отдыха. И чтоб обязательно – первым. А когда приплыл предпоследним из четверых, то опять нешуточно огорчился.

Вечерами они, побывавшие на войне, встречались, как братья. Чаще всего встречались среди воды, на привязанных к берегу лодках. Им было что вспомнить, чем поделиться и что рассказать. Каждый готов был излить свои чувства до самого края. Кто-то был с красномехой гармонью. Кто-то с девушкой на коленях. Владимир же – с песней.

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?..

Песня приманивала к себе. Помнится как-то по летней поре, находясь невдали от флотилии лодок, где мы ловили с ребятами рыбу, я тут же бросил уженье и пошел, будто званный, на голос брата.

Владимир, увидев меня, подозвал к себе. Был он в расстегнутой гимнастерке. Сидевшие на соседних лодках его одногодки тоже были в военных рубахах.

– Мой двоюродный брат, – сказал он им, усаживая меня рядом с собой на лодочную беседку. – Хочешь песню еще?

Я смутился. Без слов было ясно, что очень хочу.

— А ну, Николай! — Баландин дал знак худощавому, сидевшему рядом с барышней гармонисту. — Нашу! Катюшу!

Развернув гармонику, Николай чуть посдался плечами, и гимнастерка выпрямилась на нем, блеснув боевой медалью.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

И гармошка, и песня подхватили меня своим пылким порывом. Так волнующе подхватили, что ощущил я себя не в лодке, а где-то там, над широкой рекой, куда полетела обворожительная «Катюша». Катюша ждала и, кажется, дождалась не только того бойца из дальнего пограничья, но и Владимира моего, а вместе с ним и его закадычных друзей, которые в эту минуту были счастливы оттого, что добирали душой всё то, что война от них отняла, и теперь с большим запозданием возвращала.

СИЛА

Не успел Никита Петрович спрятаться от Ванюши. Тот опять потащил его за собой. Вчера ходили они на реку смотреть, как бурлит в камышах пятнистая щука, гоняясь за окунями. Сегодня повёл внука дедушку в ближний ельник.

Никите Петровичу вроде бы не до леса. Хватает дел и своих, особенно тех, что ждут его в огороде. Однако внук слишком смел, увлекателен и настойчив. Дед в нём не чает души и ни в чём ему, кажется, не откажет.

Потому и сейчас, прихватив корзину, он направился с внуком к опушке елового леса. Корзина для урожая,

каким богато нынче болото, пустив в буйный рост сабельную траву. Корнями ее, величиной и формой, похожую разве на сабли, дед бабушку поправляет, выгоняя из всех суставов её наследственный ревматизм.

Идут старый и малый то по мху, то по иголочному подстилу. Солнечно и тепло. Птички еле слышны. Вместо них глухо охает мох да комар кому-то жужжит, требуя, чтоб ему уступили дорогу.

Молча ходить, внук с дедушкой не умеет. Лес для него, как огромная горница на запоре, и он хочет туда. Очень хочет. Оттого и вопросы один за другим.

- Дедо, а с волком ты когда-нибудь расправлялся?
- Один только раз, когда отбивал от него барабана.
- А чем отбивал?
- Батогом.
- А с медведем?
- С медведями дел не имел.
- Они страшные?
- Этого я не знаю.
- Ты их чего? Ни разу, что ли, не убивал?
- Не было случая.
- А если бы был?
- Зачем я его буду бить, коли он ничего мне худого не сделал. Путь живёт себе на здоровье.

Подойдя к болоту, дед оставил Ванюшу на берегу.

– Отдохни, – посадил его на упавшую елку, чьи корни, как когти кикиморы, знай, покачивает вверху, отчего казалось, что все они мальчику угрожают.

Ванюша был не из робких. Показал кикиморе язычок, а потом и сжатую в кулаке еловую шишку:

– Я тебя не боюсь! – и снисходительно улынулся.

Однако сидеть, ничего не делая, вскоре Ванюше поднадоело. Дедушка где-то в болоте. Чавкает, вырывая сабельники из хляби.

– Пойду, прогуляюсь! – сказал Ванюша. И потихоньку побрёл по сухому месту к большой семенной сосне.

Та стояла, бронзово-золотая, с перевалами хвои вверху, в которой вдруг кто-то зашевелился.

«Не ходи туда! Там медведи!» Некому было это сказать. Потому Ванюша и поспешил к спускавшемуся по дереву толстобокому карапузу с поворотливой головой, откуда всматривались в него восторженные глазёнки. Ванюша сам не заметил, как такой же восторг проявился и у него. И он радостно поспешил к золотистой сосне. Ещё больше он осмелел, когда толстобокий спустился на землю и что-то, ласково проурчав, побежал встреч ему. Вернее не побежал, а заковылял, но так стремительно и усердно, что оба они оказались друг возле друга. Сразу же стали бодро топтаться, баражаться, обниматься, а минуту спустя, захлёбываясь от счастья, плясать и визжать.

Этот визг услышал дедушка на болоте. Услышала визг и медведица среди ёлок, где она лакомилась грибами. И оба поняли: что-то произошло, и это грозило для их малышей серьёзной бедой. Потому и рванули к сосне.

Никита Петрович был в трансе. Понял, что внучек его повстречался с медвежьей семьей. Медведица-мать – это сила, какую не остановишь.

Горячие мысли так и скачут в дедовой голове. А вместе с ними и повеление. «Оборони-и!» – приказывает оно.

И вот, сделав отчаянную пробежку, потеряв на бегу картуз с рукавицами, дед уже у сосны. Где-то вблизи трещит деревьями и медведица-мать.

Слава богу, старый не опоздал. Успел к шумной парочке первым. Вот они, два развлекателя – мальчик и медвежонок. Всё в той же веселой возне. Играют, как могут играть лишь счастливые дети. Прыгнув, Никита Петрович забрал обоих, вскидывая на грудь. В левой руке – Ванюша. В правой – отпрянувший медвежонок. Ванюшу он тут же швырнул куда-то в кусты. И медвежонка, встрепенувшегося под локтем, тоже швырнул,

попадая в медведицу-мать, уже поднявшуюся на лапы, чтоб разорвать Никиту Петровича на куски.

Ох, как отчаянно всё завизжало, заверещало! Ванюша голос свой подавал из кустов, медвежонок же – из-под прочно стоявшей над ним свирепой мамаши.

Медведица развернулась, пройдясь оскалом зубов возле вставшего перед ней упорного человека. Бросаться? – спрашивала себя. И, приходя в себя, уступчиво отвечала: Нет, нет. Сынку ничего как будто не угрожает. Тут же она пропустила лапу куда-то под свой отвислый живот, выгребая оттуда ревевшего медвежонка. Шлепнула по его коротенькому хвосту, что-то буркнула и пошла, направляясь куда-то к зеленым кустам, где, наверно, была медвежья опочивальня.

Пошагали домой и дедушка с внуком. Подхватив корзину с сабельником, Никита Петрович строго предупредил:

– Ни маме, ни бабушке, ни отцу, никому не рассказывай о медведях.

– Почему? – удивился Ванюша. – Мы же живые с тобой. И они живые.

– Руганным хочешь быть?

– Не.

– Вот поэтому и молчи.

Услышав хруст веток, Ванюша вдруг резко остановился:

– Стой, дедушка, стой! Нас с тобой, кажется, провожают.

Лесная горница, какую Ванюша всегда представлял затаившейся и закрытой, вдруг отворила свой отводок, и он увидел в ней не только кусты и деревья, не только мох и чьи-то на нём отпечатанные следы, но и главных её хозяев – медведицу с медвежонком. Они стояли в качающихся от ветра смородиновых кустах, водили туда-сюда чувственными носами и, кажется, кажется, волновались.

ВСТАВАЙ, СТРАНА

В КАЛИНОВОМ САДУ

Сегодня я в гостях у древней женщины, которая рассказывает о сыне. Переворачиваю листы альбома довоенных лет. Среди пожухлых фотографий – одна с портретом молодого удальца с искрящейся улыбкой на лице, которая как бы зовет тебя куда-то за собой. Куда зовет? – пытаешься понять. Хозяюшка квартиры, сузкая, маленькая, в козьей душегрейке, с пергаментным и скорбным не лицом, а ликом объясняет:

– Есть добры люди на Руси. Они и позаботились. Нашли в кармане сына мой домашний адрес. Туда и написали. Я тут же собралась. Вот так и свиделась с сыном. На неродном погосте. Среди могил. Там Коленька сейчас и почивает ...

Матери о павших на полях войны сынах всегда рассказывают с нежностью и скорбью.

Шёл 41-й год. Начало сентября. Одна из рот балтийского полка призатаилась в малолюдной слободе где-то около Богатырева. Слобода со всех сторон окружена осенними садами. Среди бойцов, кто в первый раз ввязался в перестрелку, был и вологжанин Колька Бутаков. Он – рядовой. Еще вчера гонял с ребятами футбол, и вот – боец. Тот самый, кто закончил 10 классов и пока не знал, кем в этой жизни ему быть.

Голос Левитана взбудоражил всю страну. Одновременно, словно грозовая птица, поднялся ввысь и песенный призыв:

«Вставай, страна огромная...»

Всё в этом мире повернулось в сторону беды. Кольке Бутакову рано было на войну. Но он пришёл в военкомат с поддельным годом своего рождения. Суровый военком, заметив в метриках подтирку, сердито промолчал, но против отправки на фронт не возражал.

Оптимистичные и молодые. Их-то как раз война и забирала, чтобы отправить всех туда, где шел кровавый бой. Кому-то из них жить? Кому-то и не жить?

Жить предстояло Кольке за Невой. В саду, где поспевала горькая калина.

В руках у Кольки карабин. Ствол меж калиновых ветвей. Направлен к дальнему двору, где затаился враг. На мушку то и дело попадают темные мундиры. Ствол плюется пулями, которые поют, как осы, отбирая у фашистов жизнь.

Такая же оса попала и в стрелка. Колька мог бы и упасть. Но не упал. Упасть не дали колкие калиновые ветви, в которых он застрял, и те его держали, как попавшего врасплох любителя чужих плодов.

Смеркалось. Где-то рядом пискнула синица. Был дан сигнал к отходу. Рота отошла. А Колька, как стоял среди калиновых ветвей, так и стоит. Ну, как живой. И карабин с ним рядом, готовый к выстрелу. И совершил тот выстрел снова Колька, не знающий того, что он убит. Так, во всяком случае, представилось старушке Бутаковой, кого я слушал через семь десятков лет после войны, невольно постигая горе матери, не отпускавшее ее от сына, такого верного родной стране, такого несмышленого и молодого, кто налегке ушел в глубокое, как ночь, небытиё.

ГИДРОПЛАН

Город Тотьма. Синее небо. Вверху, где берег с кинотеатром, слышится рокот. Тут же – и тень. А за тенью, потряхивая крылами, спускается гидроплан. Две реки под его ныряющим фюзеляжем. Сухона с Песьей Деньгой. Слышно, как бухают грузные лыжи, и машина, покачиваясь, плывет. Спешит к ликующим горожанам.

Там и сям замелькали флагшки, пионерские галстуки, кепки и бескозырки. Кто-то визгнул от радости. Кто-то подпрыгнул.

Мне всего пятый год, и я мало чего понимаю. Но рядом Миша, мой брат, ему 9 лет, и он мне весело объясняет:

– День авиации! Праздник! Сейчас кого-нибудь заберут – и туда! – пальчик его показывает на небо. – Да-вай-ко и мы! Может, и полетаем!

Мы побежали к рыбившей воде. Там стоял гидроплан. Стояли и те, кто хотел, как и мы, оказаться в его салоне и, взлетев, оказаться вверху, где мерцала крыша кинотеатра, а над ней – молодая небесная синева. Однако нас к гидроплану не пропустили. Кто-то во френче с воротником, на котором горели кубики командира, говорил, словно пел, упиваясь радостью и восторгом.

Миша так и метался, так и рвался туда, где вещал командир, и я боялся, что он вот-вот отцепится от меня, и я останусь на берегу, так и не сев вместе с ним в летательную машину.

Однако не нам, а кому-то из взрослых улыбнулась возможность забраться вслед за летчиком в гидроплан.

Минута. Все замерли в ожидании и, как только машина, подняв волну, побежала с рокотом по реке, а потом, покачнувшись, взлетела к маковкам тополей, все, кто был на мостках, закричали и замахали трепещущими флагшками, выражая артельный восторг. Гидроплан, дав круг над городом, ринулся на посадку. Чтобы опять кого-то выбрать из тех, кто встречал его, как хозяина поднебесья.

Было чувство смелого привыкания к чему-то необычайному, что было сродни юношеской мечте. О, как хотелось нам полетать! Но, увы. Праздника авиации мы больше не отмечали. Наступил 41-й. Война. Гидроплан улетел туда, где бомбили и убивали.

Теперь мы с братом спешили к пристани, откуда отчаливал пароход, увозивший юношей города на войну. Там, на западе каждый вечер горел и горел дальний закат, в котором грезились нам бегущие с красным знаменем рядовые, сержанты и капитаны. Кому-то из них предстояло не возвратиться. Кому? – спрашивало в груди. Но никто на это не отзывался.

У будущего, как у немого, не было голоса для ответа. Была лишь хвойная линия горизонта. На нее и глядели наши неопытные глаза. И теперь, спустя семь с половиной десятилетий, они вглядываются туда. Только видят уже не елки на горизонте, а узнаваемый нами со звездами на крылах гулко рокочущий гидроплан. Словно он возвратился из прошлого, специально выбрав для этого солнечный день. Загрузил нас, как самых первых, из тех, кто тогда за год до войны на него не попал. И с тяжелыми брызгами оторвался от Сухоны с Песьей Деньгой. Поравнялся с макушками тополей и пошел круто вверх, уносясь в зовущее небо, где нас, кажется, кто-то ждал.

ИСЧЕРПАННЫЙ ПУТЬ

В давнюю пору через село Никольское проходил санный путь. И шли по нему обозы, как из Вологды, так и Тотьмы, направляясь в сторону Солигалича. Именно этой дорогой и отправилась тайно на Украину группа колхозников из колхоза «Объединение». Все они были из сосланных кулаков. И отправил их в эту дорогу председатель тотемского колхоза «Объединение» Васи-

лий Каминский в надежде на то, что посланцы вернутся назад. И не с пустыми руками, а с семенами тех самых культур, что дают обильные урожаи.

Соблазн побывать на далекой родине и остаться там навсегда, был велик. Однако никто из гонцов на землях своих родителей не остался. Все вернулись в «Объединение», где ждала весенняя посевная.

Рисковал председатель Каминский, ибо мог потерять не только своих земляков, кого сюда завезли, как врагов существующего режима, но и сам оказаться среди арестантов. Вторично.

Но всё обошлось. Посланцы за семенами все оказались людьми благородными, честными и горячими до работы. Возвратились на новую родину и сразу впрыглись в посевную страду.

Райкомовское начальство не сразу поверило в то, что на землях района можно брать урожай не по 5-6 центнеров зерновых с десятины, а по 17 и 18, в три раза выше, нежели собирали до этого раньше. И свекла с морковью стала расти, как если бы кто давал им гигантскую силу. Удивляли и все остальные культуры, словно росли они не на севере, а на юге.

Колхоз у всех на глазах превращался в зажиточное хозяйство. Мало того, что люди не стали бедствовать от нехватки хлеба, масла и молока, так они и соседям начали помогать, вытаскивая их из повального прозябания. «Объединение» стало не только в районе, но и в области на слуху.

Продолжалась такая жизнь лет 12, а то и 15. Даже в войну не бедствовали в колхозе. Были и деньги, которыми можно было помочь сражающимся на фронте. Колхоз посыпал их на танковую колонну. Посыпал и посылки, где были валенки, полуушубки, носки, телогрейки и рукавицы. Не зря же товарищ Сталин за такую поддержку на имя Каминского отправил срочную телеграмму, где его задушевно благодарили.

Минули те времена, когда земля в окрестностях Снежной, Малиновца и Войницы, где жили переселенцы, была подобна цветущему саду, и всё росло, плодоносило, благоухало. Теперь в поселках никто не живет. Все разъехались, отправляясь туда, откуда когда-то подняли и погнали. Теперь здесь крапива и полевица. А крепкий хозяин, каким был Василий Каминский, пока не нашелся.

Унывать ли от этого? Нет! Думать, надеяться и искаль, зная о том, что путь колхозно-совхозный себя исчерпал. Теперь путь другой. Но какой? Ответить на это может лишь голос русской земли, каким вещает нам мать-природа, подсказывая дорогу, которой идти и идти, чтобы прийти и попробовать жить той особенной жизнью, которой завидовали бы все.

ОЧАРОВАНИЕ

Нас семеро. Здесь, в деревне Медведево, живем вторую неделю. Сами мы городские, из Тотьмы. Сюда приехали на уборку колхозного урожая. Вот и сегодня, весь день были в поле. Дёргали лен. Устали. Сейчас возвращаемся к месту ночлега.

За бывшим погостным двором открывается улица рубленых в лапу колхозных домов. В последнем из них, под березами над рекой с давних пор никто не живет. Сюда нас и поселили.

Сышен скрип отворяемого окна. Это наша соседка, она же и экономка, кто готовит для нас щи и кашу, топит печь и ставит на стол утром и вечером самовар. Зовут ее Маня. Румяная, с ожерельем на шее из свежих рябиновых ягод, в платье с желтенькими цветами, она все время куда-то торопится, даже минуту на месте не посидит. Завидев нас, спешит сообщить:

— Хозяйничайте, ребятки! Оставляю одних. Каша в печи. Самоварчик кипит. Сами давайте. А я побежала.

Дом у Мани рядом, за огородом. Там ребеночек у нее. А по-за домом подворье, где стоят корова и поросенок. Торопится Маня, чтобы всюду успеть. В колхозе она на разных работах. На сегодня из этих работ осталась одна — сбегать в поле, где мы теребили колхозный лен: все ли там ладно, и надо ли что после нас поправлять?

Маня сама еще как девчонка. 19 годиков. Замужем. Но с мужем жила только месяц. Ввалилась война. И мужа забрали. Год уже, как воюет. Связи, однако, с ним — никакой. Отчего и горюет она. Чтоб убавить тоску, ставит по вечерам на кухонный подоконник старенький патефон. Увидев нас из окна, поправляет ребенка на груди и справляется деликатно:

— Я вам, ребятушки, не мешаю?

— Нет, нет, — откликаемся мы и тоже слушаем вместе с Маней то, как поет Изабелла Юрьева про встречи и расставания, про загадки души, про любовь на земле, которой дано, несмотря на войну, продолжаться и продолжаться.

Из-под берега, где лепечут ивовые кусты, слышно, как шлепают весла. Мы отвлекаемся. Ночлег куда от нас денется? Подождет. Сворачиваем к реке.

Вниз по реке на маленькой лодке спускается дедушка Тимофей, единственный из мужчин Медведева, кого не отправили на войну. Деду за 70 лет. Староват. Письмоносцем он здесь. Один на шесть деревень. Возит из города почту.

Лодка причаливает к плоту. Дед, увидев нас, зазывающе взмахивает рукой. Письма, какие — в Медведево, нам сейчас и отдаст.

Мы чего? Мы готовы помочь старому человеку. Забираем все письма и все газеты. Тут же быстро — на верх. Отправляемся по домам.

На душе у нас смутное ожидание. Смущает нас то, что не знаем, чего колхозникам отдаем: то ли добрые

вести? То ли уведомления, от которых бледнеют лица у матерей?

В руке у меня пахнущее войной тоненькое письмо. И отдать его должен я нашей Мане. Нерешительность заплела мои ноги, и я с грехом пополам поднимаюсь на низенькое крыльцо.

— Теть Мань...

И вот она, молодая, красивая, в платье с желтенькими цветами, выбралась на крыльцо. Улыбается. Но, увидев письмо, обрывает улыбку:

— От Сашеньки, или ...

Нас семеро, и мы, как спрятавшись, договариваем за Маню:

— Или от командира, кому положено сообщать об убитом бойце.

Маня нас не услышала. Да и как тут услышишь, если мы эти несколько слов, едва начав, тут, же и потеряли, настолько сильна была в нас вера в жизнь.

Убегает Маня домой, в пылком трепете и тревоге. Через пару минут — назад. Взмахивает письмом. Кого-то из нас — в охапку. Целует и обнимает:

— Жи-ив!!!

Светится Маня не только алыми щёчками, но и ягодками на шее. А на ситцевом платье ее от волнения даже цветочки переменились. Были призрачно желтые. Стали, как золотые. И в глазах — сменившаяся картина. Смотрит Маня на нас, а видит собственного супруга. Мы догадываемся об этом. Отчего всем нам сразу становится хорошо. Мы улыбаемся. Тут же все, как один, верим в то, что муж нашей Мани так и так возвратится домой. Возвратится именно с теми, кого война убивала, но не убила...

Неожиданно загремело. Прямо на нас, чуть дымя, как на тройке гнедых, поехала туча. Сразу и дождь. Мы едва успеваем перебежать с крыльца на крыльцо. И вдруг, прорываясь сквозь дождь, как из дивной стра-

ны, божественный голос. Потому и слышно его, что Маня открыла окно, из которого к нам:

А здесь шуршит еще сухой листвой ненастье,
Осенний дождь шумит всю ночь в саду.
Я берегу свое былое счастье,
Ты не придешь, но я тебя здесь жду...

Это Маня. Стоит с ребенком возле распахнутого окна. И, моргая, слушает патефон. Мы тоже слушаем. И нам верится в эту минуту: слушают Изабеллу Юрьеву все-все, к кому прикоснулось очарование.

БЕЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ

Внизу, на зеркальной воде лежали улицы города. Казалось, они смотрели в будущее свое, пропуская сегодняшний день, где была булыжная мостовая, тени тихих домов, какие-то сухонькие старушки с корзинами на плечах, возвращавшиеся из леса с ягодными дарами, машущая ручонками босоногая малышня и колонна гнедых лошадей, везущих в белых мешках зерно нового урожая. Над возами вверху плыл плакат с крупно выделенными словами: «Всё для фронта! Всё для победы!»

Протрубил грузовой пароход, причаливая к плотам поворотливую баржу. Протрубил следом и пассажирский, куда по сходням тут же и хлынули пассажиры. Среди отъезжающих юные-юные новобранцы, все, как один, светолицы, в пиджаках, со слабой улыбкой, приправленной чем-то не очень уверенным и прощальным. На войну уезжают, и последний десяток шагов по причалу идут налегке, позволяя сестрам, невестам и матерям нести свои котомицы. Возле сходен, сбились, сгрудились, образуя плачущий круг.

— Не раскисать! — полетело над головами. Это Алешка Аникьев, самый рослый из новобранцев, кому поручили быть старшим, пока будут плыть вверх по Сухоне до казарм, где новобранцев и разберут, отправляя туда, где война.

— Алешечка! — Девичья ласковая головка так и льнет к плечу жениха. Но уже убирают трап. Некогда и прощаться. Аникьев почти без разбега влетает в пробызги пены над колесом, попадая на нижнюю палубу, где его подхватывают ребята.

Новобранец так весь и вывалился вперед, нависая над поручнем парохода. Машет рукой. С губ, как ягоды, скочущие слова:

— Людочка-а! Я — с тобой! Считай, что я рядом! Не унывай. У этой войны век короткий! Вернемся, как победители! Жди-и...

Казалось, только что оттолкнулись от пристани. Поплыли. И вот уже ночь. А за ней — и заря.

Сентябрь 41-го. Подвиги на войне совершают не только герои, но и те, о ком никто не расскажет. Отряд сухонских добровольцев так и канул в бывестность. Хотя не совсем. Об одном из них Алексея Аникьеве рассказал мне мой добрый знакомый, ветеран последних трех войн Александр Иванович Линьков.

— Война с Гитлером разбросала, кого куда, — поведал он мне. — Многих поубивало в самом начале под Ленинградом еще в сентябре 41-го.

Алешке сначала везло. Но как-то в местечке под Ораенбаумом он был ранен осколками в обе ноги. Идти не мог. Отстал от пехоты, которая отступала в сторону Ленинграда. И тут колонна фашистских Фольксвагенов. Алешка забрался в кусты при дороге, около склада с какими-то запчастями. И надо же такому случиться. Колонна против склада и задержалась. Что оставалось Алешке. Или сдаваться? Или бежать? Но бежать он не мог. Поэтому принял самое горькое для себя — раздви-

нул кусты, достал из кармана гранату и, что было силы, бросил в кузов Фольксвагена, откуда уже выпрыгивали фашисты. Не прятался. Даже привстал на израненные колени и стал стрелять из походного пистолета. Пять раз нажал на курок. И всё. Почувствовал, как его подняли на штыки. Там, вверху, на штыках он с белым светом и рас простился.

Рассказал мне об этом один из наших, кто тоже был ранен, скрывался, как и Алешка в тех же самых кустах. Однако не высунулся оттуда. Оттого и живой. И меня просил, чтоб я никому об этом не говорил. Я, однако, не удержался. Уже после войны встретил Алешкину Людку. Ей и не надо бы может, да рассказал. Ах, как рыдала она. После этого больше я с ней не встречался. Боялся за девушку. Боялся и за себя. Хотел бы всё это забыть. Но как? Такое не забывают...

НЕПОКОЙ

Великое русское поле, поросшее юным лесом, чертополохом и лебедой. Здесь когда-то работали агрегаты, выращивая хлеба. А теперь тишина. Лишь глубокой осенью среди дикой травы поднимается что-то бывшее, трудовое. Может быть, это тень забытого труженика полей, кого разбудил непокой, и он встал, чтоб понять: будем жить мы на грешной земле? Или – нет?

Неспокойная тишина. Неожиданно в лоне ее что-то чутко зашелестело, как от лопастей хлебной мельницы, запустил которую тот, кто опять становится хлеборобом.

Неужели такое не сбудется? – спрашиваем себя. И молчим, принимая действительность полным сердцем.

ИГРАЙ, СУДЬБА

ХОРОШО БЫ НЕ ПРОМАХНУТЬСЯ

После вечернего с радугой и румяным закатом лопочущего дождя ночь была оглушающе тихой. И вдруг с тонким визгом и скрежетом продрало до изморози в затылке. Почивавший в родительском доме 25-летний Никита Пикин вздрогнул ресницами, соображая, что этот неистовый визг слышит он не во сне. «Ежа бы вам в нос», — проворчал, подступая к окну.

Вглядевшись в майские сумерки, он увидел на низком крыльце нежилого дома через дорогу двоих незнакомых, невесть откуда-то взявшимся мужиков. Грабителей Пикин ни разу не видел, и вот почувствовал — это они. Засунутая в скобу подтоварина, которой налетчики вырывали с петлями дверь, мотоцикл под крыльцом, беловатая провись тумана и бойко плывущий меж туч, как по проруби, ясный месяц — все, казалось, способствовало разбою, происходившему без опаски, что кто-то может остановить.

Никита вытянул шею, недоуменно уставившись на крыльцо. Третий день он живет в Тилибайхе, в малолюдной, с семью дворами деревне, где родился и вырос. Как и в прошлые годы, приехал из Вологды в отпуск. Спокойней итише места, считал он, нет, и не будет. И на! Скрип и стон издает нежилой пятистенок, последний хозяин которого вечно в катаниках с галошами и до дыр разношенной телогрейке дедко Миша

Горохов помер этой зимой, не оставив наследника на жилье.

Никита стоял, опираясь локтями о горничный, крытый kleenкой створчатый стол, на котором в двух чугунах зеленела рассада капусты.

— Это как же? — заговорил сам с собой отпускник. — Дом ничейный, нет обронщика, так и грабь его, кто сумеет?!

Сзади мягонько прошуршал обитый ватным подбоем низ отворившейся двери. Мать с отцом. Отец пристроился слева. Мать — справа. Перемолвились меж собой:

— Прежде иконы искали. Теперь загребают все к ряду.

— Лихо-лихоньки! Никакой-то управы над ними. Хоть бы кто пошибчая шумнул.

— Сказано в точку! — Никита решительно отодрал прилипшие к новой kleenке голые локти.

От луны, плескавшей лучами в оба окна, в горнице было чуть присветленно, и Пикин, дойдя до белевшей шарами старинной кровати, снял со стены центрально-го боя ружье, с которым отец иногда пображивал в сосны за белкой. Возвратившись к столу, прилег на него животом, чтоб открыть у окна шпингалет.

— Держись, флибустьеры!

Мать с отцом только-только что не нависли на рассторопных руках ретивого сына.

— Никитушка-а! Ты чего-о?

— Да я для острастки! В воздух! Пусть знают, что есть тут кому защитить деревушку!

— Не надо! — Отец осторожно, как бомбу, отнес централку назад. А мать суеверно перекрестилась:

— Жить тебе тут четыре недели. А нам — постоянно. Это ведь нёлюди! — ткнула пальцем в окно. — В сто раз окаянней врагов. Не знаешь, как с ними себя и вести. Дён десять назад тождо двое сюда приезжали. На легковушке, как баре. Замок на дверях висел. Так они его ло-

миком – раз. Ходят по комнатам. Ищут то, чего не теряли. Сосед Валерьян, мужик здоровущий, пошел, было, к ним. Потребовал, чтоб убирались. Да как, ты думаешь, варвары эти? Вышли с ним на крыльцо и спросили у Валерьяна: где-ка он проживает?

Тот спроста-то и покажи. Взгоготнули они: «Домик твой из какого лесу поставлен?» Валерьян им по-честному: «Из большого». Тут который-то вынул спичечный коробок, чиркнул целой щепоткой и говорит: «Коли так, то гореть будет лихо!» Вот как ноне еще бывает. А ты расхрабрился на них из ружья. Да они б после этого всю Тилибаиху – в головехи!

Послышался бешеный треск – дверь скосило и с рваным куском косяка опрокинуло вниз. В стене, будто вход в преисподнюю, зазияла дыра. Взломщиков так туда и втянуло.

Ошеломленно, в три пары глаз наблюдали Пикины за лучом карманного фонаря, что вышаривал в мраке комнат домашнюю обстановку.

– В третий раз уже попадают, – покачал головой отец. – Дверь-то, думаешь, навсегда приколотишь гвоздём к косяку. Да не тут-то, лети ваша жизнь. Завтре, видно, опять для меня работенка.

– Толк-от какой! – заметила мать. – Они ведь могут залезть и в окошко. А то и в трубу, как нечистые духи. Попадали к Дороновым осенесь, когда старики гостились у сына. По кирпичику разобрали, никто и не слышал. А богатство какое? Самовар, икона, кадушка с мясом да телевизор. Все, как демоны, подняли через крышу.

Луч фонаря осветил столовое с порушенной дверью крыльцо. Полетела с порога подушка. Следом за ней – и перина.

– Шакалы! Не брезгуют даже этим! – Отец прозрительно бросил ладонью к окну. А мать добавила с ядом:

– Может, чего бы сграбали и побаще, да опоздали!

Взломщики к мотоциклу не торопились. Перегнувшись в спине, уселись на старенькие перила и, закурив, о чем-то заговорили, досадуя, видно, на пятистенок, что тот обманул их и не дал того, чего они собирались в нем взять.

«Откуда такие подлюги берутся? – думал Никита, глядя на выпукло-длинные спины незваных гостей. – С чего они так ведут себя смело? Опоганили дом, и теперь, как ни в чем не бывало, сидят. Будто знают, что их тут боятся. А что? И боятся. Вот я... – Пикин почувствовал, что краснеет. – Боюсь, не боюсь, а чего я один?» – пробубнил про себя... От мысли, что этих налетчиков надо поймать, а поймать невозможно, сердце его сдавило обидой. Сейчас они все, что нахапали, подберут, сядут на свой мотоцикл – и прощай деревушка. Поедут, естественно, в город.

Так и случилось. Бросив в коляску добычу, налетчики эавели мотоцикл, оседлали его и тронулись с места. Однако не вправо, где город, куда их Никита мысленно проводил, а влево, где за овсяным полем, осиновой рощей и хвойной рединой струилась река.

Никита учゅял, как, задевая ребра, хищно ударило сердце, точь-в-точь у охотника при погоне в ночи за опытным зверем, которого надо не упустить.

Чтоб успокоить родителей, он зевнул, притворяясь, что больше не может противиться сну и, вернувшись к кровати, упал на нее.

Мать с отцом потихоньку ушли. Пикин мигом поднялся. Мысли в его голове так и бегали, так и скакали. Приводя их в порядок, старательно вспомнил прожитый день. С утра он ходил на реку, изловив голавля и язенка. После сажал в огороде картошку. Затем принялся за дрова. Колол их, пока не пришел к нему участковый Ваня Моторин, друг детства, с кем его повязала дорога до Устья, где находилась средняя школа, куда они бегали ежедневно, отмеряя туда и обратно одиннадцать вёрст. Теперь Моторин живёт в посёлке газовщиков. В Тили-

байху, если его не держала работа, приезжал на каждое воскресенье. Здесь у него престарелая мать. К тому же, как и Никита, имел пристрастие к летней рыбалке. О чем они между собой толковали? Да так. О крючках с поплавками. О том, на какую наживку лучше клюет. Договорились, что завтра с зарей отправятся к Щучьему перекату, где начали брать на донку лещи. На этом они и расстались.

«К Моторину!» – понял Никита. Вдвоем-то они хоть с кем совладают. И с этими тоже. Прихватят с поличным, чтоб поутру провести их, как нехристей, по деревне. Да что по деревне - по сельсовету, а может, и по району! Чтоб каждый, глядя на них, знал наперед, кто они есть и чего от них ждать.

На улицу, чтоб не шумнуть, спустился Никита через окно.

Молчаливо, таинственно и сурово лежала земля на кануне зари. В муравах проулка, желтея носами, бродили проснувшиеся скворцы.

По-заячий спорый и прыткий, в фуфайке и легких полусапожках, шел Никита в ночи, невидимый и неслышный, мерно покачивая ружьем. Дом тетки Ниссы, матери участкового, был крайним к полю. В дверь Никита стучаться не стал. Прошел палисадом к окну, выходившему к косогору с калиной. Встал на лавочку и казанками двух пальцев просыпал в стекло торопливую дробь. Моторин тут же и вырос над ним просунутой в створки окна коротко стриженой головой.

– Не спишь? – удивился Никита.

– Рыбаки разбудили.

– Эти? На мотоцикле?

– Они.

– Ты, может быть, и не видел, – сказал Никита, – они у дедка Михайлова дома вычигнули дверину.

– Видел. А что?

– Давай их за шкворень!

— Ну, а потом?

Удивился Никита. Работник милиции, а не знает, что надо в подобных случаях делать.

— Садим в отделение!

— Можно и сдать, — согласился Иван. — Только вряд ли чего им будет за это.

— Почему-у?

— Для того чтобы их наказать, нужен состав преступления. А тут его нет.

Никита враждебно сузил глаза.

— А чего тогда есть?

— Есть глумёж! — Голова участкового скрылась. Из сумерек дома послышались скрип половиц, шуршанье одежды и голос:

— За это они и ответят! Иду-у!

В милицейскую форму Моторин мог бы не одеваться. Однако был он малого роста, ниже даже Никиты, к тому же тонок в кости и походил на невыросшего парнишку. И это его угнетало. Из-за чего чаще, чем надо, он облачался в казенную форму, в которой выглядел строже и старше. Сбежав со ступенек крыльца, махнул фуражкой к серевшей дороге:

— Успеть бы!

До реки километр, даже меньше. Шли, старательно вслушиваясь в туман.

За яровыми дорога нырнула в лес и стала от рослых, сомкнувшихся где-то вверху полуголых ветвей, мелко-клетчатой и стемнелой, точь-в-точь рыболовная сеть, которую выбросили на берег.

От побитой вчерашним дождем придорожной травы потянуло дымком, а затем и хрустом ломаемых сучьев. Перед тем как им разделиться, Моторин шепнул Никите, чтоб тот был с централкой поаккуратней и ни в коем случае не стрелял.

— Так возьмем, — подмигнул он ему, ступая пообочью проселка к опушке.

Пикин сунулся в лес. Хвойные веточки мокро погла-дили по лицу. Сквозь деревья были видны полускры-тый туманом пойменный берег, сверкающий искорками костер и приткнутый к кустам мотоцикл.

Подойдя к наклонной с чернеющей чагой березе, Никита остановился. У костра эти самые. На перине - брюхатый, лет тридцати разопревший михряк, от широ-кой грузинской кепки, куртки с молнией, серебривших-ся кнопками джинсов и импортных бродней казавшийся иностранцем. Чуть подальше - на белой, впечатанной в пень подушке - крупно скроенный, в вязаной с ки-сточкой шапке на длинной, как кабачок, голове молодой бородач. В руках у обоих по поллитровке. Пили водку из горла, не закусывая ничем.

Не только водка, но и перина с подушкой, свобода туманного берега, тишина, безлюдие и костер распола-гали молодчиков к разговору, который вели они, не опа-саясь, что кто-то может им помешать.

– Без бабок нынче хана, – говорил толстобрюхий. – Добывать их стало трудненько. Народ какой-то пошел сволочкой. Всё-то надо ему унюхать. Но пока, слава бо-гу, я вне подозрений. Ты-то как? На коне?

Бородач, сделав пару глотков из бутылки, пренебре-жительно сплюнул:

– Пожалуй, на кляче.

– Ты и на кляче?

– Справедливый один тут завелся. Роет ямку, чтоб я в нее рылом.

– Так купи его!

– И купил бы. Да слишком правильный человечек.

– Не умеешь, – начал было пузан, да в кустах при дороге около мотоцикла хрустнул валежник, и на опуш-ку, раздвинув ветки, выбрался участковый.

– Подымайтесь, – сказал он негромко.

Толстяк, опрокинув бутылку, вскочил с перины, как с острого шила. Растиерялся и бородач, только виду не

подал: бывал, видать, не в таких переплетах. Сидел он на пне с хладнокровием скучного будды, кому на все и на всех наплевать. Лишь когда участковый сделал к нему настоящий шаг и потребовал: «Ну, а ты чего, худо слышишь?» – оскорбленно метнул в его сторону бородой:

– Кто такой?

– Участковый Моторин, – назвался Иван.

Бородач вызывающе, с радостной злостью подбросил в руке поллитровку и, допив остаток, швырнул ее резко через плечо, попадая в реку. Затем, посмотрев на приятеля, усмехнулся:

– Спроси-ко, Егор, чего гражданину Моторину надо?

Усмешка мгновенно перескочила на щеки Егора. Он повернулся к участковому крытую импортной шкурой дородную тушу:

– Чего, извиняюсь, вам здесь угодно?

Участковый презрительно промолчал.

– Станислав! – дурачась, пожаловался Егор. – Он чего-то со мной разговаривать не желает. Поговори лучше сам.

Станислав снисходительно усмехнулся.

– Мы здесь, кажется, отдыхаем.

– Кончился отдох! Пойдете в деревню. Вот с этим! – Иван показал на перину с подушкой. – Унесете туда, откуда уперли!

В свете костра было видно, как по слоистой шее Егора вскинулась темная краснота. Однако не он ответил Моторину, а небрежно поднявшийся Станислав.

– Не слишком ли многое хочешь, товарищ начальник?

– Самую малость. – ответил Иван.

– То-то вон и оно, – Станислав пнул к ногам участкового черную головешку. Пнул туда же и сползшую наземь подушку. – Мала у тебя властишка. По погонам ты кто? Лейтенант. А нам, чтоб на равных, подай не ниже,

чем подполковник. Мой совет: отправляйся-ко лучше туда, откуда пришел. Не осложняй себе службы.

Участковый уперся.

— Повторяю, — сказал он с упорством, — пойдете в деревню, — и, отведя назад руку, строго погладил по кобуре.

Станислав был, видать, из отпетых ребят.

— Пугаешь, начальник, — сняв с головы высокую с кисточкой шапку, он для чего-то сунул ее за ремень и пошел к участковому с легкой улыбочкой, как к невесте.

Моторин стоял по колено в седой прошлогодней траве и, скрывая волнение, ждал. Четыре года работает он участковым и ни разу еще не выхватывал из кобуры на ремне милицейский наган. Неужели сейчас?

Никита смотрел из засады, страдая. Чернобородый придерживал свой разогнавшийся шаг. Было ясно, что он перехватит руку Моторина до того, как она отстегнет кобуру и, отняв револьвер, откровенно выкажет радость веселого хама, которому нравится унижать. Пикин вскинул ружье.

Выстрел был неожиданным. И налетчики, словно кто заморозил им руки и ноги, стеклянно застыли. Когда обернулись, то разглядели на фоне наклонной березы одетого в ватник детскую с централкой.

— Живо в деревню! — скомандовал Пикин. — Да ба-рахло, ба-рахло заберите!

Ему подчинились, не прекословя. Весь его вид говорил, что он рассусоливать долго не будет, и если попробует кто-то из них сделать что-то не так, то пальнет из ружья.

— Ну, а это? А мотоцикл? — заикнулся было Егор, на-мереваясь бросить поклажу в коляску.

— Обойдитесь без мотоцикла!

Они шли друг за другом по клетчато-влажной дороге. Первые двое тащили, ворча, подушку с периной. Вторые молчали, держа начеку пистолет и ружье.

Моторин испытывал маленький стыд и огромную гордость. Стыд за себя, а гордость за друга, который его так блистательно выручил из беды. Кабы не Пикин, быть бы ему в эту ночь без оружия. Виной тому стал бы его слабодушный характер. «Наверное, в органах мне работать нельзя», – думал он, ступая бок о бок с Никитой под низким свесом темневших ветвей.

– Тебе бы в милиции-то работать, – сказал.

Пикин не понял Моторина:

– Ты чего?

– Точно тебе говорю. Шпана бы тебя боялась и уважала.

– Нет! – отмахнулся Никита. – В милицию надо тому, кто умеет сдерживать норов. А я? Я недолго бы там наработал. И потом, в психологии надо кумекать. Ну чего вон я знаю про них? – Пикин хмуро взглянул на пыхтевших шагах в двадцати под пуховой поклажей понурых громил. – Кто они? Ведь, поди-ко, там, у себя на работе больно вежливы и культурны. А тут? Тут стервятники, в нос бы им бомбу...

Пахло зелеными лужами и облаками, плывшими в этих лужах вместе с прохладой и тишиной. На пологой горе, далеко за березами Тилибахи, у чернеющей кромки земли, полыхая зарницами, молчаливо играла сухая гроза.

Налетчиков завели к участковому в дом. Моторин, не мешкая, позвонил в отделение, чтобы оттуда прислали машину. Потом с выражением строгой заботы уселся за стол составлять протокол.

Правильно или неправильно говорили ему о себе горожане, но он записал их слова, заставив под ними и подписьаться.

– Нам бы чайку, – подал голос Егор.

Участковый принес из сеней холодной воды.

Над печью качнулась дырявая занавеска. Никита едва не смущился, почувствовав горлом толчок от чьего-то

упорного взгляда из темноты. Поднял голову и увидел в одной из дырочек занавески живой, недовольно мерцающий глаз. «Тетка Нисса», — смекнул отпускник.

Старушечий глаз, поникшие горожане, пятнисто-серое зеркало на стене и косые с синью от улицы маленькие оконца — всё имело задумчивый вид и несло в себе нетерпение.

Милицейский Уазик пришел в Тилибаиху через час. По ступенькам крыльца, рундуку и короткому коридору простучали уверенные шаги. Дверь открылась. Скрипя высокими сапогами, вошел заместитель начальника отделения Рохин. Не поздоровавшись, прочертил круто склоненным подбородком к столу, за которым рядом с Никитой сидел Иван, мол, чего у тебя, кого и на чем прихватил?

— Вот, — Иван показал на скамью под стареньkim зеркалом в раме, где отдыхали притихшие горожане.

Рохин с воинственным видом, с каким забирают в милицию, прошагал от порога к скамье. Бросил взгляд на сидевших и вспыхнул, заливвшись краской неловкости и обиды.

Моторин, хотя и сидел к капитану наискосок и видел его только в профиль, однако по нервно вздернутому плечу с милицейским погоном почувствовал, что смутившийся Рохин сейчас на него разъярен. Но не это Моторина изумило. а то, что Рохин, склонив дородную шею, с учтивой пристойностью подал налетчикам руку, назвав и того, и другого по именам.

Не меньше Моторина был изумлен и Никита. Пикин не верил своим глазам. Капитан здоровался за руку с теми, кого полагалось везти в каталажку. Он посмотрел вопросительно на Ивана.

Участковый, моргая, горбатился над столом. Сухое лицо его жарко горело, словно настёганное крапивой, и выражало растерянность и протест.

Зато горожане преобразились. Они сидели с тихим достоинством потерпевших, с кем невежливо

обошлись, и они за эту невежливость, может быть, даже еще и спросят. Рохин сделал движение к табуретке. Однако садиться не стал. Поставив, стуча, на нее только ногу в высоком кожаном сапоге и взглядом прилипчивых глаз пробежался по лицам собравшихся так, как если бы каждый обязан был перед ним отчитаться.

— Ну и кого тут обидели? — бросил с усмешкой.

— Нас! — охотно пожаловался Егор, толкнувшись к Рохину всем своим хорошо упакованным в куртку на молнии телом.

— Каким образом? — Лицо капитана словно бы выплеснуло тревогу.

— Стреляли по нам из ружья, — сказал похоронным голосом Станислав.

Рохин так весь и вытянулся вперед, подаваясь над скиркнувшей табуреткой.

— Это уже серьезно, — отметил и обвиняюще, не мигая, уставился на Ивана. — Вы что здесь с ума посходили?

Моторин сидел с крупной испариной на висках. Криклиwyй вопрос капитана настолько его смущил, озадачил и покоробил, что он задрожал губами, с которых эдаким тонким комариком сорвалась свирепеющая улыбка.

— Вы кому? Кому верите, капитан? Этим уркам??! — Участковый боднул головой так круто и возмущенно, что фуражка, подпрыгнув, съехала на затылок. — Да они взломали дверь пятистенка! Проникли туда...

Капитан поднял руку, не позволяя Моторину продолжать.

— Разберемся, — сказал, снимая сапог с табуретки. Но участковый ударил рукой по столу:

— Вот и акт!

Капитан помрачнел.

— Какой еще акт? — Подошел скороспешно к столу. Взял бумагу и, не читая, согнул и засунул в нагрудный

карман. А потом приглашающим жестом показал горожанам на дверь:

– Вам советую вместе со мной.

Налетчики весело соскочили, точно позвали их на пирушку. Соскочил откуда-то сверху и толстый с мохнатыми лапами кот. пугливо метнувшись к приступкам печи, по которым взлетел, ныряя в родное надпечье.

Услышав стук лап, капитан запоздало взглянул на дырявую занавеску. Увидев в ней человеческий глаз, проворчал что-то злое и, развернувшись, стремительно ринулся за порог.

Станислав с Егором бросились следом за ним.

Сквозь летнюю раму стекла было слышно, как все они, жестко стуча каблуками, сбежали с крыльца. Тут же послышался басовый голос:

– Послушай-ко, Рохин! Нам надо вначале туда. Там у нас мотоцикл

– Залезай! – откликнулся капитан.

Хлопнули дверцы. Уазик взревел заведенным мотором и, разрезая колесами луговину, выправился к дороге.

Стало тихо в избе. В то же время и напряженно. Словно всё, что здесь есть, было грубо оскорблено и теперь приходило в себя, возвращаясь в привычное состояние.

– Это что же такое? – Пикин порывисто встал. И начал ходить, приглаживая хлопками ладоней густую ерошку сопротивляющихся волос. Мучался он оттого, что стал посторонним свидетелем пакостной сцены, которой обязан был помешать, однако этого так и не сделал.

– Объегорили нас! – Участковый дрожащей рукой снял фуражку с коротко стриженой, как у мальчика, головы, посадил ее на рогатку расставленных пальцев и, сердито крутнув, проследил, как она, хрупко кокая козырьком, полетела под стол.

Никита снова уселся. Было досадно. Ведь потратили целую ночь. Совершили, казалось бы, правое дело.

И на! Всё на смарку. Он почувствовал, как его забирает та мелковатая нервная злость, когда человек, не умея с ней сладить, нелепо бросается на людей. Он не заметил, как поднял голос, крикнув с вызовом и укором:

– Ну, а твой капитан?!

– Он не мой, – остудил его участковый. И Никита, смиряя норов, на какую-то пару секунд ощутил себя покупателем в магазине, кому недодали пятак, и он затеял копеечный бунт. Стало стыдно перед Иваном, и он, утишаю свой голос, добавил:

– Пусть и не твой. Все равно не пойму: почему со стервозами этими он за ручку, с улыбкой, как какой-нибудь родственник или приятель?

– Не дошло? – подивился Иван. – Эти субчики, кто, по-твоему, будут?

– Кто-о? Деляги, которые стряпают деньги. Кошельки у них лопаются от них.

– Стало быть, – подитожил Иван, – покупают, кого им надо.

– И его? – подивился Никита, имея ввиду капитана.

– Получается, да. – Участковый раздумчиво поднял голову. Чистый лоб его портила складка над переносьем. – Правда, это еще предстоит доказать.

– И ты? Ты за это возьмешься?

По худому лицу Моторина проскользнула растерянная улыбка, за которой скрывалась несмелость, а где-то за ней и надежда, что эта несмелость будет однажды одолена.

– Кому-то ведь надо.

– Еще бы не надо! – Пикин стиснул Моторину руку, снял с настенной катушки ружье и, закинув его на плечо, ступил за порог.

Далеко за темными спинами крыш, над еловой гребенкой водораздела разрасталась теплеющая заря. В ее слабых, с трудом дотянувшихся до деревни лучах голубели чердачные окна, срываются со стрехов роса и свистел никому невидимый соловей.

Улыбнулся Никита. Пошел прыгучей походкой вдоль заборов по единственной улице Тилибаихи, что тянулась от поля к полю.

От нижнего поля вдоль улицы протащило ревом моторов. «Едут», — нахмурился Пикин и уловил, как задергался нерв над губой.

Первым мчался Уазик с капитаном Рохиним за рулем. Мотоцикл где-то сзади.

Вспыхнули фары, свет которых ударил в глаза, и Никита, слепо моргая, отчаянно прыгнул к забору.

— Сволочьё! — заорал, ощущая лицом и руками холодную грязь, шибанувшую от машины.

Он не успел как следует возмутиться: мгновенно, как на экране кино, вырос украшенный касками мотоцикл. Забрызганный всплесками глины Пикин стоял в стороне от дороги и никому, естественно, не мешал. Но мотоцикл с двумя облачёнными в куртки мордатыми седоками, скрипя тяжёлой коляской, упрямо и нагло летел на него.

Никита почувствовал: надо спасаться, бежать впереди колеса, как послушному бобику, вдоль деревни, выставляя себя на позор. Обмирая душой, он покрепче расставил ноги, стиснул зубы — и никуда.

— Недобитый козёл! — услышал Никита сквозь рык мотора и от касательного толчка, каким боднула его коляска, взлетел, с треском вламываясь в забор. Исказившись от боли в ноге, которую, видимо, перешлибло, он привалился к столбу в заборе, не позволяя себе упасть. Удержав равновесие, он подождал, справляясь с кружением в голове. Но не справился с ним и, дрожа, приладил к плечу заряженное ружьё. «Хорошо бы не промахнуться», — пробормотал и нажал на курок.

В ОДИНОЧКУ ПРАЗДНИКИ НЕ ГУЛЯЮТ

Воскресенье. С утра весь поселок обволокло крепким запахом жаренины. Колют свиней, и во многих семьях к столу подается жареная печенка.

Поселок проснулся, но о себе заявляет пока что не-громко: главная жизнь склонилась в домах и бараках, где топятся печи. Народ на улице редок. Но все же он есть. Вон на пару с женой в фасонистой шляпе и полу-шубке выбрался подышать морозцем Иван Севастьянович Мякин. Как начальнику лесопункта, держаться надо ему образцово. А это не просто. Каждый встречный готов затащить его к себе в дом. При этом причину найдет такую, что неудобно и отказать.

Однако Мякин себе на уме. На широком его лице холодновато-вежливая улыбка, голос, хотя и игрив, да отпорен.

— Хочу в первородном виде остаться. К употреблению не готов. Гуляйте мимо!

Не всякий знает, как отнестись к словам начальника лесопункта, поэтому оставляют его в покое, и он продолжает идти по поселку под ручку с женой, глубоко запрятанной в желтую с пятнами шубу под леопарда, искусственный мех которой, переливаясь, так и играет фальшивым огнем.

Пройдет Иван Севастьянович со своей Ариадной Андреевной весь поселок. А потом повернет обратно, чтобы возвратиться домой, где можно позавтракать с аппетитом и, включив телевизор, покуривая, смотреть передачу за передачей. К такому отыху, где бы были прогулка, крепкий утренний чай и телевизор перед диваном, Мякин привык настолько, что о другом прохождении выходного он и думать забыл. И потому он весь внутренне подобрался, когда в раскрытой калитке

финского домика разглядел долгононогого и сухого, как ученический циркуль, технорука Цыпилёва, широкой улыбкой и умиленно-родственным взглядом дававшего Мякиным знак: «Сюда! Давайте, не обходите!»

Отказался Мякин, похлопав рукой в перчатке по животу:

– Рад бы, Павел Степанович, да не смею: гастрит.

Цыпилёв удивлен:

– Вроде, не было раньше?

Мякин согласен:

– Не было, да завелся. – И хочет пройти мимо дома технорука. Да Павел Степанович вдруг, раздавив на ладони ладонь, встряхнул локтями и рассмеялся:

– Против этой болезни есть у меня солодовое пиво! По кишочкам пройдет, как погладит! Чистый бальзам!

Не собирался Иван Севастьянович поддаваться. И не поддался бы ни за что, да явилось сравнение: «Где будет лучше?» Дома он целый день провалывается на диване. А здесь порасслабится, посидит час-другой с человеком. Павел Степанович – это тебе не какой-нибудь там работяга, с кем зазорно было бы сесть за обеденный стол, а воспитанный инженер, который имеет понятие о культуре. Глаза у Мякина затеплели.

– Так, говоришь, солодовое? – пробасил, пропуская вслед за хозяином дома свою Ариадну, чья шуба была настолько ворсиста, что еле-еле вместилась в калитку.

– На огородном хмелю! – Цыпилев деликатно остановился, поворотом высокой шеи и взмахом руки предлагая гостям одолеть три ступеньки крыльца и проследовать в дом. – Сам варил! Сам и в бочку его упечатал...

Не замочить губ вином, когда все веселятся – такого среди лесорубов не было и не будет. Свой ли, чужой человек, хочет того или нет, все равно он становится чьим-нибудь гостем. В одиночку в поселке праздники не гуляют.

Поздний завтрак, совпавший с обедом, всех жителей Митинского Моста посадил за столы, которые ломятся от закусок. Никто никуда не спешит. Разве лишь свинорезы ходят, пыхтя, от хлева к хлеву, пытаясь избавиться от работы. Но работы не убывает.

Семей в поселке несколько сотен. В каждой второй держат свинью. Держат ее до морозов, но чтоб завалить и прирезать дородную тушу – на это в семье уdalьца не найдешь. За ранее ищут на стороне, приглашая обычно бывалых, тех, кто умеет владеть убойным ножом.

Михаил Федотов – один из бывалых. Сегодня поднялся в четыре утра. Дома свинью заколол. У соседа. Еще у соседа. Потом за ним прибежали с другого конца поселка, куда ходить он не собирался, потому что колоть животин должен был там другой. Но другой заболел. Михаила везде угощали. Зная, чем это может закончиться, показывал уровень на стакане:

– Чуть-чуть, не выше этого положения. Иначе рука окривеет и в поросенка не попадет...

И вот позади двенадцать дворов. Столько же и стаканов. В распахнутом ватнике, галифе, широких кирзовых сапогах, щекастый и грузный, ступает Федотов середкой дороги. Шаг, хотя и тяжелый, но твердый.

Полдень. Небо только что отряхнулось от облаков, и в глубине его, золотясь плавниками, купается солнце. На душе у Федотова словно бы вьется веселая птаха, позывая его к беспрчинной улыбке.

Оказавшись без дела, Михаил смущился, не зная, куда теперь и пойти. Шел домой. И вдруг передумал. Потянуло встретиться с мужиками. С любыми. Кого он знал и не знал. С кем бы можно было разговориться.

Еще издали, у барака, где жила вербованная братва, он услышал веселый шумок. Подойдя поближе, среди молодых сезонников, одетых в новые ватники и ботинки, приметил Володю Раскова, нежно-румянного, с тонкой шеей холостяка, который закончил нынче Лесной.

Тем и пугал Федотова юный мастер, что был он чрезмерно наивен и доверялся каждому, кто находил к его сердцу подход. Начальство не углядело в парне тех притягательных качеств, что могли бы Раскова приблизить к нему, и держалось с ним на дистанции, какая всегда разделяет неопытных от бывалых. Володя же, как и любой неумелый работник, нуждался в поддержке. Искал ее там и сям. И нашел. Нашел у сезонных рабочих, чья дружба с Расковым была замешана на расчете. Этого Михаил и боялся

Видя, что четверо работяг подались рысцой к магазину, а остальные с Расковым тронулись к двери барака, Федотов сорвал с головы лохматую кепку и сделал ею отчаянный круг:

— Володя! Ну-ко, сюда-а!

Компания обернулась, кто-то сстроил ладонями птичку, взмахнув крылами, как бы пустив ее в сторону Михаила, да птаха к нему лететь, отказалась, и все рассмеялись, а мастер, под одобрительный возглас сезонников, прокричал:

— После! Сейчас не могу! — И исчез в общежитии вместе со всеми.

Расстроился Михаил. Понял, что парня сейчас напоят. Федотов стоял шагах в двадцати от барака. Сезонники, видно, ввалились в одну из комнат, где затевалась гульба. Он их не видел, но мысленно был среди них, что-то доказывал им на правах справедливого мужика, который всех дальновиднее и мудрее, протягивал руку к Раскову, намереваясь его увести. Пожалуй, он так бы и сделал. Во всяком случае, постарался бы вытащить мастера из барака и этим самым избавить его от корыстных дружков. Да тут до слуха его долетели нервные крики.

Федотов почувствовал: что-то стряслось. Он чертыхнулся и пошагал, сшибая носками сапог комья каменной грязи.

Навстречу попался завхоз Клеопатров, маленький мужичонко с уныло опущенной головой. Шел, поднимая ноги так тяжело, точно они прилипали к дороге, и он оттирал их с трудом.

— Чего это там? — спросил у него Федотов.

— Драка, — ответил завхоз.

Федотов ускорил шаг. Да что-то кольнуло у голенища. Он наклонился и вынул из сапога закрытый чехлом длинный нож. «Где бы оставить?» — подумал и подошел к крыльцу щитового дома. В дверях его разглядел десятницу Веру. Перехватив встревоженный взгляд десятницы, Михаил догадливо ухмыльнулся:

— Не мужа ли потеряла?

Десятница показала за палисадник, где стоял нежилой пятистенок, глазевший разбитыми окнами на стадион.

— Его увел туда Коля Дьячков.

— Для чего?

— Для какого-то разговору...

Федотов понял, что дело худое. Положив нож на выступ крыльца, заторопился на голоса. Минута понадобилась ему, чтобы обогнуть забор вокруг нежилого дома, откуда был виден весь стадион.

Кучка зевак с папиросками наблюдала, желая понять: кто возьмет в стычке верх? Или Борис Кореводин, спортивно сложенный, в сером костюме шофер лесопункта, что доставляет в поселок орсовский груз. Или сын пилорамщика Колька Дьячков, сухощавенький, с блеклыми усиками парнишка, вооруженный кривым коромыслом, которым махался так страшно, что нельзя было и подойти.

— После нас в больнице не лечат! — орал Колька, стараясь достать коромыслом до упирающегося спиной в железную штангу ворот Бориса, который, будто боксер на ринге, отскакивал от ударов и ждал момента, чтобы самому налететь на задиру. И он дождался. Кинувшись

под коромысло, успел до удара сцепиться с Дьячковым и, сжав его голову сильным захватом, стал жестоко ее наклонять, выворачивая из шеи.

Федотов прошел сквозь толпу суетливых зевак, развалив их на две половины.

— Паленая кура, нешто я уговаривать буду? А ну разойдись, покуда не размахнется!

Но драчуны не услышали: слишком были увлечены, и Федотов, вытянув руку, точно бревно, опустил ее с силой между их плеч. Драчуны, разделенные толстой рукой, как границей, не сразу и поняли, что случилось, однако, увидев стоявшего между ними взопревшего Михаила, сообразили, что драку уже продолжать бесполезно.

Кто-то шутливо скомандовал:

— По домам!

И тут все увидели, как к плечу Бориса, неизвестно откуда взявшись, прибилась, взмахнув полами пальто, его молодая жена, уводя мужика с футбольного поля, а Кольку Дьячкова, кипевшего от нерастраченной мести, взял под опеку Федотов, облапив ручищей его мословатую спину, скривив на ней косыми морщинами пальтецо.

— С чего это вы сцепились-то, как петухи? — полюбопытствовал Михаил, ступая с Колькой к центру поселка, откуда летела сквозь визг и хохот песня неистовой Пугачевой.

— Он меня недоростыщем обозвал, — ответил Дьячков.

— За что?

— За то, что я с его Верой разговорился.

Михаил не понял:

— Разговорился?

— Ну-у! Шел с ней вместе из магазина, то есть до дому ее провожал. Что ли, нельзя? Довел до калитки, а он тут и есть. Улыбается, ровно я глаз на нее положил, и спрашивает, как изверг:

— Понравилось?

— Понравилось, отвечаю.

— Так вот, недоростыши, — это меня-то он, при моем-то росте сто семьдесят пять сантиметров, — можешь, советует мне, еще с ней раза прогуляться. Но перед этим не позабудь заказать в мастерских костили, потому как я из тебя буду делать хромого... Разве бы ты, Михаил, такое стерпел?

— Да, ядрена-ворона.

— Вот и я не стерпел! Вызвал его побеседовать за поселок. Дуэль, не дуэль, но хотел проучить, чтобы хамством не занимался.

Федотов поправил:

— Это, Колюха, не хамство, а ревность! Известный сюжет. Так что ты на него не серчай. Все вы парни что надо! Только нервы у вас никуда. Нельзя из-за этого нам друг дружку увечить. Иди не так?

— Так, — согласился Колюха, освобождаясь из-под тяжелой руки огруженного Михаила. Освободился и вытянул тощенькое лицо, будто чему-то вдруг изумился.
— Ничего себе! А? Сам Иван Севастьяныч! Чего это с ним? Первый раз его вижу такого!

— Ого! — удивился и Михаил.

Мякин стоял, обхватив руками столб у забора. Рядом с ним Ариадна Андреевна, вся раскаленно-румяная от леопардовой шубы и тщетных стараний сдвинуть мужа с заклятого места, к которому он, казалось, прирос.

— Пойдем! — Федотов кивнул на жену начальника лесопункта. — Пособим.

Перепрыгнув канаву, они оторвали Мякина от столба, взяли его под мышки и повели, то и дело приподымая, отчего его ноги плыли по воздуху, не доставая ботинками до земли.

Сидеть в гостях на квартире у Мякиных лесорубы не собирались. Усадив хозяина на диван, готовы были уйти. Да Ариадна Андреевна возмутилась:

— Понравилось, отвечаю.

— Так вот, недоростыши, — это меня-то он, при моем-то росте сто семьдесят пять сантиметров, — можешь, советует мне, еще с ней раза прогуляться. Но перед этим не позабудь заказать в мастерских костили, потому как я из тебя буду делать хромого... Разве бы ты, Михаил, такое стерпел?

— Да, ядрена-ворона.

— Вот и я не стерпел! Вызвал его побеседовать за поселок. Дуэль, не дуэль, но хотел проучить, чтобы хамством не занимался.

Федотов поправил:

— Это, Колюха, не хамство, а ревность! Известный сюжет. Так что ты на него не серчай. Все вы парни что надо! Только нервы у вас никуда. Нельзя из-за этого нам друг дружку увечить. Иди не так?

— Так, — согласился Колюха, освобождаясь из-под тяжелой руки огруженного Михаила. Освободился и вытянул тощенькое лицо, будто чему-то вдруг изумился.
— Ничего себе! А? Сам Иван Севастьяныч! Чего это с ним? Первый раз его вижу такого!

— Ого! — удивился и Михаил.

Мякин стоял, обхватив руками столб у забора. Рядом с ним Ариадна Андреевна, вся раскаленно-румяная от леопардовой шубы и тщетных стараний сдвинуть мужа с заклятого места, к которому он, казалось, прирос.

— Пойдем! — Федотов кивнул на жену начальника лесопункта. — Пособим.

Перепрыгнув канаву, они оторвали Мякина от столба, взяли его под мышки и повели, то и дело приподымая, отчего его ноги плыли по воздуху, не доставая ботинками до земли.

Сидеть в гостях на квартире у Мякиных лесорубы не собирались. Усадив хозяина на диван, готовы были уйти. Да Ариадна Андреевна возмутилась:

— Нет! Нет! Так просто я вас не отпущу! Посидите! Ну-ко, так выручили меня! — И усадила обоих за кухонный стол.

Для Михаила такое сидение было чрезмерно опасным. Но отказаться он постеснялся.

Когда они вышли на улицу, Михаила шатнуло настолько сильно, что он пробежал почти сто шагов, оставив где-то сзади Колюнью. И тут же, увидев сквозь сумерки собственный дом, поспешил зайти на крыльцо и в потемках сеней нашарить дверную скобу.

Дома не было никого. Не включая света, Федотов сдернул с себя фуфайку, кепку и сапоги. Прилег было на пол. Но пол показался ему ледяным, и он, продрожав, перебрался на русскую печь.

Евстолья который раз, накинув на плечи овчинный шубняк, выходит к калитке. Смотрит вдоль улицы: нет ли где мужа? Да зря. Не видать. Мелькают фигуры людей. Из-под берега, где устоялась первая темень, хлестнуло сыростью мерзлой реки. А за рекой — малолетние елки. Вверху — синеперые стайки обдерганных туч. Бледная звездочка над закатом. В красном закате пасутся кирпичные трубы, похожие издали на коней.

— Коля! — Евстолья окликнула бойко шагавшего по дороге сухопарого паренька. - Ты Михаила, слушаем, не видел?

Узнав Евстолью, Коля весело выдает:

— Видел!

— А где?

— Там! — Коля кивает куда-то назад, вдоль огней, летящих по улице, как по строчке. - Кабы он не сбежал от меня, сейчас бы стояли мы вместе!

— А куда он сбежал?

— К своей благоверной!

Евстолья машет на парня рукой, отсылая его от себя:

— Проходи! Проходи!

Коля скрылся за поворотом. Евстолья же думает: «Где-ка он, демон стоногий? Ну-ко ушел съззаранья и все-то ведь нет...»

Вернулась Евстолья домой. Но дома ей не сидится. Опять и опять выходит к калитке. Вечер пошел на сближение с ночью. Крепчает мороз. Евстолья зачем-то идет на берег Волошки.

Не слышно, как на реке вырастает зеркальный пропой. Однако от пара, встающего медленно над водой, наносит сырой мерзлотой, и в эту минуту Волошка кажется слишком угрюмой, и человеку возле нее оставаться нельзя.

Ночь. Евстолья сидит у окна. Дети заснули. Затихло и радио на стене. Евстолья сидит и сидит, сторожа чутким ухом шаги. Но вместо шагов из холодных покоев летней избы вдруг доносится шум.

Забежать из зимней избы в избу летнюю ей понадобилась минута. Отворила легкую дверь, включила свет и увидела мужа, который слезал с нетопленой печи. Слез и уставился на Евстолью, пытаясь понять: почему, находясь на печи, он ни капельки не согрелся?

– Как же так? – удивленно пожал плечами.

Глаза у Евстольи блеснули веселым, куда-то девались худые слова, какими хотела встретить гулливо-го мужа, рот распахнулся, блеснув прохладою белых зубов:

– Хорош хозяин! Не где-нибудь – во своем дому заблудился! Ну-ко забрался на летнюю печь, кою мы третий год уже как не топим. Пойдем-ко на зимнюю поскорей! Там, небось, градусы с плюсом. Да не вздумай болеть! А то узнают, что ты на печи простудился – осмеют на весь свет!

Михаил был послушен. Перебравшись в зимовку, лежал на горячей печи, приходя в себя от озноба. А когда отогрелся, почувствовал праздничное блаженство, словно лежал он не на печи, а над дюжими му-

жиками, которые шли по улицам Митинского Моста. Шли, открыто и гордо, пронося его над собой, как сегодняшнего героя.

Деревня Стегаиха Харовского р-на, 1980 г.

КРЕПОСТЬ

Не ходил бы Колька Дьячков вообще в леспромхозовский клуб на танцы, да надеялся встретить ту, с кем однажды, сладко робея, он пройдёт по ночному посёлку и, учував в груди трепетание сердца, поймёт, что это и есть впечатление от настигшей его любви. Однако ему не везёт. Ни одна из девчят не открыла в нём своего жениха, с которым хотела бы остаться с глазу на глаз, принимая Колькины вздохи, поглядки и поцелуи. Неизвестно, как вёл бы себя он на этих танцах и дальше, кабы не Шура Щуровский, красивый задиристый холостяк, кто никого не стеснялся, лез всегда на рожон и безошибочно чувствовал девушек лёгкого поведения.

С Шурой Колька живёт по соседству. Дома через улицу. Так что видятся каждый день. Поглядеть, когда они вместе, значит, поверить: друзья, хотя особой приязни ни тот, ни другой не испытывают друг к другу. Встречаются, размахнутся руками, бросят ладонь на ладонь, поговорят в лучшем случае – и конец. Да оно и понятно. Колька видит в Щуровском старого парня, кому не жениться, наверное, никогда. Щуровский же видит в Кольке молокососа, с кем не будешь на равных ни водку глушить, ни ходить, глядя на ночь, к приманчивым молодухам.

Шура к танцам тоже не очень-то расположен. Выползает на них в те лишь дни, когда от него сбегает подруга.

Чтобы зря не скучать и напрасно время не тратить, появляется он на танцах в самом конце. Ему хватает ми-

нут двадцати – окинуть опытным взором всех подходящих девчят. Выделить бойких, стеснительных и капризных, в равной мере как стройных, тонких и налитых, отсеять ненужных от нужных и под игру последней пластинки броситься в омут танцующих, чтоб, поймав симпатичную рыбку, выплыть с нею из клуба в простор прохлады и тишины.

Сегодня Щуровский остался, кажется, без улова. Стоит рядом с Колькой около столика с радиолой. Волосы длинные и густые, будто парик. Одет вызывающе просто – в потёртые джинсы, пиджак и рубаху с воротом нараспашку. Ещё раз, окинув взглядом наполненный парами зал, кладёт на плечо Кольки руку и будто жалуется ему:

– Одни цацы и промокашки. По губе – да не по моей!

Колька ему не сочувствует. Он и сам бы пожаловался не прочь. Да какой от этого толк? Целый вечер он наблюдает за девушкой в бархатном платье с красивыми чёрными волосами, в которых сияла заколка, напоминающая звезду. Девушку эту он видел впервые. То ли взглядом своим, случайно брошенным на Дьячкова, то ли спокойной улыбкой, обращавшейся к каждому и ко всем, то ли ещё чем таким не особо понятным, но подсекла она Колькино сердце. Подсекла мгновенно, до радостной боли, и Колька, не зная, как ему быть, клянёт себя мысленно за несмелость. А тут ещё Шура над самым ухом бубнит, как весенний глухарь на току:

– Будет. Пойду-ко отсюда. Впустую вечер похоронил. – И вдруг без всякого перехода спрашивает Дьячкова: – Ты-то хоть взял кого на прицел?

Колька теряется:

– Взял. – И кивает на девушку с красной заколкой, проплывшую в паре с нездешним танцором.

Оценочным взглядом бывалого кавалера Щуровский отметил, что девушка сложена хорошо. Правда, слегка полновата. А в остальном – ничего. И лицо сим-

патично. Откуда взялась? И вспомнил, что видел её на неделе в столовой. Значит, из новеньких. Верно, закончила Кулинарный и вот приехала к ним на работу.

«А у Дьячонка губа не дура, — завидует Шура, — только едва ли чего от неё он отломит. Девушка-крепость. Такой завладеть мудрено. Однако чего не бывает. А вдруг повезёт?» И он поворачивается к Дьячкову.

— Поди, — подталкивает его, — станцуй напоследок и загребай с ней, куда тебе надо!

— Ты что-о?! — задыхается Колька, сопротивляясь, будто его посылают на верную драку. — Не видишь? Вон выставень-от большой. Ходит около, как привязан.

— Покажи, покажи.

— Вон улыбается! Зуб во рту золотой. С кудрявыми патлами-то который!

Щуровский спускает с губ снисходительную улыбку:

— Баран-то вон этот?

— Баран! — соглашается Колька и добавляет: — Вроде не наш он, не митинский — гусь залётный.

Лицо у Щуровского багровеет.

— Девок у нас отымат! — Кабы не музыка радиолы, все бы сейчас услышали Шуру, настолько громко он возмущился. — Не выйдет! Мы тебе живо рога поувавим!

— И проехал ладонью по круглой Колькиной голове. — Не всё потеряно, Дьяче! Ты меня поня-ял?

Колька почувствовал: Шура затеял что-то плохое. Хотел его, было отговорить, да подумал: «Зачем? Почему бы и в самом деле барана этого не отшить? Не дать ему девушку увести. Пусть уж она никому не достанется в этот вечер. А там, — ухмыляется Колька, — там поглядим» и, накаляясь от нетерпения, грубым голосом отвечает:

— Понял, весёлую душу!

Обрывается музыка. Грохот стульев. Мелькание рук, на которых взвиваются рукава полушибков, пальто и курток. Все спешат побыстрее одеться.

Скрежет распахнутой двери. Толпа на крыльце. Толпа под крыльцом. Но дальше, где два прогона тесовых мостков, дорога, канавы и тропы, толпу, будто кто разорвал, рассыпав отдельными кучками по посёлку.

На улице сумрачно и промозгло. По стылой дороге бегут осторожные лапы белой позёмки. Вверху проблеснула луна. Сквозь перья раздёрганных туч похожа она на унылую голову над обрывом.

Шура с Колькой идут, приготовясь к шальному. Перед ними та самая пара. Прикасаясь друг к другу плечами, о чём-то ведут разговор. Девушка – в красном пальто и вязаной шапке с шарами. Её провожатый – в стёганой куртке с откинутым на спину капюшоном.

Дьячкову не очень-то по себе. Мучает совесть. Однако он держится, притворяясь, будто сейчас ему всё напочём.

Шуре же интересно. Охота взглянуть, как поведёт себя этот танцор, едва он с ними останется без посторонних?

Щуровский отсчитывает огни в окнах стандартного дома, после – барака, а там – пятистенка с высокой, почти до самого неба антенной. «За десятым огнём», – загадывает с ухмылкой, стараясь выбрать местечко погуще, где бы не могло оказаться случайных людей.

За десятым огнём – забитый сухой лебедой пустырёк, а дальше опять – длинный ряд позолоченных светом вечерних окошек.

– Ты-ы! Возникáло! – командует Шура.

Парочка, кажется, всполошилась. Остановились и смотрят на приступающие в потёмках фигуры Шуры и Кольки. Девушка вскидывает лицо, – вероятно,глядит на парня, требуя от него, чтобы он защитил. Парень растерянно мнётся. Наконец, повернувшись не толькошей, но и плечом, спрашивает негромко:

– Чего это вы-ы?

— Девчошечка, ты давай топ-топ по дорожке! — Щуровский, вытянув руку, показывает вперёд. — Понадобишься — найдём. А ты, как тебя там, не знаю? — Обращается к парню. — Перекури! Да от девули-то отцепись. Отпусти её ручку. Во так!

— Ну чего? — Парень угрюмо перебирает пальцами рук полы капроновой куртки. Видно, встревожился не на шутку. Однако готов подождать и выяснить, что будет дальше?

Улыбается Шура:

— Что, Вася?

Парень его поправляет:

— Митя.

— Ну, Митя. Как видишь: желаем с тобой слегка пообщаться.

Митя уныло вздыхает:

— Вас двое.

Шура глядит на дорогу, где постепенно мельчает уходящий от них девичий силуэт. Потом переводит глаза на Дьячкова.

— Говорить будешь с ним, — показывает на Кольку, — а я отойду или лучше совсем от вас отшвартую.

Дьячков захлопал ресницами, возмущаясь. Такого от Шуры не ожидал. Митя в два раза его тяжелее. Вон, какие ручищи! Раз заденет по голове — всю жизнь её будешь носить внаклонку.

Однако и Митя смущён не меньше, чем Колька, ибо Щуровский, сделав пяток шагов по дороге, вдруг оглянулся, давая ему совет:

— Будь поувёртливей, Митя! Колюха боксёр! Не каждый умеет с ним долго держаться! Но ты здоровяк. Коль будешь стараться, то, может быть, перед ним и не ляжешь!

Колюха, услышав такую легенду, сначала не понял, что это о нём. А когда домекнул, то почувствовал наглость и моментально повеселел. Однако Щуровский ещё не закончил:

— Но самое главное, Митя, он зол на тебя! Потому как ты танцевал весь вечер с его налитухой, а напоследок ещё её и увёл!

Лицо у Мити поехало вниз, удлиняясь и удлиняясь.

— Катю-то, что ли? — невнятно спросил.

— Екатерину! — Это сказал уже Колька. Крепко сказал, уверенно и нахально.

— Я, ребята, не знал, — Митя скис, наклонил кучерявую голову, глядя себе на ботинки.

Колька даже его пожалел.

— А живёшь-то ты где?

Митя чутко насторожился:

— В Поповской.

— Это за пять километров?

— За пять.

И тут Дьячков, сочувствуя Мите, великодушно расправил грудь и спросил, изъявляя свою готовность:

— Проводить тебя?

— Нет, ребята! — Митя затряс руками и головой. — Я сам! — И шагнул с обочины за канаву.

— Не заблудишься? — уже в спину ему добавил Щуртовский.

— Не-е! — ломая мёрзлую лебеду, Митя рванул напрямую по пустырьку, за которым шагах в сорока проходила просёлочная дорога.

Послушав треск удаляющихся шагов, Колька с Щурой пересмеялись, сошлись друг с другом, взмахнули руками и, припечатав ладонь о ладонь, обмолвились между собой. Сначала Колька:

— Парень-то вроде хороший.

Однако Шура сказал о Мите чуть поточней:

— Под впечатлением силы хороший. Иначе был бы — худой. — И, поглядев на Дьячкова настойчивым взглядом, ткнул указательным пальцем. — Теперь догоняй!

Колька даже ослаб:

— Это кого?

— Катерину!

— Прямо сейчас?

— А когда!

Дьячков машинально толкнулся вперёд и пошёл по волокнам дорожной позёмки, однако в ногах его резко застопорило, словно кто-то их не пускал, ломая походку с первого шага. И он побито остановился.

— После такого — да догонять?

— Боишься?

И что за привычка у этого Шуры всегда подзуживать там, где может случиться какая-нибудь заварушка. Нет, не боится Колька, скорее — стыдится.

Он как бы чуял границу, к которой сейчас подошёл, с тревогой в душе ощущая, что в нём схлестнулись, встав друг на друга, с одной стороны бессердечие и нахальство, с другой — благородство, порядочность, совесть и честь.

— Не смею, — сказал Дьячков, опуская глаза.

— Может, мне за тебя?

Что-то новое было в Шурином предложении.

— Это как?

Щуровский с готовностью пояснил:

— Чтоб о тебе назавтра договориться.

— О чём?

— О встрече! Или ты, может быть, уже передумал?

— Не передумал.

— Так вот! За этим я и сгуляю.

Сердце у Кольки так и крутнулось. Возможно ли это?

Да нет. Наверно, Щуровский смеётся. А если он и все-рьёз, то едва ли чего из этого выйдет. И Колька сплюнул:

— Да брось.

Но Шура воскликнул, как одержимый:

— Попытка — не попытка! Надо дерзать! Считай, что тебе повезло! Сделаю, как сказал, если, конечно, не опоздаю...

Шура уже заскрипел ботинками по позёмке, спина его стала сливаться с белесою мглой, когда Дьячков, ох-

ваченный ревностью и расстройством, взмахнул руками и нерешительно крикнул:

— Может, и мне с тобой?

— Нет! — обернулся Щуровский. — Такие дела обряжают один на один.

Нехотя, ощущая затылком повитый снежинками ветер, Колька пустился назад.

Митинский Мост засыпал. Редели огни. От ольхового перелеска по скопу приснеженным грядам текла слепая ноябрьская темнота.

Сам не зная зачем, Дьячков свернулся в попечный заулок, прошёл параллельно двум огородам и оказался на берегу. Было здесь глухо и неприятно. Чернела внизу река. Уснувшая медленная вода, недавно покрытая льдом, но теперь после трёх тёплых дней вновь свободная от него, вся в ожидании новой устойчивой стужи, которая в эту ночь, видимо, спустится к вялой Волошке и снова накроет её серебрящимся льдом.

Домой Колька не торопился. Ждал возвращения Шуры. Что он ему принесёт? Хорошую весть? Худую? Была половина первого ночи. Пора бы Шуре уже и вернуться. Однако дорога была совершенно безлюдной. Подождав ещё с четверть часа, Колька досадливо встрепенулся. «Да он, поди, дома! Прохлопал ушами, пока ходил на Волошку. Ну, да и я, глухая тетеря. Жди вот теперь до утра».

Впрочем, ждать оставалось Кольке недолго. Ночь не в счёт. Потому что он спал, не заметив, как пролетели её часы. И утра бы чуть-чуть прихватил, так приятен был сон, да мать стащила с него одеяло, и Колька поднялся, не сразу смекая: куда и зачем ему надо спешить? Но минуту спустя обомлело моргнул, вспомнил всё, что сегодня его ожидает, и резво бросился одеваться. А потом, торопливо позавтракав, так же резво сорвал с заборки фуфайку и шапку и, скрипя по напавшему за ночь снежку, пошёл через двор и дорогу к дому напротив.

Тут он счастливо остановился, став ногой на ступеньку крыльца, чтоб, дождавшись Щуровского, вместе с ним пойти на берег Волушки, где они расчищают участок для штабелей.

Дверь открылась, и в ней показался Щуровский.

— Ждёшь? — Шура одет, как и Колька, в закоженелый от смол и масел поношенный ватник, шапку с матерчатым верхом и туго обнявшие ноги широкие кирзачи. Лицо у него припухшее, с синеватостью под глазами — спал, вероятно, тоже недолго. Но голос задорист и свеж.

— Слушай, Дячок! — Выходя из калитки, Шура незадешним, страшно широким, прямо-таки генеральским жестом руки притянул к себе Кольку и, оглянувшись по сторонам, заговорил, как государственный заговорщик: — Виделся! — и, по-лещачьи отчаянно подмигнул. — Во так! А ты сомневался. Конечно, за одноразку многоого не добьешься. Но главное сделано! Проявила к тебе интерес! Готова сегодня взглянуть на тебя. Так что, Колюха, давай! Подавай себя в форме!

«Врёт или нет? — мучился Колька, не доверяя Щуровскому до конца. — Уж больно всё по его рассказу гладко выходит. Как будто она поджидала Шуру нарочно, чтоб он позаботился обо мне?» Хотелось бы верить в то, что поведал ему Щуровский. Однако грыз червь сомнений. И Колька на всякий случай спросил:

— А где ты её увидел?

Шуру вопрос врасплох не застал

— Ждала. Не меня, конечно. Того! Ну, патлатого Митю. Я ей культурненько всё объяснил. А потом спросил: может ей этот Митя не безразличен? Так она мне ответила что? «Ничего, — говорит, — парнишка. Только мне он чего-то не очень». Тут я снова ей чёткий вопрос: почему тогда он провожал? «Да никто, — отвечает, — никто, кроме Мити, меня на танцульках на этих не заприметил. Каб заприметил, то всяко ко мне б подошел». Вот так, Колюха! А ты всё стесняешься да боишься!

С этими девками надо смелей! Крепость, не крепость, бери её сходу!

Колька проникся доверием к Шуре. «Пожалуй, не врёт». И вдруг встрепенулся, вспомнив, что Шура о самом-то главном ему ничего не сказал.

— Ну, а встречаться-то где? — осторожно напомнил. — Да и во сколько часов?

— О-о! — Щуровский хватил ладонью себя по шапке, чуть не сшибая её с головы. — Извини! Упустил из виду. Столовая, знаешь, где?

— Ну, ты и спросишь.

— Так там. Жди, когда закрывать её станут. В это время она и выйдет...

Колька мотнул головой, рассеянно радуясь и смущаясь. Именно с этой минуты всё, что было возле него и вокруг — Щуровский, дорога, разрытый ножами бульдозера берег реки, пни, руки в брезентовых рукавицах, зацеплявшие эти пни многожильными чокерами, запах стылой земли, представлялись ему, как попутчики, что ступали с ним вместе к вечеру подпалённого лёгким морозцем ноябрьского дня, в котором он встретится с Катериной.

И вот он дождался. Восемь часов. Колька стоял у калитки напротив столовой в брезге лампочки под столбом.

Скрип распахнувшейся двери. Шаги. Сквозь по-gустевшие сумерки можно было заметить мохеровый шарфик, пальто, купол вязаной шапки. Она! Лицо её разглядел он шагов с десяти. А шагов с пяти разглядел и глаза. Удлинённые, с низким навесом бровей, были глаза неподвижно-древотны, казалось, они что-то силились вспомнить, жили вчерающим и сегодняшний день разглядеть не могли.

Она бы прошла, так Дьячкова и не заметив. Да он оттолкнулся спиной от столба. Катерина примедлила шаг.

— Значит, я вот, пришёл, — выдавил Колька.

— Что — пришёл? — Она на секунду остановилась.

— Да ведь пришёл-то к тебе.

Она окинула парня чуть снисходительным, в то же время насмешливым взглядом, как бы давая ему понять, что она себя ставит очень высоко, и по этой причине ей Колька не подойдёт. «Мужского не вижу», — прочиталось ещё ему в этом взгляде, и он покраснел, сгорая весь от стыда.

— Зря, — сказала она, будто щёлкнув Кольку обидным щелчком по носу и, грациозно качая плечами, двинулась по мосткам.

Колька горько вздохнул. Отшёл от столба. И уставился взглядом в пространство двора, где темнел дровяник. За распахнутой дверью его, показалось ему, будто кто-то стоял, наблюдая за ним, чтоб потом растрезвонить о Колькиной встрече на весь посёлок. Колька медленно поднял руку в перчатке, сжал её с силой и глухо сказал:

— Только попробуй.

На другое утро он снова шёл на работу с Шурой Щуровским. Тот сочувственно слушал его, и когда Дьячков замолчал, разрубил рукой воздух и набросился на него:

— Сам виноват! С девками надо не так! Они любят напор! Как пошёл, как пошёл! Где словами, а где и руками! Глядишь — уже и расслабла! Бери её — ешь...

Чувствовал Колька, что он Катерине не пара. Забыть бы её. Да не мог.

Вечером он опять дожидался. На этот раз невдали от барака, где Катерина жила, занимая одну из комнат с окном, выходившим на огород. Стоял он за толстой ёлкой, рядом с поленницей и готовился выйти, как только её разглядит.

И вот она рядом. Скрипит под ногами снег. Всё ближе и ближе. Мохеровый шарфик, пальто, оборка плескучего платья, сапожки. Пора выходить. Но решил подождать. И не вышел. Почувствовал: будет такой же опять разговор, как вчера. А такого ему не хотелось.

И на третий вечер он дожидался. И на четвёртый. Вновь и вновь не решался выбраться из-за елки. Так и стоял, унимая ладонью сердце, расходившееся в груди.

И только в воскресный вечер ему улыбнулась возможность увидеться с девушкой с глазу на глаз. Накануне, в субботу, он встретился с нею около магазина. Поздоровался с ней. Она посмотрела на Кольку, как на случайного человека, кто однажды о чём-то с ней говорил, только ей вспоминать об этом неинтересно.

— Завтра к нам приезжают из города самодеятельные артисты, — сказал он, кивая в сторону клуба.

Она безучастно пожала плечами:

— И что же из этого?

— Будет концерт!

— Ты хочешь меня пригласить? — Она отпустила Кольке скучную-скучую улыбку. Даже и не улыбку, а слабую тень от неё.

— Хочу!

— А чего? Может быть, и приду.

Щёки у Кольки пыхнули, он заморгал и, волнуясь, сказал, словно бросился в прорубь:

— Я тебя подожду!

— Подожди. — Казалось, она должна была вновь улыбнуться. И улыбнуться уже настоящей улыбкой, однако лицо её было спокойным. Наверное, эту улыбку она берегла для другого. Но Колька был рад всё равно. Глядя ей вслед, как она поднималась по длинным ступенькам крыльца, он хотел было крикнуть: «Я зайду за тобой!» Но не успел. Дверь магазина захлопнулась, загородив от него Катерину, и Колька пошёл потихоньку домой.

И вот воскресенье. Семь вечера. Возле клуба народ. Все торопятся, все суетятся. Прибауточки, говор, смех.

Плеснула струнами балалайка. Концерт начался. Все глядят на приезжих артистов. Слушают песни, му-

зыку и стихи. Один лишь Дьячков в одиночестве ходит около клуба. Ждёт Катерину.

Целый час проходил он, бессмысленно дожидаясь. «Почему не пришла? Может быть, заболела? – думает он. – А что если я загляну к ней в барак?! Узнаю, в чём дело?»

Подходя к семейному, в шесть дверей и крылец бараку, Колька окинул глазами окно, где должна бы жить Катерина, и растерянно заморгал. Окно зияло тёмным квадратом. Вероятно, легла уже спать. Колька ткнул кулаком под ребро. «Проманежил, весёлую душу». Пиная жёсткую, как кустарник дворовую череду, он пошёл вдоль хлевов. Он уже было свернул, чтоб пойти напрямую домой, да услышал негромкое борканье батога, с каким открывалась дверь в середине барака, и в ней показались два силуэта. Да, да, та самая дверь, куда хотелось ему проникнуть. Дверь открылась и сразу закрылась, а на крыльце объявился здоровый детина. «Шура-а?» – смущился Дьячков. – Чего ему здесь?» И сразу смекнул, что Щуровский ходил к Катерине не для беседы. На какие-то две-три секунды он обомлел, почувствовал, как под сердце его проник холодок непредвиденной катастрофы. Колька зло задышал, душа раздавлено заметалась, словно её переехало колесо. Не должно такого и быть! Тут какая-нибудь ошибка. Ведь не Шура, а он собирался встретиться с девушкой в этот вечер.

– Это как же ты тут оказался? – потребовал он, охватив Щуровского яростным взглядом.

– А-а, Колюха! – беспечно откликнулся Шура.

– К Катерине ходил?

– Тс-с. Никому ни слова. Сообразил? – Щуровский подставил палец к губам.

Передёрнуло Кольку:

– Сообразил.

Несло от Шуры водочным перегаром. Он стоял перед Колькой и объяснял:

— Я говорил тебе! Препятствия надо брать с ходу. Была Катерина ничья. Ты зевнул. Ну, а я, как видишь, не растерялся...

Колька не стал дожидаться, когда Щуровский закончит. Встряхнул головой и пошёл. Шёл он резко и споро, пересекая двор, переулок, дорогу и пустырёк. Хотелось скорее освободиться от навалившегося несчастья.

Ступив на мостки, он заставил себя обернуться на заплёненный жидаеньким светом угол посёлка, где стоял семейный барак. Посмотрел на него разочарованно и понуро, словно увидел там жизнь, ставшую для него неприятным воспоминанием.

Небо с запада на восток перетягивал белый шпагатик летящего самолёта. Проводив его лёгким сдвигом бровей, Колька направился к дому. Мёрзлые ветки кустов, провиси чёрного кабеля меж столбами, волоконца реденьких туч склонялись всё ниже и ниже над Колькиной головой, словно ночь, понимая его состояние, пытаясь найти для него то, что он потерял, но найти не могла, и от этого, как и Колька, молча страдала.

Стегаиха, 1980 г.

ЖЕЛЕ

Город устал от дневной суэты и теперь, погружаясь в прохладу речного тумана, застенчиво отдыхал. Такой же уход в тишину и лёгкие думы испытывал в этот вечер и Николай Одинцов. День для него проходил, как всегда, в напряжённой горячке. В кабинете его постоянно народ. То методист по фольклору или по хору, то группа народных певцов из района, то представитель обкома союзов, то самородный поэт. Дом народного творче-

ства, во главе которого Одинцов стоял, жил не только делами культуры, но и десятками прочих дел, как хозяйственных, так и бумажных. И сбросить их можно было лишь в восемнадцать часов.

Николай их сбрасывал с удовольствием в меру уставшего человека, который горд оттого, что день отработан честно. Вечернее время для Одинцова было всегда привлекательно тем, что он мог ощутить себя в разнообразии всех своих прихотей и желаний. Сейчас ему 27 лет. Вечера проводил он обычно в компании. Проводил, как придется, полагаясь на опыт друзей, умевших устроить и финскую баню, и пиво после нее, и отдых на склоне зелёного луга. И лодку с рыбалкой, и ночь у речного костра. И даже весёлую женщину, муж у которой гуляет с другой. Всё это было так часто, так соблазнительно и греховно, что Одинцов иного уже не хотел

Однако в последнее время эти сумбурные развлечения стали всё реже и реже. Зато участились прогулки, вдохновительницей которых была 25-летняя полненькая блондинка. Звали её Людмилой. Познакомился с ней Николай на одной из пирушек. Порой, размышляя над тем, любит её он или не любит, Одинцов приходил к неожиданной мысли, что это ему как-то даже не очень и важно. Важно, казалось ему, другое – быть в подчинении у Людмилы, охотно идти под её руководством туда, куда она приведёт. И вот привела его в загс, куда были поданы документы. Одинцов поначалу подсчитывал дни: сколько их оставалось до свадьбы? А потом перестал и считать. Всё равно ничего уже не изменишь.

Сегодня среда. Через два дня и свадьба, которая мало его волновала. Он как бы заранее знал, что пройдёт она хорошо, и даже хотел, чтобы эти два дня и свадьба скорей пролетели.

Как и вчера, с Людмилой он должен был встретиться не в квартире, а на Возгорице, у реки, в тихой аллее,

под тополями. Приближаясь к реке, Николай посмотрел на часы. Опоздал. Но расстраиваться не стал: знал, что Людмила ему простит.

Над берегом смутно синело. Слышался всплеск весла. Вдали у моста золотился, играя с водой, электрический луч.

Людмила уже пришла. Стояла лицом к реке. Заслышив шаги, она повернулась: лицо удивлённо-спокойное, точно ждала не его, а кого-то другого, но тот не пришёл, и ей предстояло с этим смириться.

– Ты, вроде, как и не рада? – сказал Николай.

– Вечно приходишь позднее меня.

Николай покаянно улыбнулся.

Они шли по аллее. Сквозь густую листву смотрели на медленные разводы, косо бежавшие по реке от проплывшей с рокотом лодки.

Прохлада. Безлюдье. Покой. Одинцов отдыхал, уходя от всего, что к нему прилепилось за восемь служебных часов, пока он сидел в кабинете среди посетителей, жалоб, заявок, просьб, разговоров и рассыпавших железную трель телефонных звонков. Он был в том лениво-расслабленном состоянии, когда не хочется думать о повседневном, точно всё за него давно решено. И ему оставалось лишь улыбаться, глядеть в зелёную мглу побережья и куда-то бесцельно идти, подчиняясь уверенной женской руке.

Окрайкой кустов они вышли к булыжному переулку. Справа – дорога, слева – надолбы из бетона. Где-то в ближнем подъезде раздался мальчишеский голос. И вдруг – хриплый хохот и свист. Бегом, спотыкаясь, только-только не падая, по мостовой пробежала растрепанная девица. Пробежала и как пропала. Сразу же, будто опасность, выросла мрачная тишина.

Они замедлили шаг. Обмерив глазами глухой переулок, Николай почувствовал локтем Людмилины пальцы. Принудил себя усмехнуться. Он был из тех нереши-

тельно-смирных, кто, зная свою трусоватость, стыдятся её и стараются скрыть.

Людмила заволновалась.

— Этого не хватало! Туда не пойдем! Слыши, Ко-ленька! Там шпана-а!

— Пустяки, — сказал он с наигранной смелостью и напружилился, примечая в раскрытых воротах ближайшего дома группу подростков.

Гужевались подростки возле мордатого в низком берете детины. Все с сигаретами, в джинсах и белых рубахах, подолы которых торчали узлами на животах.

Николай постарался не выдать тревоги. Его удивило, что парни стояли как-то застыло. Поднявшийся ветер нанёс резкий водочный перегар. Было ясно: подростки изрядно поддали и что-то затеяли меж собой. Одинцов понимал, что пьяные юноши тем всегда и страшны, что их намерения необъяснимы. Людмила едва не нависла на левой руке Николая, давая ему понять, что туда им нельзя.

Одинцов напряжённо двигался дальше. Нет. Назад он не повернёт.

Вот они четверо в белых рубахах. Даже не четверо. Из-за стойки ворот вылезает ещё один типчик. А там и другой. Самый здоровый из них, в нахлобученном низко на бровь широком берете, вышел, как предводитель, вперёд, загораживая дорогу.

Николай с Людмилой споткнулись.

— В чём дело? — спросил Николай.

Мордатый кивнул на Людмилу.

— Как она тебе? Смак?

Одинцов растерялся. Ноги сделались лёгкими. В груди ворохнулись два разных чувства. И если одно из них, наполняя его отвагой, ретиво кричало: «Ну, дай ему в морду! Ну, дай!», то второе — подсказывало: «Не надо. Вон их тут сколько. Стерпи».

Одинцов неожиданно улыбнулся, как бы выпрашивая улыбкой право пройти возле мальчиков без эксцессов.

– Бросьте, ребята! – сказал Одинцов, ощущая, как чувство отпора в нём иссякает. – Чего мы вам сделали?

Предводитель гаденько ухмыльнулся. Ухмылка мгновенно передалась его юным дружкам. И на лице у каждого отпечаталось торжество бесстрашных героев уличных подворотен. Кто-то тоненьkim голосом предложил:

– Дяденька, отдан тётеньку, а то отберём!

Одинцов откинул голову так, будто ему поднесли кулаком в подбородок, настолько глумливо и грязно ударили эти слова.

Николай побледнел. И всё-таки, пропадая душой, он приказал себе улыбнуться, найти те единственныe слова, какие могли бы понравиться уличной кодле:

– Ребята! Да что вы?! Да вы извините, если чего мы не так! Давайте без нас! А, ребята? Мы к вам ничего не имеем. Пойдём мы. Ага-а?

Стоявшего перед ними в чёрном берете, они обошли стороной. Тот разрешил им сделать возле него разворот. Позволил даже и отойти. Но тут отвратительно харкнул и прыгнул, под одобрительный смех, поддав Одинцову сзади ногой.

Николай еле-еле сдержался. Шёл, ощущая рукой скакавшие пальцы Людмилы, и шарил глазами по пе-реулку, как по закрытому коридору, откуда, казалось, уже и не выйти. Шёл, чуя спиной и затылком рассеянно-мутные взгляды, которые были тем и жутки, что замысел юношей мог измениться, и хоть один пожелай возвратить их назад, моментально бы это и сделал.

По сонно мерцавшим камням мостовой стучали шаги. Сколько ещё их осталось? Шагов унижения и позора? Всё меньше и меньше. А вон уже мост. Вдоль по берегу роща высоких берёз. А дальше, правее моста, за домами, вся в электрическом свете – широкая площадь, где клумбы с гвоздикой, мраморный памятник и фонтаны.

Одинцов оглянулся. Рубахи подростков тускло белели, похожие издали на бумажки, которые поднял ве-

тер, сметая куда-то с булыжной дороги. Николай услышал, как тяжело заходила в нём кровь. Только что был он дряблым, беспомощным и безвольным, почти с головой, погружённым в разреженный воздух вечернего страха. И вот душа всколыхнулась, наполнилась праведным гневом. Когда его взгляд поймал телефонную будку, он уже понял, что будет делать. Людмила пыталась остановить.

– Не надо!

– Нет, надо.

– Они же запомнили нас! Наживёшь неприятность!

Зачем?

Одинцов пренебрёг советом Людмилы. Милиция! Именно в ней он увидел ту справедливую силу, которая выдаст возмездие всем, кто его заслужил. Прокрутив дважды диск телефонного аппарата, он поднял трубку и услыхал:

– Дежурный.

– Звонит вам Одинцов, директор Дома народного творчества. – Должность свою Николай назвал специально, чтобы там повнимательней выслушали его. – Сигнализирую: шайка пьяных подростков терроризирует берег реки в районе Возгорицы, где Берёзовый переулок. Хамят, матюгаются, хулиганят!

Голос в трубке спросил:

– Избили кого-нибудь?

– Нет.

– Пытались избить?

Одинцов неожиданно потерялся. Не говорить же ему, что подростки поддали ему башмаком.

– Как сказать, – огорчённо вздохнул, досадуя на себя, что не теми словами он разговаривает с дежурным.

– Что, собственно, от милиции вы хотите?

Одинцов предложил:

– Заберите кого-нибудь!

Трубка ответила удивлённо:

— Чтобы забрать — нужен повод.

Николай возгорелся лицом. Перехватив телефонную трубку в другую руку, он едва ли не прокричал:

— Пристают к прохожим! Оскорбляют их! Даже пинают!

Дежурный сочувствуя спросил:

— Лично к вам приставали?

— Не приставали — я бы не позвонил!

— Ваша фамилия?

— Я же вам называл — Одинцов.

— Хорошо, гражданин Одинцов. Постараемся разобраться.

Одинцов раздражённо вышел из будки, ни в чём не уверенный и смущённый. Однако, когда Людмила осведомилась, что там Николаю пообещали, определённо сказал:

— Приедут и шороху наведут!

От реки, всколебав кусты, подул низовой ветерок. Запахло газонами и туманом. Упала с балкона чья-то горящая сигарета. У моста, где вода под светом высокого фонаря блестела мерцающей позолотой, вдруг рассыпался девичий смех. Вслед за ним — и мужской. Девичий смех убегал, а мужской - настигал.

Николай с Людмилой приблизились к бровке дороги и увидели, как по лестнице, поднимавшейся от реки, на мостовую вбежала девушка в ярком платье. В том, как взлетели её косички, змеясь и прыгая на плечах, было что-то до радости озорное. Шалунья весело обернулась, пробежалась по мостовой и, махая ладошкой, исчезла среди стемневших деревьев. Следом за ней над берегом вырос смеющийся парень. Был он в распахнутой красной рубахе, с разметанным вихром волос и висевшей на правом плече гитарой.

Николай улыбнулся. И Людмила его улыбнулась. Обоим вдруг стало легко, словно пьяных подростков и не было, вернее, были, но очень давно.

Было вокруг свободно, весело и красиво. Макушки деревьев касались неба, и где-то в их полусонной листве моргали ресницами светлые звёзды. Оттуда, из лиственной мглы неслись голоса:

– Светлана! Постой!
– Не умею стоять! Не умею!
– Ах так! Да я тебя поймаю!

Вечер был с полной луной, выстилавшей на чёрной воде уютно белеющую дорожку. Звуки гитары вспыхнули мягко. И тут же по их переборам, как лёгкая лодочка по реке, поплыла красивая песня:

Прекрасно небо голубое!
Прекрасен поезд голубой!
– Какое место вам? – Любое.
Любое место, край любой.
Ещё волнует всё, что было,
В душе былое не прошло;
Но слишком дождь шумел уныло,
Как будто всё произошло.

Песня была из тех, которая сразу ошеломляет, она подплывала к самому сердцу, и грудь наполнялась трепетно-нежной тоской. Тоской к далёкому сильному зову, который манил за собой в те загадочные края, где все молоды, веселы и беспечны, где не бывает тревог и обид и где жизнь продолжается бесконечно.

И без мечты, без потрясений
Среди одних и тех же стен
Я жил в предчувствии осеннем
Уже не лучших перемен.
– Прости, – сказал родному краю, –
За мой отъезд, за паровоз.
Я несерьёзно. Я играю.
Поговорим ещё всерьёз...

Песня затихла, и из зелёных потёмок на свет фонаря вышла счастливая пара. Парень как богатырь. Продолговатое с крупной челюстью волевое лицо, шея, широкая грудь – всё выдавало в нём продолжателя крупной породы, который после себя оставит таких же, как он, симпатичных детей. Девушке было лет восемнадцать. На светлом с цветочками платье мерцала стекольцами веточка вишни.

Николай стоял у кирпичного дома, одним плечом прижимаясь к Людмиле, вторым – к водосточной трубе. На парня смотреть ему не хотелось. За то, что с ним рядом была эта девушка, он вдруг почувствовал сильную зависть. Подружка его была вызывающе хороша. Стойная, с нежно вылепленным лицом. Под чёрными, в две косые строки бровями – большие глаза. Взгляд их был беспокоящий и горячий.

Николай почувствовал сердце. Оно неспокойно заныло. И вдруг промелькнула досадная мысль, что жизнь у него проходит не так. Самого важного в ней не случилось, что он обойдён внезапной любовью и впереди у него только скучные дни...

Счастливая пара прошла в нескольких метрах от Одинцова. Он хорошенъко её запомнил.

– Слушай! – Людмила взглянула на Николая. – Пошли-то туда они – их не обидят? Быть может, их надо предупредить?!

Одинцов оглянулся назад и встревожился сразу, увидев, что пара идёт себе преспокойно, а ей навстречу – те самые, в белых рубахах, видать, решившие тоже пройтись вдоль реки. Кричать вдогонку – могут превратно истолковать. И тут Одинцова зло обожгла ревнивая мысль: «С чего это мы должны их предупреждать? Чем они лучше нас? Да ничем. А раз так, то нечего нам и соваться».

– Нас тоже могли бы обидеть, – сказал он язвительным тоном, – да ничего, обошлось. Пускай и они пройдут через это.

- Через что? – подивилась Людмила.
- Нас попугали. Пусть попугают и их.
- А если они оскорблений не стерпят? Парень-то вон, какой видный! Такой – со шпаной, без всяких там церемоний! Не языком он с ней разговаривать будет!

Одинцова обидело, что Людмила заговорила с каким-то странным намёком, выставляя его едва ли не трусом, умеющим действовать лишь языком.

– Я бы тоже мог кулаком, – сказал он с желанием оправдаться, – но понял, что это нелепо. Неравные силы. Кроме того, мог оказаться у них и нож.

Одинцов закурил сигарету. Первую в этот вечер.

Неожиданно из проулка, которым шла пара, вынесло сдобренный хохотом гаденький голос:

– Дяденька, отдай тётиньку, а то отберём. И гитарку отдай! Нам нужнее она!

Одинцов, взятый странным волнением, затаился. Он хотел, чтобы парень ответил робко, не по-геройски. Он нашёл для него и слова, забывая о том, что с подонками он разговаривал именно ими. И растерялся, почувствовав, как сама по себе задёргалась челюсть, когда разобрал:

– Недоноски! Хмырьки! А ну убирайтесь с дороги-и!

И опять Николай обернулся, поймав глазами гитару, которой взмахнул удалец, угощая кого-то по голове. Увидел и девичье платье. Платье было в сторонке. И вот, мелькнув мотыльком, пролетело туда, где краснела рубаха, и заметалось среди толкотни.

Одинцов постарался не выдать испуга. Он даже сказал:

– Надо, наверное, к ним, – и сделал движение от Людмилы. Но та потянула его к себе.

– Пошли отсюда! Скорей! – Она повернула его куда-то направо, к центру площади, где возвышался каменный обелиск.

За спиной раздался дикий девичий визг. Стиснутый сильной рукой Людмилы, Николай продолжал маши-

нально идти. Шёл в боязливо-раздёрванном состоянии, думая сквозь смущение, что мордобой подростки устроили не ему. Одинцов опять закурил.

Где-то в сумерках улиц завыла сирена, послышались нервные голоса и крупной скачущей трелью пропел милицейский свисток.

— Как ты думаешь, что там случилось? — спросил он Людмилу. И не дождавшись ответа, предположил: — Наверное, эти мальяшки его избили. По-твоему...

— Замолчи! — возмущённо выдавила Людмила.

Было поздно, автобусы не ходили. И редко где горел электрический свет. Прогулку свернули около дома Людмилы. Невесело попрощались.

Сон к Одинцову не приходил. Не приходило к нему и желание выпить холодного пива, которое запасла заранее мать, зная, что сын питает к нему особую слабость. Николай стоял на балконе. Стоял, наблюдая, как в город, гася электрический свет, входила июльская ночь. Ночь прогулок и поцелуев, затянувшихся ожиданий, чьего-то неслыханно редкого счастья и чьей-то внезапно погасшей мечты. Николай курил сигарету за сигаретой. Им владело такое чувство, точно он в чем-то крупно ошибся, и эту ошибку ему не простят.

Два дня изнуряло его это угрюмое чувство. Лишь на третий стало оно исчезать. И совсем исчезло, когда Одинцов, чисто выбритый, в чёрном костюме, при галстуке с красной булавкой уселся с Людмилой в свадебное такси.

Хлопая лентами и шарами, такси бежало по улицам города. Там, за стёклами, лился гомон и гул будоражащей уличной жизни. Здесь, в уютном салоне, плавала мягкая тишина. Шофер в соломенной шляпе вёл машину уверенно и легко. Одинцов рассеянно улыбался. Сяди за ними бежали такси. Целых три. В них — свидетели и родные.

Вверху над улицей вспыхнул малиновый светофор. Машины резко остановились. Николай с досадой взглянул на неряшливо-серый автобус. Стоял он едва не впритирку к их наряженному такси. Взглянул и отпрянул.

Впереди стоял не автобус, а тускло-серый с облупленной краской старенький катафалк. Его задняя дверца была приоткрыта. И в ней синел угол гроба. Над гробом – несколько женщин, юношей и мужчин. Ближе всех, обняв руками колени, сидела та самая, кого Николай запомнил, казалось, на всю свою жизнь. Из-под черных бровей смотрели глаза, большие и мрачные. С какой-то нездешней тоской. Глаза смотрели мимо такси, мимо шо夫ера в соломенной шляпе, мимо Людмилы и Николая. Они смотрели куда-то назад, пронзая взором всю улицу вместе с ее пешеходами, транспортом и домами. Казалось, для них и сегодняшний день, и вчерашний были наполнены пустотой, сквозь которую различался лишь яркий, как молния, вечер, принесший смех, поцелуй, красивую песню и смерть.

Загорелся зеленый свет, и первый пошёл на него катафалк, который вскоре и затерялся.

Одинцов смотрел, как мимо него проплывали высокие стены домов, как выпорхнул голубь из-под машины, как кто-то в толпе помахал ярко-жёлтым платком. Смотрел, а видел иное. Будто он не в машине, а в том переулке. Вон знакомые стойки ворот. Вот знакомые хулиганы. Вот знакомый их окрик:

– Дяденька, отдай тётиньку, а то отберём!

И он, Одинцов, поборов животный испуг, дерзко бросается в драку. Руки его не могут остановиться. Бьют, бьют и бьют. И вдруг этот нож. Он даже ножа и не видит. Лишь чувствует, как его ледяное жало влезает ему куда-то в живот. Николай опускает плечи, быстро слабеет и хочет, пока не совсем ещё поздно, хочет узнатъ: а кто же его? И зачем?

Одинцов весь в поту. Картина, в которой его убивают, была настолько правдоподобной, что он не сразу приходит в себя. А когда приходит, то видит глаза и руки. Глаза глядят на него, а руки трясут за плечо.

– Приехали, Коля! Давай выходи! Ты слышишь?

– Слышу, – Николай выбирается из такси. Идёт локоть к локтю с Людмилой живым человеческим коридором. Ступает на каменное крыльце. За распахнутой дверью их уже ждут.

– Улыбнись! – подсказывает Людмила.

Одинцов улыбается. Наклоняется над столом, где лежит книга актов. Неверной рукой царапает подпись.

Снова садятся в такси. Снова едут. Теперь туда, где накрыты свадебные столы. Перед глазами у Николая город. Был город. И вдруг заслоняет его фигура той самой, кого он запомнил на всю свою жизнь. Девушка в том же вечернем платье с пылающей вишенкой на груди, вся, вся приготовленная для счастья. Однако глаза у неё холодные и сквозные. Смотреть на них было нельзя. Но Одинцов посмотрел и увидел себя в тех глазах убегающим. Никто же не гнался за ним. А он убегает и убегает. «Остановись!» – приказывает себе. И понял, что останавливаться не будет. Это было выше всех его сил. «Кто я такой?» – спросил расстроенным голосом. И тут же услышал девушку с вишенкой на груди, чьи губы выдохнули с презрением:

– Желе!..

Вологда, 1981 г.

НЕНУЖНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Галактион два раза уже пересчитывал стадо. И оба раза сбивался со счёта. Должно бы быть 78 коров. Получалось же 76.

Не поленился пастух. Пока не стемнело, нукинув на вспаренного Гнедка, спустился в низинку. Пахнуло сыростью и туманом. Галактион внимательно осмотрелся. Где куртинка осоки, где таволги, где выломки старого ивняка. Чуть пониже — спинка ручья, над которой — брошенная колода. Ну, а там, в перевитой траве, торопилась в угор надолбинка-тропка. Коров здесь не было и в помине.

— Давай к заполью! — Галактион направил коня к колоде. Пересёк её. И надолбинкой выбрался в поле, по-над которым стихающим пламенем октября желтела берёзовая опушка.

Деревья уже обносило густой синевой. Галактион ехал краем скощенных ржей, пристально всматриваясь в прогалы. «И здесь, видно, нет», — сказал себе с грустной досадой. Опустив удила, огорчённо остановился. От мысли, что он опоздал, что с коровами что-то стряслось, и ему об этом уже не узнать, сделалось неприятно. Он вздохнул, и в груди его, распираясь от злости, выросли вспыльчивые слова: «Коровы теперь, как из золота! Каждая тысяч по сорок! Не найдутся: работа моя — скотине под хвост. В тюрьму, конечно же, не посадят. А лучше бы, думаю, посадили, чем такой оборот. Ведь семья у меня. Двое школьников, двое — до, да один у Галины на титьке. Был, едри твою бабушка, полуголым, заделась — голым! Как не хотел я на эту пастьбу. Да нужда. Нужда приказала. Мечтал за лето подразживиться. И пожалуйста: дважды по сорок тысяч. До копейки выберут из получки...»

Было тихо и, может, поэтому Галактион разобрал приглушенные голоса, просочившиеся сквозь лес от заросшей кустарником старой дороги. «А что!» — навострился пастух, ощущая отчаянность смельчака, который, была, не была, а сделает так, как задумал, и легонько подпнул каблуками коня.

Звякнули удила, и послушный Гнедок жёлтой тенью нырнул в перелог.

На одичавшую, в сваленных травах дорогу, которой вот уже десять лет не пользовался никто, Галактион тихо выбраться не сумел. Ломая ивняк, он едва не наткнулся на грузовик. И тут же за ним, где светлела поляна с копной, увидел пропавших коров. Двум, стоявшим около них мужчинам в капроновых куртках он вначале не придал значения, так как было ему не до них. Но мужчины пошевелились, и он понял, что здесь они с собственной целью.

— Вы чего тут? — спросил их Галактион, наполняясь волнением сторожа, укараулившего незванцев. Ближний к нему — высокого роста, с красивым, но бледным лицом распахнул полы куртки. Пастух, обомлело моргая, увидел ствол до уродства обрезанного ружья.

— Ты не видел нас, — сказал второй, и тоже выставил ствол из-под куртки.

Провожаемый зраком стволов, Галактион поспешливо развернулся и двинул с конём по забитому мглой и ветками перелогу.

Выбравшись в поле, вытер залитое потом лицо. В душе его, как после драки, в которой из жалости пощадили, остался разор. Пастух заорал, швыряя в вечернюю мглу вместе с бешеной матерщиной свою беспомощность и обиду. Орал и не чувствовал, что несётся он диким галопом и что может вылететь из седла.

Лишь на скотном лугу, опустевшем от стада, самоходом отправившемся в деревню, верховой обуздал в себе гнев и какой-то неглавной, работавшей как бы вдали от него вспоминающей мыслью отметил, что молодчиков этих он уже видел.

Месяц назад, оставив со стадом Галину, Галактион ездил в город купить для ребят кое-какого надобья из одежды. Отоварившись, заглянул в магазин, чтобы купить чего-нибудь из спиртного. Хотелось не просто

водки. Этого зелья достаточно и в деревне.. Положил было глаз на высокую полку, где красовались нарядные склянки ликёров, висок и коньяков. Но цены были не по карману. Галактион едва не присвистнул:

– Неужто кто покупает? – спросил мрачноватую продавщицу с презрительными губами, которые открываются не для всех.

Продавщица вместо ответа взглянула всё примечающим взором куда-то мимо щеки пастуха.

В дверь не вошли, а вплыли, сверкая стальной фунитурой, двое изящно одетых мужчин: один – сухощавый с женственно-тонким лицом, второй – коренастый, с портфелем.

– Снова у вас! – сказал бодрым голосом худощавый. А коренастый, достав из джинсовой куртки щепотку хрустнувших сторублёвок, так весь и вспыхнул золотобуко распахнутым ртом:

– Парочку Абсолютов!

По уверенно-смелым глазам, какими мужчины окинули магазин, по тому, как небрежно швырнули в портфель дорогие бутылки, Галактион почувствовал в них особо богатых людей, кто постоянно сорит деньгами, заведомо зная, что их богатство от этого не убудет.

– Во, как бывает! – шепнул восхищённо Галактион.

К нему обернулись:

– Завидуешь?

– Не-е. Спрашиваю себя: откуда эдаки деньги?

– Надо уметь.

Галактион, уже выйдя из магазина, придержал одного из покупщиков за рукав:

– Вы кто? Поди-ко, кооператоры?

– Экспроприаторы! – рассмеялись мужчины и, проблеснув застёжками курток, споро направились к мостовой, где дожидался их чёрный Фольксваген.

Галактион и думать не намерялся, что встретит когда-нибудь этих ребят. И вот повстречался на конной.

забытой не только людьми, но и Богом дороге. И понял, что это и есть скотокрады, те самые, коих толкает к разбою извечный призыв – захватить и уйти. А если возникнет свидетель, то сделать всё так, чтобы он ничего никому не сказал.

На убитом следами скотном дворе, где доярки встречали коров, Галактион задерживаться не стал. Ему прокричали вдогонку:

- Галька?! Семнадцать коров! Осемнадцатой нет?
- И у меня однёй не хватает!

Пастух обернулся:

– Потом! – и пригнувшись к шее коня, без привычной кирзовoy кепки, которая где-то выпала на скаку, с прижато-слежалыми волосами, умчался в деревню.

К делу или безделью, у крайнего с мезонинчиком дома пастух столкнулся с Моховиковым, председателем сельсовета, от кого на сто метров шибало вином. Моховиков был солиден – с большим животом, большой головой, в клетковатом с резинкой по поясу пиджаке и в заломленной в вороте белой рубахе. Густо окиданная багрянцем бревнистая шея его подсказывала о том, что водки выпито им прилично.

– Арнольд Алексеевич! – Галактион осадил Гнедка. – Городские гадючки отбили от стада коров!

– Так! – Председатель, уже зайдя на крыльце, мешковито остановился, подправил под локтем матерчатый свёрток и, вскинув тугой подбородок, упёрся глазами в Галактиона. – Сколько их? Где?

– Двое! На конском просёлке! Как раз у Пероськой поляны. Там и машина у стервецов!

– Шакалы! – ругнулся Моховиков. – Промышляют по всей России. До нас добрались. Ну и чего теперь?

– Надо людей! Захватить их, как псов, покудова не удрали!

- Может, милицию?

Пастух воспротивился:

— Далеко. Не успеет. Надо своих, деревенских! Братьев Красновых! Олёху Титова! С ружьями чтобы! С пустыми руками их не сгребёшь: оба при пушках.

— Что ж! — согласился Моховиков. — Сколько до этой поляны?

— С версту!

— Нужна, выходит, ещё и машина.

— Машину искать недосуг! — Галактион, скрипнув кожей седла, показал на приткнутый к столбу палисадника мотоцикл. — Это чей?

— Мой, — ответил Моховиков.

— Вот на нём! И ещё на Красновском! Гоните к поляне! — Пастух горячился, не замечая, как в голос его проник повелительный тон.

— Ну, а ты? — спросил председатель.

— Я туда! К гостенькам! Али может сюда? Сшевельнуть мужиков? Абы сразу. Не мешкая!

— За мужиками я сам! Не волнуйся! — заверил Моховиков. — Вот только снесу бабке Ниссе пододеяльник.

Лицо пастуха, как взломало:

— Какой ещё пододеяльник?!

Моховиков объяснил:

— Премия! Поощряем всех бывших тружеников колхоза. Десять штук на вашу деревню. Девятерым уже роздал. Остался последний.

— Тут коровы, а он! — нервно крикнул Галактион, разворачивая Гнедка.

— Ну чего ты! Чего! — Моховиков широко улыбался — сама уверенность и поддержка. — Мы счас! Мы сходу! Всех твоих гангстеров переловим! Никто не уйдёт!

Некогда было Галактиону вести с председателем тары-бары. Хлопнул Гнедка сапогами — и полетел, покачиваясь в седле.

Слушая топот коня, скакавшего по бездорожице новым, более близким путём — через пожню, карьер

и горелый прилесок, пастух костерил председателя, как супостата:

— Виноглот ненасытный! Сколь в деревне старух, столь и стопариков запрокинул! Изловишь ты гангстеров, жди. Людей-то хотя бы поднял. Не одному же мне там выставать...

К председателю сельской власти, вечно поддатому Моховикову, Галактион, как и всякий разумный мужик, относился с беззлобной насмешкой, прощая заранее все его чудеса, благо от них ничем не страдал. И сегодня бы тоже не пострадал, кабы тот поднял людей на подмогу. Откуда ему было знать, что Арнольд Алексеевич всё испортит. У Ниссы, добрейшей пенсионерки, Моховиков задержался на то лишь короткое время, покуда вручал ей пододеяльник да принимал от неё налитый с краями стакан. Стакан и подвёл его, сделав мгновенно косноязычным, и рьяный призыв, с которым он обратился вскорости к братьям Красновым, рисуя им обстановку, в какую попал колхозный пастух, был ими воспринят, как бред в стельку пьяного выпивохи. Отчего его тут же уклали в постель.

Узнать об этом Галактиону, было не суждено. Гнедок доставил его к поляне уже в темноте.

Впрочем, здесь, на поляне было светлее, чем днём. Там, где стояла копна, золотился костёр. В свете его, на красневшей от крови траве дымились две шкуры. Галактион перебито вздохнул и увидел сквозь сено в кузове автомашины глыбы разрубленных туш.

Здесь, конечно, его не ждали. Разделав коров, скоторезы спустились к ручью, чтобы там поотмыться. И вот, возвращаясь к машине, при виде коня с верховым, напряжённо переглянулись.

Галактион, как навстречу судьбе, выехал к ним, махая поднятым кулаком:

— Не уйдёте, соколики! Я — не один! — и пихнул кулачище к кустам при дороге, откуда должны были выскочить мотоциклы.

Метрах в трехстах, где асфальтовая дорога, пропороло сквозь вытемки узким лучом. Подождали все трое, слушая дальний мотор, голос которого, чуть приблизившись, стал удаляться.

Скотобои повеселели. И не успел пастух стронуться с места, как шевельнули руками, выставя из-под курток нацеленные стволы.

— Ты должен исчезнуть, — сказали ему.

— Это как? — плохо понял Галактион.

— Как свидетель.

— И вы исчезнуть, но только без этого вон добра! —

Пастух показал на кузов с нарубленным мясом.

— Не понимает, — вздохнул сухощавый. А коренастый с ленивой властностью приказал:

— Слезай! А то и клячу твою заодно продырявим.

И только тут верховой почувствовал обречённость. Спасти уже было нельзя.

— Аль вы не русские! — добавил Галактион и голос его, подхваченный ветром, рванулся в осеннюю темноту.

— Поганцы! — добавил через секунду.

Тут раздался короткий щелчок. И второй. Ударило в грудь, и пастух, оседая с конём, почувствовал сердцем жестокое жженье, которое вытерпеть было нельзя.

Уже на земле, свалившись с Гнедком в жаркий пепел костра, он услышал шаги. К нему подошли. Проверяя: живой ли, опытно наклонились. И что-то сказали. Однако пастух, как на том берегу, и хотел бы услышать да не услышал.

Вологда, 1981 г.

В НОВЫХ ПЕРЬЯХ

В конце апреля, когда на Кубене, брызгая и сверкая, погрохатывал ледолом, из абхазских степей в родную Нечайху возвратился Василий Бараев, высокорослый,

солдатской выправки холостяк с застыло-задумчивыми глазами, которые видели смерть.

Ивановна встретила парня с коротким и радостным воплем:

— Жи-ив!

Для матери нет выше счастья, чем видеть возле себя путёвого сына. Ивановна рада, ходить за ним, как за малым дитём. Стародавней беседнице, вечно бодрой и вечно румяной доярке Аглае она поведала как на духу:

— Вася-то мой белоплотный, здоровый. Водку-безумку не пьёт. Всё-то около дома. Гóжий к любому заделю. Крылёнок изладил. Картошку из ямы перетаскал. На девок глаза не щепéрит. Не чурочку носит, небось, на плечах. Смекает, что верное дело, когда в уваженьи — родимая мать. А девки чего...

— Их и нету у нас, — перебила Аглай. — Одна разве Сонька. Зубастая, что тебе щука! Злая, как чёрт!

— И язык на губу набежал, — дорисовала Ивановна Сонькин портрет. — Всех баб обляяла на деревне. На что ему эдака лайка.

Ивановне 46 лет. 30 из них провела средь коров. Ходит на ферму два раза в день. Сына видит урывками, между делами. Месяца Вася не прожил в деревне, а она в нём нашла уже перемену — носил на душе привезённую с юга печаль, и вот отодвинулся от неё, стал резвее и веселее.

Однажды Ивановна с ним завела разговор. Сказала ему, чтобы Вася с женитьбой не торопился.

— Молод ещё. Поживи холостым.

Сын заупрямился.

— Может, мне холостым-то уже надоело? — И лобатое, с налитыми щеками лицо его озарило сияньице спрятанной думы.

— А невеста? — спросила мать. — Где она? Надо сперва её разглядеть!

— Я, быть может, уже разглядел!

— Вася! Не вздумай и в самом деле кого-нибудь там привести!

— А ежели вздумаю! То чего?

Ивановна даже расстроилась.

— Встану в дверь, как заплót!

— И не пустишь?

— А то!

Губы у сына разъехались в длинной улыбке:

— А окно-то на что?

Через несколько дней в лёгких сумерках майской ночи Ивановна пробудилась от остро точившего сквозняка. Заглянула в светёлку. А там, под раскрытым окном на двуспальной кровати, зная себе, посыпает её гóжий Василий. И не один. А с подругой, в которой Ивановна распознала покорно притихшую Соньку.

— Вася? — сказала она с изумлённым испугом.

Сын лишь поднял ладонь.

— Тиха, мама! Неуж-то не понимаешь? Это моя молодая. Мы поженились.

— Когда?

— От вчерашнего на сегодня.

Ивановна растерялась. «Что делать? Что делать?» — толкался в груди колготливый вопрос.

Час спустя по холодной росе уходила она на ферму. Уходила, как и всегда, на пару с Аглаей, беглые глазки которой, едва разглядев её, вспыхнули интересом:

— Чего, Ивановна, ноне с тобой? Личико-то чужое. Было бело, стало серо.

Ивановна скорбно:

— Перелáдка теперь у меня. Жили вдвоём, будем — втроём.

— Это как?

— Вася женился!

— На ком?

— Да на этой, на лешевой Соньке!

— Ой! Ой! Ты бы её не пускала.

— Я — чего? Так и делала. Дверь закрытой была — дак они скроль окно!

— Значит, Васе она впондрáв! — Восхитилась Аглай. — А чего, Ивановна. Ведь с другой стороны поглядеть: девка бодрая, старше Васи всего на пять лет, и ростом взяла, и лицом ничего, и характером, что боевушкой солдат!

— И губки помадой не залепляет, — неожиданно для себя подхватила Ивановна, чувствуя, как лицо её всё полыхающее возгорелось.

— И к работе годяшна! — продолжала Аглай нахваливать Соньку. — Видела лётось, как стояла она на зароде с граблями. А подавальщиков трое. Хотели сеном её закидать. Да куда-а? Умаялись сами. Девушка — лось!

— Вася знал, кого братъ! — рассиялась Ивановна, ощущая в груди приливание сладенького баухальства...

— Жизнь-то будет теперь у тебя...

— По другому уставу! — Ивановна как бы опомнилась, вскинула руки, поправив платок.

— Всяко лучше? — предположила Аглай.

— Лучше ли, хуже, — Ивановна заморгала, уловив на реснице скатившуюся слезу, — не в этом дело. А в том, что теперь она — в новых перьях!

— Кто?! Сонька, что ли?

— Жизнь, — сказала Ивановна и уставилась взглядом далёко-далёко, через поле овса к зеленевшему лесу, словно там, за деревьями, торопясь ей навстречу, толпились все её непрожитые дни, обещая новые хлопоты и заботы.

Вологда. 1982 г.

НАД СОЖЖЁННОЙ ЗЕМЛЁЙ

Война. В ней не только погибшие и живые, но и потерянные, чью жизнь повернуло к трагическому стоянию, а, то и смешению с теми, кто изо всех сил

цеплялся за радость оставаться рядом с порядочными людьми.

Время от времени вспоминаю Гришу Завалина, когда-то жившего, как и я, в поселке Белый ручей. Наш лесопункт входил в состав Белозерского леспромхоза. Гриша прибыл сюда с артелью сезонных рабочих. И сразу попал на строительство лежневой автотрассы, где я был мастером, и Гриша с первых же дней подружился со мной. Однажды, пережидая под елкой осенний ливень, Гриша мне рассказал о войне, в какую он окунулся еще мальчишкой. У меня была слабость выслушивать тех, кто мог часами рассказывать о себе. Как сейчас, вижу с ожогами на лице сутулого человека. Он и поведал мне о пределах души человеческой, заглянувшей туда, где никто не живет:

«Холм-Жирковский район. Коровякино. Я оттуда. Это моё родовое село. До осени 41-го было оно Советским. И вдруг на крыше дома через дорогу затрепетал флаг с фашистским крестом. С утра гестаповцы вместе со старостой ходят по нашим дворам, абы мы выходили немедленно на работу. В ближнее поле. Подстерней его при отступлении наших войск были зарыты пехотные мины. И надо их удалить. Как это сделать, гестаповцев не касалось. Разделили нас на две группы. По 10–12 искаителей в каждой. Сами охранники где-то сзади. Держатся на расстоянии, так, чтоб мина, если и загрохочет, их бы оставила в целом виде.

Мы, это мальчики, дедушки и младенцы, шли от шоссейной дороги справа. Такая же группа, однако, из женщин и девочек, слева. Пять верст предстояло пройти. Впрягаемся в конные бороны.

Наши соседи сразу мину и зацепили. Взрыв такой, что и нас, хотя были мы шагах в сорока, в разные стороны покидало. Мы растерялись. Хотели было туда, где наши девочки и старушки. Понять: может, кто и живой? Но нас не пустили. Погнали опять. Как сейчас слышу,

скрип комочков земли под зубьями бороны. Слышу и вздохи встревоженных дедов. И то, как у нас, у мальчиков, от страха постукивает во рту. Это, наверно, от понимания, что наша жизнь не стоит уже ничего.

Сбежать бы. Да некуда. Чисто поле. Да два конвойира при автоматах. Идем, и не чувствуем тверди под каблуками. Дошли до опушки леса. Здесь нам велено развернуться. Идти в обратную сторону. Туда, где взлетела мина. Потому и мы теперь можем взлететь. Снова идем по безжизненной стерне. Снова слушаем скрипы и шорохи бороны.

Тут оглушает нас бряканье, грохот и треск. Оглянулись. Танки с крестами. Вот для кого мы прощупывали дорогу. Вот кто способствовал гибели наших девчонок и матерей, оставшихся в поле, как отработанное сырьё.

Разбрелись по домам. Живем – не живем. Все, как один, ушли в нечеловеческие печали. И все-таки, не смотря ни на что, веруем в Красную армию. В то, что она обязательно возвратится.

Верой и укреплялись. Ждали, когда колыхнутся сиреневые мундиры. Заблещут пуговицами на запад. И побегут от нас, как изгои.

И что же? Кажется, дождались. Германия снова у наших ворот. Идет и идет. Теперь не к востоку, а к западу. «Не видеть бы вас никогда!» – думаем мы. Однако у немцев свое на уме. Если и уходить, то уходить не с пустыми руками. С награбленным багажом. И обязательно вместе с нами. Мы бы годились у них, как товар, который можно выгодно сбыть.

Однако с отправкой нас на запад что-то у немцев не получилось. О, как досадовали они. Терпение нас, как расы, которая им ничего не дала, даже обидела их, отправив туда, откуда они явились, лопнуло, как пузырек. И фашисты, осатанев, всех, кто жил на селе, погнало к глубокой силосной яме. И женщин, и бабушек, и девчушек, не говоря уж о нас, о подростках, и тех, кто был

ростиком до колена, столкнули, как в преисподнюю, и начали зарывать, закидывать досками и камнями.

Как побег с ладошками человека, там и сям, торчала вскинутая рука. Против этой руки, против тех, кто шевелится сквозь завалы, тут же и выстрелы, как по цели. Смешались и мертвые, и живые. Наступило оцепенение.

Апрель 43-го. Ночью, при свете пылающих изб прошли наступающие бойцы Красной армии. Прошли, не задерживаясь в селе. Потому, как и не было больше села. Все, кто в нем обитал, остались недвижимы, если не около дома, то в силосной яме.

Оттуда из ямы, кажется, я один и ушел. Уже на рассвете, с трудом развалив почвенные завалы, выбрался вверх. Куда я попал? – спросил у себя, не веря в то, что вижу родное село. Коровякина, как такового, не было и в помине. Справа и слева развалы сгоревших домов. Всюду пепел, сажа и смрад. Кое-как подобрался к родному дому. А где же он сам? Дом с палисадом? С яблоней под окошком? Где же мама моя? Где бабушка? Где сестренка? Нет ничего. Нет никого. В сохранности только большая, с подгарами русская печь. Подождав, пока она поостынет, в нее и залез. Неделю, поди, в ней и жил. Ну, а после? А после, как погорелец, - туда, куда глаза поведут.

12 лет скитаюсь, как неприкаянный. Вербуюсь, куда попало. Хоть в экспедицию, хоть на шахту. Изъездил весь Советский Союз. Теперь вот у вас...»

Последний раз я виделся с ним, когда мне шел 21-й год. Грише же – 25-й. Расстались навеки. Каждому пала собственная дорога. Я хотел уехать в отроги Тянь-Шаня, искать там вместе с геологами алмазы. Гриша мечтал стать писателем. И первый рассказ, какой бы он написал, был бы о Коровякино. Потому и хотел бы он встретиться с Богом. Попросить у него не только для мамы, бабушки и сестренки, но и для всех своих земля-

ков еще одной жизни. Во имя большой справедливости и великого мира, который возвысил бы русского человека, подняв его над сожженной землей.

Вологда, 2019 г.

БЕЛАЯ КОСТЬ

Не узнали собаки гладкого, в шляпе и светлом костюме приезжего человека, кто когда-то здесь жил, но исчез невидимкою, как похититель, кому угрожал долгий срок.

Жизнь вне родины, видимо, не сложилась, и он вернулся туда, где родился. Отсюда, с родины он и бежал. Было ему 29, возраст, в каком, кем бы ни был ты, уже знаешь, кто ты есть и что ожидает тебя впереди.

Никифор Уранов не знал ни того, ни другого. Жил легко, даже весело, обожая семейные вечера, куда его приглашали как гармониста. Профессии никакой. Работал, шатай-валяй, то помощником у завклуба, то грузчиком магазина, то на подхвате у тракториста, трелевавшего к эстакаде поваленные хлысты.

Всё бы это ещё ничего. Живут же люди скромно и незаметно. Однако Никифору этого мало. Хотелось того, чего никогда не имел. Чтоб была под руками не старенькая гармошка, а благородный аккордеон. Чтобы дома по вечерам стол украшали не щи с вареной картошкой, а что-нибудь поизысканней и вкуснее. О спиртном он даже не заикался. Время от времени перед ним стояла и так склянка водки. Хоть и не часто, но он ее потреблял. За что его мамка поругивала тихонько. В ответ на ворчанье ее он ласково улыбался, благо тут же на ум приходили коньяк или виски, а следом за ними и что-нибудь из икры, ветчины, мороженого и торта. К сожалению, это был стол не из мира сего, а из мира воображения.

Однажды он оказался в канторе, куда его пригласили бухгалтер с начальником лесопункта, дабы отметить в узком кругу успех по продаже заказчику бревен. Дабы вечер прошел на ура, пригласили двух девушек легкого поведения. Пригласили и гармониста.

Уранов, считай, и не пил в этот вечер. Смутил его сейф. Дверца его была приоткрыта, и в самом низу он заметил портфель. Был он не заперт, и сверху, высунувшись наружу, мерцали тысячные купюры. Наверное, это и был гонорар, какой начальник с бухгалтером получили, продав кому-то тайком леспромхозовский лес. Уранов прикинул: «Тут этих пташек на миллион...»

Что было на вечере? Джим и ликер. Пиво и водка. Скрип стульев, с которых соскакивали девицы, перебираясь к хозяевам лесопункта на прочно расставленные колени. Пляска под развлекательную гармошку. Всплеск светлых платьев. Хлопки по мягкому месту и поцелуи.

Никифор закрыл глаза. Играли на гармошке вслепую. Когда открыл их, то не увидел рядом с собой никого. Все четверо как исчезли. Нет, не на улицу. В две боковые комнаты. Были они тихи. И вот бурно ожили, наполняясь вздохами и сопеньем.

Никифор поставил на стол отдыхающую гармошку. Сам — к портфелю. Вынул его из сейфа и тут же с ним — на крыльце.

Куда теперь? Нет, не домой. Там мать и отец. Будут расспрашивать. Да и портфель увидят. Спросят: чего в нем такое? И что на это он им?

Никто не видел Никифора в этот вечер. Он же с глухо бьющимся сердцем спешил, и сам, не зная куда. Минуту спустя его озарило: да хоть куда. Лишь бы подальше. Без денег он кто? Нищеброд. А с деньгами? О-о! Уранов обрадовался, как черт.

У крайнего дома остановился. Снял с забора еще не просохший чей-то рюкзак. Уже за поселком, в лесу, под

крайней ёлкой переложил пачки денег в рюкзак. Портфель, улыбаясь, поцеловал, и, размахнувшись, швырнулся подальше в ивовые кусты.

«Теперь моя жизнь на мази. Был нищий, и нате вам – в один вечер вышел из бедноты. Благополучный миллионер. Куда я теперь? В город. А там – на вокзал. Покупаю билет до Москвы. Там столько народу. Ищите меня. Хрен найдут...»

Москва приняла Никифора, как родного. Деньги есть, можно и в ней себя чувствовать белой костью.

Десять лет пролетели. Ни в чем себе не отказывал свет-Никифор. И вот он гол, как сокол. Потому и деревня стала сниться ему ночами. Туда! Больше некуда. Там родные мать и отец. Они не обидят. Примут. К тому же они и пенсию получают. Поделятся, коли к ним с соответствующим подкатом.

С легкими думами выбирался Никифор в родной поселок. Сначала в райцентр. Потом в лесопункт. И вот большая знакомая елка, под которой он перекладывал миллион. А за ней, по обе стороны летней дороги низенькие заборы, туалетные будки, стандартные, на четыре квартиры дома. В одном из них – его мать и отец. Поднимаясь на низенькое крыльце, вдруг провалился, попадая ногой в прогнивший настил. Дверь, казалось бы в двух шагах. Но на ней оскаливался замок. Рассердившись, Никифор потряс его. Но тот не открылся. И только хотел поискать где-нибудь на заборе какой-нибудь гвоздь, чтобы им раскурочить замок, как услышал шаги.

Две старушки. Обе уставились на него, как на вора, попадающего туда, где никто не живет.

– Нету тут никого, – сказали они.

Уранов заволновался:

– А Мария Евгеньевна где?

– Померла.
– А Антон Николаевич?
– А Антоха в город подался. Где-то там и живет. То ли в Вологде. То ли в Череповце. Ну, а ты-то кто будешь?
– Да так. Проездом, – буркнул Никифор.
Тут одна из старушек узнала его:
– Это ты? Неужелечи сам Уранов?
Никифор похолодел.
Вторая старушка даже платок с головы сняла, чтоб удобней в пришельца взглянуться.
– Он! Это он! Вор непойманной! Это ты у нашего Зудакова денежки-то прихапал! Его из-за них забрали в милицию. Десять лет в лагере просидел. Домой оттудова прошлой осенью воротился. Большой-пребольной. Хотел маленько еще пожить. Да болезнь не дала. Похоронили, христового. А ты-то живешь! И не худо! Вон румянец, какой! Да и сало под пиджаком прямо так и кипит.

Никифор повел головой. Повернулся спиной к старушкам, вздохнул и пошел, сам не зная куда, лишь бы выбраться из поселка.

Навстречу ему в валочной каске, дымя сигаретой, высокий мужик. Он стоял в стороне через улицу и всё слышал. Никифор подумал о том, что мужик сейчас остановит его. Но тот пропустил его, высыпался в крапиву и, тяжело вскинув голову, сурово предупредил:

– Не смей возвращаться! Понял меня? А не то...

Вологда, 2019

ЗАГОВОРЁННЫЙ

Кольку Журавлева в нашем городе знали, кажется, все. Особенно те, кто в летние выходные пропадает на стадионе. Колька был футболистом, стоял в воротах

сборной города. И команда его редко кому проигрывала в футбол.

— Ур-ра-а! — кричали болельщики, видя, как Журавлев опять взлетал к перекладине, весь собравшийся и упругий, прижимая к груди перехваченный мяч.

А потом, через несколько дней, когда наступил июнь 41-го, и ввалилась в страну война, юные жители города провожали Кольку на пароход. Колька стоял на палубе и вздыхал, посыпая маме своей, рыдавшей среди молодежи на пристани, успокоительные порывы. Мол, всё у меня хорошо. Сейчас хорошо и потом хорошо, когда повоюю и возвращусь. И выглядеть буду не вялым, как в эту минуту, а энергичным. И всё оттого, что война была, но ушла и теперь наступают спокойные дни.

На спине у Кольки рюкзак, на ладони — кожаный, в клеточку мяч. Ободрённый вниманием провожатых, Колька вдруг вскинул мяч и ударил ногой. Мяч — туда, где высокая пристань, а на ней — самый пылкий народ.

Ребятишки, хватая мяч, сбились в кучу. Мяч, однако, не удержали, и тот метнулся куда-то вверх и ушел бы, наверное, в воду. Но одна из поклонниц Кольки поймала его на лету. При этом она немного не рассчитала и рассталась с прозрачной косынкой, которую сдул с головы пылкий ветер и утащил в струи воздуха над рекой.

Так и запомнил Колька ее с протянутыми руками, как она ловит свою косынку, а та, как нетронутая мечта, — вдаль и вдаль от неё, от красивой девушки с растерянными глазами.

Уплывал Журавлев к висевшему над рекой вечернему солнцу, чтобы попасть сначала в Вологду, а потом — и на Западный фронт.

Август. Жара. Бои за Смоленск. Последний из них оказался для Кольки необъяснимым.

Подразделение пехотинцев, где Журавлев числился рядовым, выбралось в поле еще до рассвета. Журавлев возбужден, словно шел не опасным местом, где скрывался невидимый враг. Ему казалось, что он сейчас на родном стадионе, где вот-вот начнется решающий матч. Был у парня особенный слух. Свист мяча, летевшего где-то вверху, он научился улавливать до того, как тому оказаться в сетке ворот. Теперь этот свист исходил от пушечного снаряда. И надо было за долю секунды - куда-нибудь прочь от него. Спасай свое тело, где сумасшедшим прыжком, а где и нырком в какую-нибудь водоройну или воронку. Кто делать этого не умел, оставался распластанным среди поля.

Колька бежал, опережая запаренных пехотинцев. Неожиданно сбыло воздушной волной. Трехлинейку, куда влепился осколок, раздробило и вышибло из руки. Боец не упал, а рухнул куда-то вниз, где зияла недавно вырытая траншея.

Колька поднялся. Шагах в десяти от него кто-то зашевелился. Немец в фуражке с гербом. А там еще кто-то худой и высокий, с двумя рядами пуговиц на мундире. Они раньше заметили Кольку, отчего он похолодел, но сразу вспомнил про отдыхавшую под ремнем ручную гранату. Нащупал ее, дернул кольцо, и невольно — вперед, по инерции вслед за гранатой.

Взрыв, огонь и ползущий, как синие змеи, разорванный дым. Вставая с коленей, Колька моргнул, недоуменно спросив у себя: «А дальше-то как? Нет при мне ничего. Ни гранаты, ни трехлинейки...»

Приглядевшись к синему воздуху, Журавлев различил в нем немца с разорванным животом и лежавший в ногах у него пистолет-пулемет. Стать обладателем дьявольского ствола — это было везением из везений. Теперь Журавлев при оружии. Том самом стволе, о котором в начале войны мечтали едва ли не все советские пехотинцы. Осмотревшись, он краем глаза заметил бе-

гущую по траншее стайку серых мундиров. Дал по ним очередь. И удивился, когда те попадали друг за другом. Оказывается и фрицев можно косить, как худую траву.

Выбрался он из траншеи, когда оказалась она притихшей. Увидел ступеньки в глине. По ним и поднялся, опять оказавшись в ячменном поле. Залёг за глыбкой земли. И давай нажимать на гашетку прихваченного трофея. Стрелял так просто, как в никуда. Радовался тому, что сейчас он живой, и кто-то, пожалуй, его и боится.

Однако спрятался он ненадежно. Надо бы было ему окопаться. А он за каким-то клочком земли. И тут он увидел бегущую мышку. Удивился ее отваге, с какой она пробиралась по хлебному житу, неся в зубах набухающий колосок. Для детишек своих, которые в норке и ждут от мамы своей привычной еды.

Неожиданно Колька почувствовал, как его подхватило и понесло, потащило куда-то назад, в неопасное время, где нет ни русских, ни немцев, и никто еще не стреляет.

Колька не знал, что в него метились и попали. Ствол в руках немца был безупречным. Не знал о своем попадании и фашист. Поэтому чуть не в упор стрелял и стрелял в пилотку с такой вызывающе красной звездой. Но пули Кольке вреда и боли не причиняли. Он их не чувствовал. Ну, нисколько. Как если бы от всего, что стреляет и убивает, он был навечно заговорён.

Вологда, 2019 г.

ВЫСОКОЕ ПРЕБЫВАНИЕ

Деревня Сибла. Что в ней такого? Да ничего. Жизнь, хоть и не бойко, но шевелилась. Была когда-то здесь и конюшня, и ферма, где доярки доили колхозных коров.

Были и конюх, и бригадир. Были и бабушки с дедами, и шустрые ребятишки. Но самое примечательное было то, что лет за 40 тому назад жил здесь писатель Виктор Петрович Астафьев. По утрам он по пояс высовывался в окно. Дышал кедровым ароматом.

Возле дома его благоухал пышный кедр. Шишок на нем еще не было. Но тёмно-зеленые ветви его были в наливе, иголки, вытянувшись по ветру, мягко шептали: «Потерпите. Появятся и цветы, а в них – пузатенькие орехи».

Кедр этот Виктор Петрович в Устюжне заказал, где по сей день бытует богатый кедровый заповедник. Привезли его за 300 без малого верст. Братья Смирновы Иван с Алексеем, ставившие Астафьевым изгородь на усадьбе, заодно и саженец посадили.

– Расти, как в Сибири, – улыбнулись Астафьеву – Но, чтобы не в холостую. С шишками! В смак!

Сколько лет пролетело с тех пор! Кедр раздался в бока, поднялся и в высоту, обогнав в росте местные сосны. И шишки стали проблескивать меж иголок.

Рядом с Сиблой за километр через мелкий лесок, ручеек и поле разместилась деревня Стегаиха, травяная, веселая, с несколькими садами, в которых летают смелые трясогузки, оберегая яблони от ворон. Здесь когда-то я жил, как дачник. Из окна моего пятистенка виден был и Астафьевский пятистенок. Иногда я его рассматривал из трубы полевого теодолита, который мне одолжал приезжавший из Харовска землемер, проводя за деревней съемку сельхозугодий. В 24 раза увеличивала труба, так что я мог в подробностях рассмотреть то, что творится не только в усадьбе Астафьева, но и в самом его доме. Пару раз я, наверное, наблюдал, как хозяин, раскрыв окно, усаживался за стол и писал. Хотел бы я прочитать то, что пишет он в эту минуту. Однако не мог. Не хватало в трубе той самой силы, какая дала бы возможность читать без

напряга за километр. Зато хватало ее, чтобы я увидел писателя в поиске слова. Сосредоточенное лицо, плечи, покрытые майкой, взъерошенный гребень волос и рука, которая то и дело взлетала над головой, выражая писательское волнение.

От продолжительного сиденья Астафьев, как правило, отдыхал на Кубене. Обувал сапоги сорок второго размера, в руку – спиннинг и спускался ложбинкой к ольховым кустам, сквозь которые скрытно поблескивала река, играя выплеском брызг, песчаными мелями и камнями. Хотелось выйти из пресного состояния. Войти – в плодотворное, бурное, готовое к поиску ярких картин, где и скрывается мощное слово. Потому-то Виктор Петрович потом, в той же Сибле, открыв окно, и напишет свою молитву, выразив словом всё то, что таила в себе душа. Напишет про лошадей, проступающих сквозь туман. Про то, как заслышиав шуршанье травы, заскрипит коростель, торопясь со всех своих лап к скрывающейся подруге. Про доцветающую рябину. Про то, как сегодняшнее, обнявшись с забытым, уходит туда, где когда-то, как в первый день, пробуждалась земля, наполняя реку и берег зеленым трепетом и смущением.

Природа подарила Астафьеву многие дни высокого пребывания между божьей землей и божьими небесами. Не случайно все рассказы его, все повести с их певучим астафьевским языком, проникнуты задушевностью и глубокой славянской тоской. Как если бы где-то рядом на берегу полноводной реки сидит, укутанный травами пастушок и дует в дуду. О чем это он? О родине, которой он признается в чем-то тайном и сокровенном, без чего не прожить ему даже и дня.

Вологда, 2018 г.

НА ГОЛОС СУДЬБЫ

В ожидании парохода, мы прогуливались по берегу Тотьмы втроем: Николай Рубцов, сотрудник местной газеты Гоша Макаров и я. Было лето 60 какого-то года. Шли и слушали Гошу, который писал в то время очерк о сподвижнике Стеньки Разина атамане Илюшке Пономареве. Рассказывал Гоша про то, как Илюшка, спасая себя, бежал от своих товарищей, оставив их пропадать в таежных урочищах Унжи. Предстояло ему ватагу восставших, в которой было семь сотен бойцов, куда-нибудь прятать или бежать с ней к востоку. Но это было связано с риском. Повстанцев уже настигал воевода Нарбеков, и без боя уйти от него было уже невозможно. Илюшка понял, что он проиграл, потому и решил исчезнуть, как невидимка, взяв с собой не 700 человек, а лишь пятерых. Хотел отсидеться в Тотьме до лучших времен. Да около речки Черной, в пяти верстах от уездного города был схвачен и сразу доставлен в губную избу, где воевода Ртищев и заставил Илюшку разговориться, а там и повесил его на высоком Сухонском берегу.

Нас с Рубцовым смущила не столько казнь атамана, сколько его путешествие на санях после смерти по многочисленным селам и деревням трех соседних друг с другом уездов, где Илюшку вешали снова и снова, дабы устрашить его видом местных селян. Мол, подобное будет со всем мужичьем, кто подымет голову на царя.

— Сплоховал атаман, даже жалко его, — поды托жил Макаров.

На что Рубцов горячо, в возмущении:

— А мне нисколько его не жаль!

Макаров смущился:

— Но почему?

— Потому, что он дезертировал, — ответил Рубцов, — бросил своих товарищей. Будь я тотемским воеводой, я бы тоже его, как предателя, к смерти приговорил.

Приблизительно так выразился Рубцов об Илюшке Пономареве.

Спускаясь к пристани, куда был должен приплыть из Вологды пароход, Рубцов покосился на красную крышу Потребсоюза, где когда-то был голый берег, на котором стояла виселица с Илюшкой.

- Угрюмое место, - вздохнул и, не приняв души разбойного человека, повернулся к реке.

Тут раздался гудок, и возле Зеленей мелькнул двумя этажами белопалубный Ляпидевский. Рубцов немного повеселел.

- Завтра на нем я и поплыву.

- Куда? - спросил я его.

- Сам не знаю пока, - ответил Рубцов, - но сначала в Москву. Ну, а там, может, даже туда, где всё это происходило.

- Неужели на Унжу?

- Почему бы и нет! Возьму в каком-нибудь толстом журнале командировку - и на целое лето в края, откуда бежал Илюшка.

Не поверил Гоша Рубцову. Не поверил поэту и я. Однако, Рубцов по приезду в Москву действительно взял в одном из журналов командировку. И умчался куда-то на Унжу, а там и в глухие смешанные леса, где когда-то разбойничал Стенька Разин. Правда, пробыл он там недолго. Всего лишь несколько дней. И, возвратившись оттуда, даже еще по дороге в Вологду начал писать: «Мне о том рассказывали сосны...» Писал под стук колес поезда. Продолжил же эту поэму в Тимонихе, у Белова. А закончил ее у себя на последней квартире в Вологде. Поэму о той роковой, крайне редкой любви, какую заслуживает не каждый.

Минино, 2018

ДОВЕРЧИВ И ПРОСТ

Вспоминая Анатолия Мартюкова, я вижу 90-е годы, плывущий по Сухоне пароход «Леваневский». Пароход идёт там, где Груздевый перекат. Из-за узкого русла, камней, выступающих из воды, участок открыт в одну только сторону, как если бы это была однопутная трасса, и всякий встречный плывущий объект мог вызвать страшную катастрофу, какая всегда неизбежна при столкновении двух нос к носу встречающихся судов.

Мартюков плыл вторым штурманом парохода. Не его была смена. Он отдыхал. Но первый штурман, чем-то очень встревоженный, вдруг попросил его подменить. Не мог отказать ему Анатолий. Товарищ он всегда выручал. Встал за штурвал.

Светофор, запрещавший движение парохода, был позади. К тому же из-за ночного тумана он был невидим. «Леваневский» должен был ждать около светофора, пропуская буксир, тащивший против течения сцепку плотов. Этого Анатолий не знал. Во всяком случае, Мартюков не думал, что путь для его парохода закрыт. И потому, на мгновение растерялся, когда из-за острова вдруг возникла громада буксира с лесом.

Узкий фарватер кипел на камнях. Из воды выступали высокие валуны. Мартюков забыл обо всём на свете. В мозг впилась одна только мысль: как пройти, не задев буксира?

Бог, наверно, помог, вспоминал поздней Мартюков. Да ещё присутствие духа не оставил Анатолия в эту минуту. Он тут же остановил паровую машину. Перестали работать шлизы колёс. Ход пароходу давало стремительное течение. Поэтому и штурвал был послушен, и мог направить судно в рябившие воды фарватера между сближающимся буксиrom с одной стороны, и оскалом камней – с другой.

Пронесло. Наутро, сдавая вахту первому штурману, Анатолий ждал от него объяснений: почему он его подставил? Тот ничего ему не сказал. Даже больше того, изобразил на лице бесконечную скучу. Хотя и так было ясно – человек допустил халатность, и испугался, не зная, как ему поступить, дабы избежать неминуемой катастрофы. Пришлось тогда бы ему отвечать. А это уже срок сидения за решёткой. Чего он так боялся и так не хотел. Потому и просил Мартюкова, чтобы тот его подменил. Случись бы крушение – не он бы и виноват...

Не случившаяся беда вызывала в душе Мартюкова вопросы: кто из людей, с кем он встречается, ненадёжен? Кто совершает дурной поступок по умыслу? Кто – по трусости? По отсутствию воли? Наконец, по собственной слепоте?

Подобное самокопание было нужно ему, чтоб понять самого себя. Хотя понимать себя пробовал он с малых лет. Насколько он хорош или плох для людей, тех, кто всегда был с ним рядом?

Рядом же были такие, как он, потерявшие своих отцов с матерями сироты. Детство шагало с ним рядом по берегу речки Толшмы, на котором стоял детдом. Туда маленький Мартюков попал с сестрой в 1943 году. В том же году, но уже осенью с пристани на реке Сухоне, где стоит село Красное, прибыла в детский дом новая группа сирот.

– Ребята! – объявил воспитатель. – Это ваши новые друзья. Они протопали от пристани пешком 25 километров. Прямо с парома, без передышки...

Но лишних кроватей в спальне не оказалось. Вперед, как на сцену, выходили юные пилигримы. Самым старшим из них – восемь лет.

– Коля Рубцов. Ложись на эту кровать, – показал воспитатель. – Мартюков, подвинься.

Без единого слова, но со светом в глазах шёл черноглазый мальчишка. С тонким лицом, хрупкий, прозрачный, как невидимка.

— А тебя зовут Толей, — сказал он тихо.

— Да... А как ты узнал?

— Вон, — показал Рубцов на спинку кровати. — Написано на дощечке.

Всем хватило места в детской спальне. Спали ребята валетом. Ноги вместе, головы врозь. И так целый год.

— Коль, а ты немцев видел? — как-то спросил у Рубцова Толя.

— Я — нет. А Вася Черемхин и убитых видел. Его из Ленинграда вывезли. На горящем самолёте. Целый самолёт с детдомовцами чуть в озеро не рухнул. Раненый лётчик дотянулся до берега. Всех спас.

— Он — герой?

— Нет. Лейтенант...

Село Никольское. Кто бы мог подумать, что отсюда, как из гнезда, в разные пределы страны вылетят два соловья, грудь которых наполнена образами красивой деревни Николы. Речка, изгородь, сельсовет с красным флагом, пасущееся стадо коров, просторы летнего луга — всё это станет для них чем-то общим, конкретным, из этой местности, откуда они и брали образы для рождающихся стихов. Голоса разные, а источник один. Не удивительно, если что-то в строчках Рубцова было почти Мартюковским. Так же, как в опытах Мартюкова могло открыться что-то Рубцовское. Это не было подражанием. У того и другого — своё. Единственно, чему Мартюков и Рубцов могли подражать — так это родной природе. Писать так, как рука незримого жизнетворца. И главное, чтобы строки стихов вели за собой, обнажали тайну души влюблённого в красоту и чудо счастливого человека. Счастливого оттого, что он, открывая книгу Рубцова, разглядел в ней то, чего не хватало его душе. А потом, спустя годы, когда не стало Рубцова, мог увидеть его продолжение, раскрыв при этом сборник стихов Анатолия Мартюкова.

Однако не стало и Мартюкова. Читаю фрагменты письма Мартюкова ко мне.

«Я живу собой. Всё, что есть во мне, моим и останется. В нынешние лета труднее располагать на взаимность и чью-то чуткую душу. Теперь я знаю, что мы дышим одним воздухом. И живём под одной крышей. Крышей добра и справедливости. Мы – это ты, к примеру, и я.

Я прост перед всеми людьми. И доверчив только до первого обмана. Любая правда, даже если она жестокая, меня не обижает. В этом случае я не оправдываюсь. Да и в любом случае оправдываться не надо...»

Не просто складывается судьба поэта. Да и признание его встречает на своём пути немало препятствий. Помню, как мы принимали Анатолия Мартюкова в писательский Союз. Вёл собрание Александр Грязев. Не знаю, почему, но, видимо, мало кто читал Мартюкова, и были поэтому все безразличны к тому: примут его в наше братство или не примут? Случилось так, что против вступления его в Союз поднялись 2–3 руки. Воздержавшимся оказалось почти всё собрание. А за то, чтобы принять Мартюкова? Один человек. И это был я.

Наше казённое равнодушие привело к тому, что яркий талант оказался на выбросе. Мы прошлись по нему собственными ногами.

На следующий день в писательскую организацию позвонил только что приехавший из Москвы Василий Белов. К счастью, он был знаком с творчеством Мартюкова. Услышав, что Анатолий оказался непринятым, Белов разразился тяжёлой бранью:

– Да вы что там все с ума посходили!..

Надо отдать должное Саше Грязеву. Он взял себя в руки, набрался мужества и потребовал от всех нас, чтобы мы по-настоящему ознакомились с творчеством Мартюкова. Повторное голосование поправило положение. Мартюков был принят в Союз единогласно.

Анатолий Мартюков – поэт редкостный. Долгие годы он работал в великоустюгской районной газете. Для писателя работа в газете – это проверка его на художественный талант. Редко кто выдерживает такую проверку. Талант, как правило, размывают газетные строки, и подававший большие надежды начинающий писатель становится обыкновенным скучным корреспондентом. С Мартюковым этого не случилось.

Читаю его стихи, как открываю калитку в усадьбу, где соседствуют мужество, солнце и красота. Нет сегодня Анатолия с нами, но есть чуть притихшая в русской природе его походка, которой он до сих порступает по нашей земле, оставляя для нас не тускнеющие шедевры.

Синяя вода
Бежит с пригорка.
В синей вышине
Стволы берёз.
Я пою,
Исполненный восторга, -
Вот бы так
Всегда легко жилось!
Новый день –
Как мир в своём начале.
Как глаза
Доверчивых людей.
И опять
Над озером качает
Ветер
Белокрылых лебедей...

Вологда, 2014 г.

ОТСТУПИВШАЯ СИЛА

Присутствие тёмной кощунственной силы ощущали мы, пока слушали рассказ Вячеслава Кошелева о том, как его родной дед вместе с семьёй под конвоем охранников добирался из вологодской деревни на необжитые земли республики Коми. Добирался пешком. До места переселения более тысячи вёрст. Если можешь – иди.

Шли отборные хлеборобы страны, переведённые в однотасье в кулаков второй категории. В чём они согрешили? В том, что умели выращивать хлеб, но не умели его раздавать бесплатно. Шли, кто в одиночку, кто семьями, оставляя сзади себя под берёзой или осиной, а то и в болотинке холмики тех, кого канала лесная дорога. Сколько косточек было посажено в ней, никто не считал. Семья Кошелевых явилась к конечному пункту тоже с потерями.

Ставлю себя на место гонимого. Ты и нетронутый лес. Тянется лес до гор Северного Урала. А кто постоялец в лесу? Заяц, комар, лисица и выпь. Мне от этого холодно. Спрашиваю себя: а я бы так мог? В ответ – тишина.

Что было дальше? Опять испытание. Сумеет семья устроить себе неизвестно чем вырытую землянку – будет выиграна неделя, а то и две. И за эти 10-15 дней спеши подготовить ещё одно, но уже основательное жильё, чтоб однажды под завывание выюги тебе и твоим домочадцам в стылые чурки не превратиться.

Переселенцы чаще всего умирали на первом году. Голод и холод. Если и то, и другое одолевали, значит, и жизнь оставалась с ними и в них.

Выживали сильнейшие. Выживали и жили благодаря своему трудолюбию, крестьянской смекалке, умению из ничего делать всё, и тому, что держались возле таких же, как сами они, самостоятельных и надёжных.

Укреплялись переселенцы. Не хотели жить бедно и безнадёжно. Врубались в угрюмый сузём, сжигали лесную непролазь, рыхлили землю, сеяли хлеб. Хотели того или нет, но образовывали колхозы. Так было надо по строгим законам социализма. Сильные кулаки и колхоз создавали сильный.

Дети росли. Превращались в парней. 1941-й почти всех позвал на войну. Половина из них осталась на поле брани. Тот, кто вернулся, имел при себе медали и ордена. Были, среди возвратившихся, и герои.

По истечению срока высылки далеко не все уезжали на родину. На родине не было ничего — ни жилья, ни земли. Всё отобрано. Здесь же — уже состоявшееся хозяйство, привычный уклад, рыбалка с охотой, добропорядочные соседи, одним словом, нормальная жизнь...

Нас четверо — Коротаев Виктор, Дружининский Коля, Хлебов Слава и я. Сидим на квартире у баснописца, пьём чай и внимаем рассказу ссыльного кулака.

— Я решил повторить дорогу, — продолжал Вячеслав. — Ту самую, какой шли в неволю мои дедушка, мама, папа, два моих дяди и малые ребятишки. Повторить дорогу на каторгу спустя сорок лет. И что же? Прошёл её. Больше месяца был в пути. В поселение, где когда-то жили мои родители, меня встретили насторожённо. Хмуро уставились на меня плечистые мужики с пудовыми кулаками. Но когда я сказал, чей я есть, тут же, меня по очереди — в объятия. Сразу стал я своим у своих...

Не сразу осмысливаешь соседство двух ситуаций. То, что рядом с тобой светлый мир города металлургов. И то, что к душе твоей приваливает нечто угрюмое, тёмное, и надо это преодолеть.

И всё же тот вечер нам запомнился навсегда. Днем мы общались с череповчанами, рассказывали им о писательской жизни, читали стихи. А в сумерках, перед тем как пойти в гостиницу, хорошо посидели у Сла-

вы Хлебова. Главное – получили в подарок рассказ о стойкости русского человека, который вопреки государственной строгости пошёл и прошёл через всё, что замахивается на жизнь.

Год спустя я читал книгу «Константин Батюшков. Странствия и страсти». Автор её – Вячеслав Анатольевич Кошелёв, проректор Череповецкого пединститута.

В то время я возглавлял писательскую организацию. И очень обрадовался, когда на руках у меня оказалось заявление Кошелева с просьбой принять его в члены Союза писателей СССР.

Вручать писательский билет человеку, который был кость от кости в родного деда, повторившего добровольно его дорогу на выселки, скажу откровенно, было приятно.

Широкими шагами ступает по жизни Вячеслав Анатольевич. Давно уже он заведует кафедрой русской классической литературы Новгородского государственного университета. Одновременно имеет звание профессора и действительного члена Академии наук высшей школы России. Студентам Вуза есть с кого брать пример.

Книга «Константин Батюшков», как, впрочем, и другие его работы, тем и оригинальна, что все герои ее не выдуманы. Эпоха, в которой они живут, приближена к нам настолько, что кажется всё, о чем сообщают они, было вчера. Голоса автора нет. Есть голоса тех, кто со всеми с нами рядом, несмотря на то, что им уже 200 и более лет. Смещение времени происходит видимо от того, что автор умеет жить сразу в двух временах – в сегодняшнем и в давно забытом-перезабытом. Отсюда к нему и доверие, как и ко всякому в грешной России, кто во всем полагается на себя. На свой жизненный опыт, свою культуру, свой интеллект, и свое неотклоняемое стояние.

Вологда, 2015 г.

СТОЯНИЕ

Иван Дмитриевич Полуянов – личность незаурядная. Где он только себя не явил! В уютных залах библиотек, древнерусских архивах, на берегах почти всех вологодских рек, болот и озёр, в загадочных, пахнущих хвоей глухих сузёмах и на тех бесконечных просёлках и тропах, которыми нужно идти и идти, никуда не прия, чтоб опять и опять продолжить свою дорогу. Дорогу не только писателя, но и очлежника у костра, и художника, и открывателя всех живущих существ на свете, включая зверя, птицу и человека. Человека не всякого, а того, кто с богатым внутренним миром, чья натура таит притягательную загадку.

Добираться до самой сути. Во всём. Чтоб вопросы в ищущей голове обрастили ответами, которые были бы всем понятны. Только лишь после этого Полуянов садился за стол и писал своим трудночитаемым почерком очередную страницу повествования. Чаще всего такая пора для него наступала глухой поздней осенью по отъезду на «Москвиче» из деревни Мартыновской в город.

Деревня Мартыновская, где жил Полуянов летами, в ста километрах от Вологды. Она тиха, малолюдна и очень красива. Особенно в майскую пору, когда друг за другом по очереди расцветают черёмухи, яблони, боярышники и сливы, вытягивая свои пахучие ветви из палисадников на дорогу, и каждого, кто по ней шел и идет, спешат погладить по голове.

Иван Дмитриевич чувствовал себя здесь всегда хорошо. Где-то рядом с его пятистенком соседствовали дома поэта Юрия Макарьевича Леднева и очеркистки Людмилы Дмитриевны Славолюбовой. Я тоже жил в трёх километрах от их деревни, и мы порою встречались друг с другом. У всех у нас были усадебные участки, и мы выращивали на них, овощи, ягодники и даже

понравившиеся нам кусты и деревья, которыми с нами делился соседний лес.

Иван Дмитриевич, хоть нас особо и не учил, но опыт свой, опыт бывалого лесовода и огородника передавал с удовольствием. Гордился тем, например, что у него в огороде раньше всех расцветает картошка, не в августе, как обычно, а в самом начале июля. Почему? На заданный нами вопрос он отвечал:

- В конце апреля приезжаю из Вологды. Топлю печь. Ставлю на неё пару корзин семенной картошки, окропляю её водой и уезжаю назад. Приезжаю спустя две недели. Моя картошка вся обросла ростками. Они-то мне и дают преждевременный урожай. Вы тоже попробуйте. Не пожалеете.

Пробовал, знаю, Юрий Макарович. Я тоже пробовал. И местные жители, само собой. И у всех у нас всё выходило так, как подсказывал Полуянов. Поспевшие молодые клубни шли на наш обеденный стол не в начале осени, а в июле.

Жил Иван Дмитриевич в больших деревянных хоромах. Пятистенок старинной рубки. Комнат не счесть. Хотя обитали в них только трое – сам Полуянов, его постоянно прихварывавшая супруга и дочь.

Как-то Иван Дмитриевич познакомил меня со своим кабинетом. Был солнечный день. И просторная горница на втором этаже, куда мы вошли, была притушённой, как в сумерках от того, что в окно пронирались ветвями сразу несколько крупных деревьев. Иван Дмитриевич улыбнулся:

– Здесь всегда у меня тихий вечер. Не отвлекают ни воробы, ни синицы. Они любят свет. А тут его мало. Для писца это самое то...

Полюбопытствовал я:

– «Самозванцы», наверное, здесь и рождались?

– О-о! Шёл я к ним, наверное, всю свою жизнь. Что-то писал и здесь. Но большинство страниц одолел

всё же в Вологде. Здесь меня отвлекает природа. Зовёт к себе и зовёт. И я ухожу. То ли с удочкой на реку. То ли с фотоаппаратом. Люблю снимать птичьи свадьбы. Это такие рулады, такие страсти! У нас тут чаще всего женихуются чайки. Иногда ухожу туда, не знаю куда. С простыми руками. Побыть один на один с облаками. Они, как столетия, движутся надо мной. И в них я вижу то, что потом читатель увидит в книге.

В огороде Ивана Дмитриевича среди сирени была засидка, из которой он наблюдал прилёты с отлётыми всех боровых, луговых и болотных птиц. Не пропускал и стаи ворон, выгоняющих из деревни залетевшую со-слепа серую выпь. Сценки воздушной схватки рождались у него на глазах едва ли не ежедневно.

Природа манила писателя сегодня на крохотный ручеёк, который тёк, тёк, и вдруг пересох, потому что где-то вверху перегородили его жёлторотые жабы. Завтра надо сгулять на ягодное болото: высыпало на глади столько морошки, что собирать её можно аж соломенной шляпой. Послезавтра - к сказочным выскорням среди ёлок, в которых была у медведицы лёжка, и летом можно увидеть её с двумя медвежатами около гари, где рос вперемешку с кипреем глухой малинник.

И всё-таки чаще всего навещал Иван Дмитриевич красавицу-Кубину, голубая вода которой играет в любую погоду, а в солнечный вечер она похожа на проплывающих в ней верховых окуней. Полуянов рассказывал:

– Там у нас, под горой, за гороховым полем, ёлки смотрятся с берега в воду. Иногда, чуть стемнеет, наблюдаю за чёртом в очках.

Не верится мне:

– Неужели чёртом?

– Филином, надо думать. Крупноголовым, глазастым, с поднятыми ушами. Уши его слышат всё, даже то, как стучит у меня от волнения сердце. У него в этих

ёлках гнездо. Недоступно ни для кого. Вот я и стараюсь его как-то подкараулить...

Природа вошла в душу писателя навсегда. И родился-то Полуянов, можно сказать, в самом сердце диких лесов. Деревенька Семейные Ложки со всех сторон окружена переспелыми елями. Рядом бежит по камням речка-резвунья по имени Городишня. Кругом цветы, ягодные поляны. По вечерам слышен лай лисят и лисы. Древними сказками подзывают расшумевшиеся деревья. И месяц вверху огромен и страшен, как глаз зависшего в небе ночного гостя.

Из Семейных Ложков семья Полуяновых переехала в дальний Архангельск. В семье подрастало два сына. Оба мечтали, хотя бы на денёк оказаться в Ложках. И что же. Едва вступили в юные годы, так и исполнили эту мечту. Поплыли в родительский дом на большом белопалубном пароходе. И так каждый год. Случилось, однако, сухое лето. Пересохла даже Северная Двина, и пароходы по ней уже не ходили. Старший брат был настойчив и смел. Заявил молоденькому Ванюше:

—Ты, как хочешь, а я всё равно поплыву!

—И я поплыву! — ответил Ванюша.

Для чего из бросовых бревен соорудили плавучий плот, и - вперёд, воображая себя пловцами. 160 километров. Хотя и с трудом, но всё же, преодолели.

Хвойная мгла тайги. Суровые очи озёр. Ночная рыбалка. Поход в полевой городок, где такой крупный храм, что, казалось, стоит он не на земле, а плавает в небе. И заявляет с гордостью о себе: «Приходите ещё! Я здесь буду всегда!»

Последнее посещение Городишни было у Вани прощальным. Храма не было на горе. Вместо него в беспорядке раздробленных кирпичей рдело кровавое возвышение. Святыню раздели на кирпичи. Уходил отсюда молоденький Полуянов, ощущая спиной взгляд усталого пилигрима, который сюда приходил помолиться. И вот

вместо светлой молитвы бросал в тусклый воздух беспомощные слова: «Как же быть-то теперे? Как же?..»

Наступил 1941-й. Война. Семья Полуяновых поре-деля. Сначала ушел на войну отец, а потом старший брат. Иван Дмитриевич был ещё недоростком, и рос, казалось бы, для того, чтобы и ему отправиться на войну. Что и случилось. Уехал последний в семье мужчина туда, где калечат и убивают. Воевал пехотным бойцом. Отстаивал родину. Во имя будущей тишины и возможности жить, как живут все достойные люди.

После войны Полуянов работал в библиотеке. Одновременно живописал, пробуя силы свои в художественных набросках, создавая кистью портреты знакомых людей и пейзажные зарисовки. И ещё, как мёdom, притягивала к себе русская литература, в которой так много было ещё не сказано, не выверено душой, не раскрыто щемящего и святого. А почему бы ему самому не нырнуть в это лоно? И вот написал Полуянов первый рассказ. Потом и второй. И третий. А там и со счёту сбылся. Предложил рассказы в издательство. Взяли. И в том же году напечатали книжкой. С того и пошло.

В Вологду Иван Дмитриевич переехал в 1961 году, уже, будучи членом Союза писателей СССР. Здесь написал он более 30 книг. Многие из них эпохальны. Охватывают картины жизни российского государства, начиная с Присухонья и московского центра Руси. Ведёт писатель нас за собой со времён языческого распада. Через княжение первых русских князей. Через судьбы величественных мужей, таких как воины-защитники Александр Невский, Даниил Московский, Дмитрий Донской. Или молитвенники Сергей Радонежский и Дмитрий Прилуцкий. Через служение Руси Ивана Калиты, обоих Иванов Грозных. Через Минина и Пожарского и всех тех, при ком стране угрожало нашествие крымчаков, ливонцев, поляков и многих других завоевателей, кому не терпелось стать хозяевами Руси. Ведёт

непременно к дням спокойным и тихим, которые были нужны, чтобы оправиться от ран и страданий и зажить, наконец, как живут все православные на земле.

Многое в нашей истории, отмечает писатель, осталось в забвении. Совершенно не освещены кровавые годы владения казанскими татарами наших северных территорий, где шло повседневное умерщвление населения, продажа его в рабство. Годы, когда процветали пытки, пожары и грабежи, понёсшие за собой гибель миллионов людей. Отсюда и миссия Иоанна 4-го понятна в основном лишь с завоевательной стороны. Тогда как Иоанн Грозный был в глазах не только московской верхушки, но и всех людей Московии вместе с Устюгом, Тотьмой и Вологдой воином-освободителем, справедливым заступником, кто покончил с разбойничими притязаниями Казани, дав возможность всем северянам возродить испепелённые нелюдями сёла и города.

«Месяцеслов», «Деревенские святыни» – это тысячелетняя летопись народной жизни России. О, как много было об этом сказать.

«Самозванцы» – это не только Средневековье, но и нынешний день, где главными героями являются все сословия страны. Прежде всего, доблестные бойцы, граждане-патриоты, государственные мужи, а вместе с ними скрытые и открытые отморозки, развратители, предатели, жулики, сексоты и палачи. День минувший перемешался с сегодняшним. Не поймёшь, который из них и страшнее.

Впечатляют и очерковые откровения. Малознакомые читателю «Древности Присухонья» знакомят нас с бытом, ремеслами и культурой живущего по берегам Сухоны населения, которому на протяжении сотен лет приходилось одновременно со скотоводством и хлебопашеством заниматься обороной своих жилищ. Городища, Нюксеница, Брусенец, Берёзовая Слободка, Великий Двор, Веселуха, Святица, Уфтуга... Всё и не перечис-

лишь. Городки и селенья эти стояли возле главной дороги Севера, соединявшей Вологду и Архангельск. Здесь на протяжении многих столетий шли торговые пути. Летом по Сухоне и Северной Двине. Зимой по снежным дорогам, что пролегли вдоль этих рек. Кого здесь только не разглядишь! Крестьяне с сохами. Тянувшие вверх по реке купеческие суда согнувшиеся ярыги. Ямщики, погоняющие саврасок. Воеводы с боярами. Тать ночная. Колонна колодников. Окружённый оруженосцами батюшка-царь. Жизнь кипела.

Однако за эту жизнь приходилось ещё постоять. Свищут стрелы, гремит пальба. Шумят мужицкие сходки, что опять выше леса подати поднялись. Неси их, плати! Надо б и дать. Да откуда их взять? К тому же ещё по большой дороге поднялась пыль до самых небес. Кого ещё там несёт? Готовься к отпору.

Одна из последних работ Полуянова «Детские лики икон». И здесь – история разновеликой Руси.

1015-й год. Скончался великий князь Владимир – Креститель. И старший из двенадцати его сыновей, Святополк, алчный, нелюдимый властолюбец, задумал уничтожить родных братьев и тем укрепить захваченный им престол.

Борис с войском возвращался из похода на печенегов. Чуть брезжило, под образами горели свечи – священник служил заутреню, когда в шатёр ворвались бояре Святополка. Пронзённый копьями, князь упал у алтаря. Оруженосец его Георгий Угрин собою прикрыл раненого и был сражён на месте. Шею его украшала золотая гривна – дар Бориса любимцу. Чтобы завладеть сокровищем, злодеи обезглавили мертвого отрока.

Самого юного из братьев, Глеба, по приказу бояр зарезал собственный повар кухонным ножом.

– Суди тебе Господь, брате-враже Святополче, покаяться, дабы душу спасти! – простонал мальчик и захлебнулся кровью.

Братья-мученики смогли бы защитить себя, но отка-
зались обнажить оружие – младшие против старшего,
сознательно предпочтя смерть, вспышке губительной
междоусобицы. Дан был им дар смирения, провид-
чески проницали они грядущее, как бы предчувствуя
удельную раздроблённость, зловещая заря которой за-
нималась над Русью.

Знаменьем свыше – к единению Руси – восприняли
современники события 1015 года. Борис и Глеб, с ними
оруженосец Георгий, были причислены к лику святых.

Вот откуда пошли на Русь первые иконы с ликами
не обнаживших мечи подростков, подлинных героев
своей страны.

Спасибо, Иван Дмитриевич, и за эту горькую стра-
ничу, которую ты посвятил истинным сынам многостра-
дальной Руси.

Вологда, 2015 г.

ЖИЛ КОГДА-ТО ПАРЕНЬ НА РУСИ

И в жизни, и в поэзии Коля Дружининский постоян-
но пересекался с двумя мирами. Земная обитель была
для него квартирой, в которой готовятся к пребыванию
в многовечном. Многовечное для поэта – та же самая
жизнь со всеми земными думами и страстями, только она
помечена тайной незнания, которую хочется разгадать.

Чувство потери близкого человека проходит сквозь
многие строки его стихов. Поэт скорбит, что нет у него
больше бабушки, не успевшей доткнуть последний свой
половик. Нет и Апполинарии Федоровны, его мамы, от-
чего в стенах дома стало не по-земному холодно и без-
молвно.

Уходят из жизни люди. Уход их отзывается в сердце
поэта глубоким переживанием. «А морозные окна све-

тят мне – из далёкого мира». В том «далеком» не только те, кого Дружининский знал, но и те, с кем ему свидеться не пришлось, потому что жили они еще до того, как родиться поэту. «Жил когда-то парень на Руси великой – воин и работник, мой веселый дед».

Говоря о деде, говорит Дружининский и о себе. Писатели-вологжане помнят Колю, как человека артельного, быстрого на подъем, готового собраться в путь-дорогу без подготовки, чтоб переехать из Вологды в Череповец, Грязовец. Тотьму - куда угодно, где он сегодня нужен, и где его ждут. А ждали его и школьники, и студенты, и служащие контор, и рабочие леспромхозов, и жители деревень. И все они воспринимали его выступления не столько умом, сколько сердцем. Держался Коля перед народом просто и скромно, застенчивая улыбка обнимала его лицо. И брал не силой голоса своего, а щемящей душевностью, смыслом, скрывающимся в стихах, верой в жизнь, которая побеждает. Слушали его по-домашнему, словно и не поэт возвышался на сцене, а кто-то свой в доску, привычный, кого можно даже взять и похлопать дружески по плечу.

Иногда выступал он с гармошкой или баяном. Пел песни на собственные стихи. Пел и народные. И на стихи Есенина, Кванина, Чухина и Рубцова. Но, пожалуй, самое сильное впечатление оставлял о себе поэт, когда поэтический вечер переходил из зала на вольный воздух. Здесь, в кругу молодежи, на берегу ли реки, на деревенской ли улице, на лесной ли поляне, он был воистину первым весельчаком, душой острословов и вольнолюбцев.

Однажды, навещая Тотьму, от племянника своего Игоря Баранова я услышал:

– У нас тут Коля Дружининский был. С баяном. Нас было много. Мы все его полюбили. Такая распахнутость! Такая русская неудержность! Наверно, таких людей нам больше уже и не встретить...

И у Коли осталась память о Тотьме. Не случайно сказал он о ней, как может сказать сын своей родины своему народу:

Город Тотьма. Тополя, угоры
Да церквушки крестик вдалеке.
Я приеду, может, очень скоро –
На «Заре» по Сухоне-реке.
Разбредутся тучи на рассвете
И растают на исходе дня.
Здесь меня по-доброму приветят.
Встретят здесь по-доброму меня.
Мы уедем с песнями, с баяном
К речке Еденьге, на бережок,
Где над бором в мареве туманном
Ястреб что-то молча стережет.
Он кружит пообочь, не над нами.
Он молчит, он что-то бережет...
И под звуки вальса «Над волнами»
Сядем мы в траву, на бережок.
И пойдут старинные рассказы
Про поездки тотемских купцов.
А потом мы все замолкнем разом,
Не найдя каких-то верных слов.
Может быть, единственного слова,
Чтоб душа вдруг вспыхнула - чиста!
Тотьма – это молодость Рубцова,
Больше чем понятие «места»...
Мы опять поднимемся с баяном,
В скользком ромашковый лужок.
Может, ястреб в мареве туманном
Чье-то счастье молча стережет?...

Коля Дружининский... Коренаст и порывист. Постоянно готов к чему-нибудь и куда-нибудь. Помочь, выручить, стать для кого-то опорой – это наследственное, это в крови. Для всех доступен. В общении прост. Ничего в нем такого, что бы могло его ярко выделить из других. Но наступает особенный день. Незаметное вдруг проявляется очень заметно. К людям приходит Поэт!

Вологодская земля, как никакая другая, богата на мастеров вдохновенного слова. Один из них – Коля Дружининский. Надо бы называть его Николаем. Но язык противится этому. Коля – помягче, чем Николай, помоложе и потеплее.

До того как стать лириком, Коля прошел богатейшую школу жизни. Деревенское детство, где он пасет колхозных коров, и рыбу на удочку ловит, и бедокурит с такими же, как и он, шнырливыми удальцами. Учеба в школе и институте. Служба в Морфлоте. Работа учителем, строителем, юристом-консультантом, корреспондентом... Много было дорог. Много и встреч. Много недобрых и добрых сюрпризов. Много препятствий.

Одно из препятствий связано было с выходом первой книжки. Выйдет в печать она? Или не выйдет? Я был свидетелем, как заведующий Вологодским отделением Северо-Западного книжного издательства, потрясая рукописью стихотворений молодого, еще никому неизвестного Коли Дружининского, говорил с нескрываемым пренебрежением:

– И этот поэтишко хочет, чтобы из этого хлама мы ему сделали книжку?

Казалось бы, свой, знакомый-перезнакомый, еще далеко не старый издатель – и вдруг закрывает дорогу таланту? Как это мелко и как ничтожно! Однако не только циники управляют литературой. Разглядели особинку поэтического дарования Коли и наши истинные поэты – и Александр Романов, и Ольга Фокина, и Сере-

жа Чухин, и Боря Чулков, и Олег Кванин, и Леня Беляев, и Юрий Леднев. Коля Дружининский, как и должно было стать, оказался в круговороте событий русской литературы.

Материально жил Коля трудно. Все же семья. Чтобы заработать на жизнь, необходимо было устраиваться на службу. К счастью, при писательской организации стало функционировать Бюро пропаганды художественной литературы. Дружининский стал востребован всюду, где проходили литературные вечера, встречи с читателями, поэтические диспуты и концерты.

Стихи Дружининского привлекали к себе своей самобытностью. Николай никому из известных поэтов не подражал. Лексику для своего письма он брал из стихии народных речений. Ему доподлинно был известен говор крестьян деревни Неклюдово, где он родился, где прошло его детство, и куда он все время ездил, когда повзрослел. Да и другие места Вологодчины были ему близки, как свои своему, прежде всего потому, что Коля любил не столько сам о себе рассказывать, сколько слушать других. Было ему из чего выбирать золотые россыпи слов, складывая их в поэтическую копилку. Отсюда, от русского диалекта и родилось его авторское письмо, где было самое главное – интонация, ритмика, живописание и берущее за душу настроение.

Образы у поэта конкретны. В них нет общих мест, примелькавшихся слов и строчек. Потому что они из самой природы, не той, какую мы знаем по Пушкину, Есенину и Рубцову. А той, которую разглядел своими глазами Дружининский Коля.

Над синей поляной висят провода.
Идут провода во все города.
Но в тех городах нет выгороды,
Но в тех городах нет перегороды.

Написано для детей. Но читается всеми. Здесь не только образы города и деревни, но и великое чувство любви ко всему, откуда ты вышел на белый свет. Славит поэт безвестную маленькую поляну. А вместе с ней славит и всю Россию, у которой есть будущее, потому что она опирается на таких, как Дружининский и его простодушный, веселый, высоконравственный пастушок.

Дружининского воспринимаю только живым. Листаю его небольшие книжки. Их мало, но все они драгоценны. Читаю, как пью живительное лекарство. И возношусь вместе с ним в то божественное пространство, где сейчас обитает поэт, постигая душой загадки нашего мирозданья.

Собственный гроб для поэта был невозможен. Он думал, что его поэтическая дорога будет долга, что он на ней никогда не споткнется. Споткнулся, как спотыкается тот, кто берется за рюмку, в которой сидит не вино, а смерть. Не пей эту рюмку, поэт! Только бы крикнуть ему. Но не крикнул никто.

Уверен: как брата бы встретил Дружининского Рубцов. Пожал бы руку ему и сказал:

– Сыграй-ко, Коля, что-нибудь русское на баяне!
И спой ту самую песню, какая понравится всем...

Вологда, 2012 г.

ЗЕРНЫШКО

Лидия Теплова, Лидия Теплова. Тем, пожалуй, она и взяла, что прочитав два-три Тепловских стихотворения, спешишь тотчас же к четвертому, к пятому, и ко всем остальным, какие она нам, читателям, подарила, как нечто новое, чистое и большое. Казалось, пишет она рукой, которую ведёт по бумаге сам ангел, умеющей ви-

деть души людей во всех проявлениях жизни, где есть сострадание, жалость, природа, родина и любовь.

Родилась Лидия Михайловна в деревне Медвежка Усть-Цилемского района Коми АССР. Там и прошло ее детство. На постоянное жительство в город Сокол она переехала после местной десятилетки. Работала на целлюлозо-бумажном комбинате и в редакции газеты «Сокольская правда». С детских лет писала стихи. Печаталась в журналах «Север», «Аврора», «Слово», «Роман-журнале XX века». Выпустила книги «Крик в ночи», «Мишкин год», «Песня травы».

Стихи Лидии Тепловой воспринимаешь как саму природу, которой выпало счастье пребывать там, где плещутся воды Печоры, Вычегды, Сухоны и Двины. Эти реки поэтессы прославила навсегда. Ее образы настолько конкретные и живые, что подчас и саму поэтессу воспринимаешь, как северную реку. Хотя могла поэтесса быть и деревней Медвежкой, и зёрнышком, ставшим яркой травою, и колокольчиковым цветом лугов, и телом убитого солдата, лежащего в чистом поле, и бубенцами купальницы в гриве кочек. Лирический герой Тепловой растворился в мире березовых рощ, темных ельников, в ветре, поплывшем к божьему горизонту и даже в траве, по которой ходит корова. Образы исключительно народные, запоминающиеся, яркие, очень живые. Потому и ощущение от стихов такое, как если бы их мог написать одновременно поэт очень тонкий, и очень мощный. Почти каждое стихотворение Тепловой – это грусть и печаль, а может быть, и поминки по самому светлому и святому. Стихи её выворачивают душу, заставляя вместе с поэтом сопереживать, прощать, радоваться, любить.

Как жаль, что Лидии Тепловой нет сейчас с нами. В свое время о ее оригинальном творчестве высказывались Ольга Фокина, Виктор Бараков, Андрей Смолин. Артём Кулябин, журналисты «Сокольской правды».

И все равно творения ее несут немало загадок и притяжений. Лидия Теплова до конца не разгадана. Слишком щедро поселились в ее поэзии задевающие наши сердца тайны русской души. Любопытно высказывание о поэтессе руководителя литературного объединения «Сокол» Артёма Михайловича Кулябина. Вот что он пишет на страницах журнала «Лад»:

«В наше неспокойное время, когда смещаются границы добра и зла, рушатся казавшиеся незыблемыми аксиомы, настоящая поэзия становится неким нравственным ориентиром. Читатель ищет в стихах ответ на духовный вызов времени, на вечные вопросы человеческого бытия. Когда планету одна за другой настигают природные катаклизмы, глобальные катастрофы, впору задаться вопросом о роли и месте человека во Вселенной.

Ответить на этот вопрос помогают стихи вологодской поэтессы Лидии Тепловой. Читаешь их и будто бы проходишь через незримый нравственный фильтр, невольно становясь частью поэтического мира Тепловой. Рой чувств рождают в душе эти стихи, заставляют глубоко задуматься о вечном и преходящем, о житейском и космическом...

Творчество Лидии Тепловой ещё не получило должного критического осмысления. Видимо, пока не пришло время. Да и сами стихи Тепловой рассыпаны по малочисленным сборникам, а также страницам газет и журналов. Многие строчки попросту не дошли до широкой читательской аудитории. Но хочется надеяться, что в ближайшем будущем это обязательно произойдет».

Помнится, лет 15 тому назад в одном из концертных залов Вологды прошел большой литературный вечер. Не было на нем Лидии Тепловой: болела. В тот вечер ее заменил Василий Иванович Белов, предварительно сообщив:

– Прочитаю сейчас стихотворение «Последняя песня глухаря». Написала его наша вологжанка Лидия Теплова, поэт от Бога:

Да, глухарь я! Глухой! Посмейся!
Да, глухой я, когда пою.
Ты мне в голову, в голову целься,
Но не целься в глухарку мою.
Да, глухой, но тебя я слышу,
По дыханью тебя узнаю.
Ты мой хвост над кроватью вывешай,
Но не целься в глухарку мою!
Много здесъ глухарей убито,
У болотечка на краю.
Ты стреляй, пока сердце открыто,
Но не целься в глухарку мою!
Да стреляй же! Картечью, дробью...
Я оглох уже, я пою!
Подавись глухариной кровью,
Но не целься в глухарку мою!
Впрочем, бей и ёё, помолившись,
Раз уж выбрал нас на убий.
Пусть хоть дети мои, не родившись,
Не унизятся перед тобой!

По прочтению стихотворения зал взревел. У многих в глазах заблестели слезы. Поэтесса воистину выразила состояние русской души, когда её расстреливает добытчик, тот сокрушитель всего сокровенного и святого, чем живет праведный человек.

Вологда, 2017 г.

ПОДАРОК

Откуда черпал свою энергию добродушный, улыбающийся в усы, не умеющий обижаться и обижать Юрий Макарович Леднев? Полагаю, что поведением его руководило засевшее где-то в глубинах его организма расторопное, ко всему имевшее интерес, неутолимое любопытство. Не случайно среди сотрудников ТАСС он был самым добычливым. Умел добывать информацию из всех сфер хозяйственной, политической и культурной жизни страны. В более позднем возрасте, когда главным делом жизни его стала литература, очень хотелось ему постичь пределы своих возможностей в области художественных откровений. Где и в чем он крупнее проявит себя? Отсюда и многие опыты. То мы читаем Юрия Макаровича, как публициста и очеркиста, то, как лирика, то, как сказочника и фантаста.

Юрий Макарович любил аудиторию, проявляя себя перед ней одновременно поэтом, артистом и публицистом. С поэтическими выступлениями он изъездил всю Вологодскую область. На поэтических вечерах выделялся не только тем, что мастерски читал свои стихотворения, но и рассказывал к слуху о том, что хотела бы от него услышать аудитория. При этом Юрий Макарович перевоплощался в того, о ком вел рассказ. А рассказывал он в первую очередь о своих друзьях и товарищах, о вологодских прозаиках и поэтах. Ему внимали и потому, что у него был хорошо поставленный баритоновый голос. И потому, что был за спиной богатейший житейский опыт, тысячи встреч с людьми незаурядными, будь то писатель с мировым именем, популярный композитор, милиционер-сысковик, и тот бесстрашный его знакомец, в жизни которого было нечто такое, о чем вслух обычно не говорят. Он всегда умел угадывать общее настроение и, поддавшись ему, уводить людей в ту атмосферу, к которой они толь-

ко-только еще прикоснулись, а он уже в ней побывал, и вот ее с большим удовольствием раскрывает.

Писать стихи Юрий Макарович начал, будучи учащимся Макарьевского педучилища. Первыми его читателями стали жители его родного города Макарьево-на-Унже. После службы в армии он стал учиться в Литинституте. Здесь на его стихи обратил внимание писатель-вологжанин Валерий Дементьев. Он, можно сказать, и благословил Юрия Леднева на большую поэтическую дорогу. Поверил в Юрия Леднева и широко известный в стране поэт Сергей Городецкий, рекомендовав дипломную работу выпускника Литинститута для коллективного сборника. Опубликованные в сборнике стихи стали вскоре первой самостоятельной книжкой поэта.

Юрий Леднев – поэт широкомасштабный. Во многих его стихотворениях звучит тема ответственности человека, обитающего на земле. Достоин ли быть ты сыном родного отечества?

Россия!

Ты прощала тех,
кто в трудный час с тобой расстался,
кто возвращался,
кто метался,
и тех, кто за морем остался,
не отыскав возвратных вех.

Россия!

Человек любой
Перед тобой снять должен шляпу.
Навеки прощены тобой
Алехин, Бунин и Шаляпин.
Но можно ли простить тому,
кто, спекулируя талантом,
всю жизнь провел в родном дому,
а был душою эмигрантом?

Даже лирика может ставить вопросы, направляя их прямо к сердцу, читающего стихи. Поэт на них может и не ответить, но тех, кто читает его, вдохновит на му-жественный ответ сквозь раздумья о совести, родине и запомнившемся поступке.

По натуре своей был Юрий Леднев романтиком. Купленный им в деревне Мартыновской двухэтажный красивый дом стал для него орлиным гнездом, откуда он мог, как высокая птица, лететь туда, куда позовет, волнуясь, душа.

Знаю не понаслышке: многие из поэтов, живущие летами в понравившихся им деревнях, далеко не всегда умеют засесть за творческий стол. Мешает природа с ее деревьями, огородом, травой, птицами, дождиками, ветрами. А вот Ледневу она не мешала. Он писал. И стихи. И прозу. Принимал и гостей. И с Иваном Дмитриевичем Полуяновым, классиком русской литературы, жившем тоже в Мартыновской, часто общался, постоянно играя с ним, если не в шахматы, то в картишки. Природа Леднева возбуждала.

Живя у себя в деревне, в часе ходьбы от Мартыновской, я иногда навещал знакомый мне пятистенок. Просто так навещал. Или с тем, чтобы сходить вместе с Ледневым за морошкой. благо ягодный лес с болотом был от дома его в каких-нибудь пяти километрах.

Чаще всего хозяева были не в доме, а в огороде. Огород небольшой, но красиво ухоженный, с морем цветов, урожайными овощами. Надежду Сергеевну Ледневу заставал все время где-нибудь в борозде, воюющей с сорняками. И Юрий Макарович был где-то около, но в тени, с блокнотом и авторучкой и с белой кепкой на голове.

– На ком держится огород? – спрашивала обоих.

Надежда Сергеевна машет на мужа ладошкой:

– У Юры сегодня лирическая разминка!

– А у Нади, – Леднев спускает с усов на бороду медленную улыбку, – автоматическая прополка...

Так, подтрунивая, любя друг друга, каждый, зная свое привычное дело, и жили они летами в расположенной на холме красивой русской деревне.

Деревенские мужики были к Ледневу благосклонны, в то же время знали предел, за какой заходить даже поэту не позволяли. Юрий Макарович свои чувства, какие охватывали его в минуты подъема души и духа, не прятал, считая, что лучше их проявлять не словами, а делом. Недалеко от Мартыновской, там, где плескался листвой березник, он однажды сделал супруге подарок. Обнаружил поляну. И на эту поляну стал носить тяжелые камни, складывая из них два дорогих ему слова. Камни были не близко и не везде. Поэтому он носил их за несколько сотен метров. Трудился, ни много, ни мало, четыре дня. В конце концов, состоялась укладка из метровой величины каменных букв: «Надина поляна».

Такая подпись кое-кого из местных жителей возмутила. Поэт, мол, захапал себе поляну. Да как он так мог? Еще и кличуку ей дал? Поляна должна оставаться поляной! Ничья была, так ничьей и будь! Камни были разбросаны.

Юрий Макарович, хоть и расстроился, но не сдался. Снова вывел каменные слова: «Надина поляна».

Раза четыре перекладывал Юрий Макарович камни. Мужики, наконец, смекнули, что Леднев из тех, кто не бросит свою затею. Махнули рукой и не стали больше тревожить надпись. Так и остались два этих слова среди поляны. И сейчас они там. Два слова, в которых верность мужчины к женщине выложена камнями.

Верность к жене, нежные чувства к детям и внукам – все это было с Ледневым постоянно.

Старшая внучка Катя однажды на уроке пения в школе, когда разучивали песню про хоровод и елочку, вдруг встала с места и на весь класс:

– А эту песню написал мой дедушка!

Учительница не поверила. Сказала девочке очень строго:

— Катя, ты вруша! Эту песню поют на весь Советский Союз! Поют по радио! На концертах! Даже возле Кремлевской елки поют! Не может такого быть, что написал ее твой дед!

Катя пришла домой со слезами. Пожаловалась девушке на то, что учительница обозвала ее врушей.

Юрий Макарович успокоил внучку, вздохнув:

— Я, кажется, Катя, не бюрократ. Но если иначе нельзя? Что ж. Позову на помощь перо и бумагу.

Сел за стол и написал справку на имя учительницы пения в Катину школу, сообщив в ней о том, что он, Юрий Макарович Леднев действительно является автором новогодней песни. Если учительница сомневается в этом, то пусть позвонит в Союз советских композиторов...

Катя унесла эту справку в школу. Передала учительнице. Та, прочитав её, удивилась настолько сильно, что попросила у Кати дневник и, тут же красными чернилами вывела в нем по пению красивую и жирную отметку «5».

Юрий Макарович многоного не успел написать. И схранить не успел. Целый сборник подготовленных к изданию новых стихотворений, а вместе с ним богатейшую библиотеку, переписку с друзьями, имущество, мебель, весь двухэтажный дом однажды в осеннюю пору опряло огнем. Сидел бы Юрий Макарович дома, пожара, наверно бы, не случилось. Но он истопил в доме печь, закрыл ее и ушел через дом к соседу сыграть с ним в шахматы и картишки. От печки ли загорелся дом? От короткого ли замыкания? Сейчас не узнать. Да и зачем узнавать.

Юрий Макарович виду не подавал, что он в горьком трансе. Держался. Приехав с пожара в Вологду, по-прежнему посещал городские школы, куда его при-

глашали. Пригласили однажды и в школу № 15. Читал свои замечательные стихи. О Вологде. О Петре Великом. О звонаре. О надежном и верном ему человеке, зовут которого Надя.

Читал. И вдруг перестал читать. Почувствовал сердце. Оно от него отлетало, как птица, оставив его среди онемевшего зала. Он думал, что это секундная слабость. Секунда пройдет. И оно к нему возвратится.

Не возвратилось. Юрий Макарович умер стоя.

Вологда, 2014 г.

ОЖИДАЮЩИЕ ГЛАЗА

Вот уже 22 года, как нет с нами Виктора Вениаминовича Коротаева.

Поэтический бум 60-х годов минувшего века охватил все города страны. В том числе и нашу уютную Вологду. Это было златое время таких поэтов, как Евтушенко и Вознесенский, Рождественский, Викулов и Орлов. Рубцов даже в Вологде был тогда еле слышен. Куда его громче были Чулков, Романов и Коротаев.

Виктор Вениаминович Коротаев воистину был кумиром у вологжан. Поэт брал лихой напористостью стихов, в которых звенела удаль и бесшабашность. В то же время стихи его отмечали походку страны. В них были главные повороты и норы жизненных проявлений, где зло и добро устроили поединок, и хотелось понять, кто из них победит.

Первые книжки поэта шли в народ с горячим успехом. Встречи в домах культуры, в библиотеках, в строгих партийных залах, в школах, техникумах и вузах. Всё шло лихо и интересно. Коротаева нарасхват приглашали туда, где шли азартные споры, где ожидающие глаза, где человеку хотелось почувствовать живость

слова, и как это слово может вызвать в груди щемящий переполох

Всем слоям населения Вологды был Коротаев угоден. Его обожали и молодые и старые. Даже партаппаратчики испытывали к поэту повышенный интерес. Были, конечно, и те, кто Виктора не любил. Пускался в ход пошлый слух, мол, Коротаев везде любимчик. В любой кабинет обкома войдет, открывая высокую дверь не рукой, а ногой.

Ногой – сильно сказано. Но то, что поэт появлялся в любых кабинетах, будь они, хоть того значительнее и выше, так в этом нет ничего и плохого. Так всё и было. И делал это поэт не в личных целях с тем, чтобы чего-то выпросить для себя, а исключительно, лишь для дела.

Коротаев многие годы руководил Вологодской писательской организацией. Для неё он собственно и старался. Для неё и к высоким боссам вынужден был время от времени заходить. И его там, вверху, в большинстве своём правильно понимали. Помогали кому-то из юных талантов с работой, жильём, с переездом в Вологду из района. Так благодаря содействию Коротаева, хождению его по инстанциям переехал из Грязовца в Вологду замечательный лирик Сережа Чухин. Или приехала из Сибири в Вологду очеркистка Людмила Славолюбова. Приехала посмотреть: понравиться ли ей наша Вологда? Посмотрела. Понравилась. Здесь и осталась, заполучив в центре города привлекательную квартиру. С той же целью приехал к нам из Перми Виктор Петрович Астафьев. Тоже хотел понять: уживется ли он здесь с вологодским писательским коллективом? Понял, что уживется. Потому вместе с женой, тоже писательницей Марией Семеновной Корякиной, здесь и обосновался. Уговаривать, убеждать, защищать хорошего человека, сделать что-то доброе для него – это было у Виктора Вениаминовича в крови.

Удивляла энергия, с какой поэт успевал справляться со всеми делами, оставляя время и для стихов, которые мог писать где угодно, даже на улице, когда шел из дома в писательскую контору или когда сидел на каком-нибудь скучном собрании, в конце которого мог сам себя же и похвалить: «Успел! Спасибо тем, кто наводит здесь скуку. Стихотворение, кажется, получилось!»

В своё время мысленно я Коротаева сравнивал с Цицероном. Благо не раз и не два был свидетелем того, как Виктор Вениаминович одновременно мог вести пять, а то и шесть дел. С кем-то разговаривал по телефону, кому-то пожимал бодро руку, время от времени взглядывал на свежее стихотворение, которое только что принес ни в чем не уверенный юный лирик, и даже кивком головы послать бессменную секретаршу Елизавету вниз к горкомовскому вахтеру, чтобы та принесла сюда почту.

Поэт, хозяйственник, администратор, шутник, душка-руководитель – сколько качеств в одном человеке! И в каждом качестве был Коротаев – непревзойдён.

Удивительно, когда и как к делам поэтическим он мог добавить еще и прозу. Успев и тут проявить себя, как занимательный беллетрист, выпустив повествование про убийцу Николая Рубцова «Козырная дама» и сборник рассказов «Стояли две сосны».

Многие писатели в 90-е годы, когда пошла, гулять по стране рыночная стихия, оказались застигнутыми врасплох. Коротаев, один из немногих, не растерялся. Совместно с рыночными партнёрами открыл издательство по выпуску книг и брошюр. И в помощь к себе привлек оставшихся не у дел вологодских прозаиков и поэтов. Благодаря чему появилось ряд свежих изданий. В их числе и роман-газета на вологодском материале, а также двухтомник Николая Рубцова с наиболее полным выпуском его стихов, а также рассказов о нем и поэтических посвящений.

Виктор Коротаев! Как много о нем уже сказано! Как много о нём еще скажут. Человек-душа. Человек-забота. Весельчак. Наконец, заботливый семьянин. Как он любил жену свою Веру! Своих детей Оленьку с Сашей! Хоть и не часто, но иногда я бывал у него в семье. И всегда ощущал себя здесь своим у своих. Здесь всегда царила атмосфера великодушия, простоты и доверительности друг к другу. Но однажды не стало хозяина. Не представляю, как Вера с сыном и дочерью это перенесли.

Весь внешний вид поэта, привлекательное лицо с оливковыми глазами, цыганская борода, просторная грудь, крупные пальцы рук, к которым никак не подходила ни ручка, ни карандаш, которыми он написал целое море стихотворений, всё казалось бы, предназначено было для долгой, большой и уверененной жизни. И вдруг эта глупая смерть. Смерть в разгаре творческих созиданий, когда создавались новые вирши, выходили новые книги, строились планы. Виктор Вениаминович приехал только что из Москвы. Довольный и радостный оттого, что дела издательские пойдут сейчас круто вверх. Потому и бокал вина выпил был за будущие победы. Кто бы мог знать, что в бокале этом подстерегала поэта смерть. Умер Виктор Вениаминович, может, и сам не поверив в собственную кончину. Был вместе с нами и вот ушел к своим стародавним друзьям. К Николаю Рубцову. К Сереже Чухину. А через две недели будет в этой компании и Леня Беляев.

Все они, перлы русской литературы, ушли в поэтический рай с божественными стихами. Все они могли бы, и задержаться на этом свете. Но судьба повернула их в страшную сторону, где ставилась ставка на жизнь. Потому теперь они и не с нами. С нами только их ореол. Он, как памятник в сонном мире, посылающий нам оттуда неувяддающие стихи.

Большую память оставил о себе Виктор Вениаминович. Она не только в его стихах и книгах, в его многочисленных выступлениях. Она и в хоре наших воспоминаний. И в детях его, уже повзрослевших Оле и Саше. Замечательно то, что Александр выбрал дорогу отца. Пишет стихи. Исключительно самостоятельные, ни в чем не повторяющие творения своего отца. После прочтения их, я дал Александру рекомендацию для вступления его в писательский Союз.

Виктор Коротаев не просто поэт размашистый и многоцветный, он еще и поэт наступающий, в прямом смысле этого слова, умеющий захватить большую территорию России, заполнив ее вологодским дыханием, которое шло и идет от наших полей, лугов, деревенских избушек и городов. Там именно и могли родиться его энергичные рифмы, прославляющие мир, родину и любовь.

Прекрасно однажды в России родиться
Под утренний звон золотого овса...

Кто ему мог подсказать это равнинно-русское, светло-великое, свято-земное очарование? Спрашиваю себя до сих пор.

Минино, 2018 г.

БРАТ

Стоял 1946-й, самый голодный год, когда от нехватки питания умерли многие тотьмичи. Мой брат Михаил, который старше меня на четыре года, пошел учиться в лесотехнический техникум, потому что там выдавали стипендию и паёк.

Закончив лесотехникум, Миша стал работать мастером леса в Велико-Устюгском леспромхозе. Ежемесячно посыпал часть зарплаты домой.

Позднее он поступил учиться в военное училище. Закончив его, служил техником по подготовке самолетов к полету. Закончил и высшее Инженерно-авиационное училище. Был назначен командиром подразделения ракетной части.

Жил в Иркутске, Харькове, Йошкар-Оле. Женился. Стал отцом дочери Оли и сына Саши. На пенсию вышел в звании подполковника, имея 11 правительенных наград.

Тишина достославного города, спокойная Сухона, шишкинские боры, огород, морошка за Черной речкой, робкий шелест седых тополей, товарищи детства, среди которых первый – Василий Дурнев, впоследствии ученый-металлург, с кем они вместе учились в школе, - все это было для подполковника радостным и манящим, и он не выдержал – перебрался сюда, чтобы стать коренным тотемичем. Какое-то время работал в ДОСААФе. А потом стал писать книгу о тотемиках, участвовавших в Советско-Финляндской и Великой Отечественной – двух войнах. Несколько лет ушло на этот большой скрупулезный в 560 страниц труда. Вышла и вторая книга «Ветераны Великой Отечественной». Следом за ней и третья, теперь уже о тружениках тыла, кто в годы войны самоотверженно работал, куя победу над общим врагом, на землях Тотемского района.

Последнюю книгу Рябков завершил рассказами, повествуя о жизни подростков и женщин, заменивших в тылу, пока шла война, сражавшихся там мужчин. Рассказы о полеводах и лесорубах, доярках, сотрудницах учреждений, без кого невозможна была бы победа над грозным врагом. Вот он, один из 20-ти помещенных в книгу рассказов. Ведет его труженица колхоза «Победа» Александра Глушач:

«Обязательно опишите, как я в войну с Копоргина молоко на маслозавод возила. На корове.

Я бойкая, потому меня и посылали с молоком. Один раз запрягла поутру корову в сани, погрузила фляги с молоком и по заморозку поехала. Солнышко вышло, стало пригревать – окрепшая за ночь дорога начала подтаивать. Корова у меня, Сентябриной ее звали, заревела-замычала. Копыта проваливаются сквозь оседающий лед. И вот совсем она встала. Ни взад, ни вперед.

Как и быть? Сижу и плачу. Но плачем делу не пособить. Выпрягла корову, достала из кармана карандаш и бумагу, подумала и настрочила телеграмму: «Колхоз «Победа», председателю». Вот ее текст: «Сижу посреди дороги с молоком. Только выехала из лесу. Сентябринна моя встала и не идет. Вышлите немедленно лошадь. А то всё молоко скинет». Привязала телеграмму свою к коровьему рогу, направила корову на обратную дорогу. Та обрадовалась и понеслась со всех ног. Сколько верст впереди! А ей любая даль теперь нипочём. Не куда-нибудь там - в родное место несется.

Как потом мне доярки рассказывали: Сентябрина прибежала на скотный двор, мычит. Что такое с ней? Оказывается, корова-то прибежала на ферму с телеграммой на голове. Доложили председателю, мол, животное тут. Он не понял: А где Степановна?

Тут же нашли свободную лошадь, запрягли ее, послали с ней боевого парнишку. Тот и поехал на маслозавод. А там, на заводе уже пугаются, мол, сквасили молоко. Что-то кому-то будет? Но ничего. Успели. Молоко оказалось хорошим. Вечером в колхозе собрание собрали. Председатель мне объявил за находчивость благодарность».

Так же просто и сердечно рассказывает Рябков о тружениках тыла и в других своих очерках. Совесть у Михаила Дмитриевича чиста, благо он отдал долг памяти, вытащив из забвения самые невостребованные, самые дорогие, самые светлые имена.

С рукописями Михаил Дмитриевич никак не может расстаться. Теперь он читает рассказы, повести и романы, которые я отдаю ему на прочтение. Критикует, с чем-то не соглашается, что-то требует заменить, а то и убрать. Мысли его и мысли мои как бы в единой упряжке. Самое главное, что он требует от меня – не соблазняться на внимание тех, кто тебя восхваляет. Пиши лучше всех. Если не лучше, значит, кого-нибудь повторяешь. Быть вторым, значит, быть уже не творцом. Вот такие высокие у Михаила Дмитриевича запросы. Оттого я и не спешу. Рукопись возраста не имеет. Может ждать до тех пор, пока ее терпит время. Время, но не читатель. Читатель – мой друг. Непременно искренний и открытый. Пиши так, советует брат, чтоб героев твоих любили.

Тотьма, 2015 г.

ЖИВИ, ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА!

Галина Дмитриевна Баранова (в девичестве – Рябкова) в своей родословии пошла от известного тотемского купца Рябкова Михаила Дмитриевича, ее деда. 30 апреля нынешнего года ей исполняется 90 лет. Была и осталась она истинной домоседкой. Как родилась однажды в городе Тотьма, так и живет здесь по нынешний день. Отлучалась лишь в Белозерск, когда туда от «Красного севера» в качестве собкора газеты направлялся Василий Иванович Баранов, Галин супруг. Но там они жили недолго – около четырех лет. А все остальное время дышали приятнейшим воздухом Тотьмы.

На работу Гая пошла в военное время тринадцати лет. В типографию ученицей наборщицы. Потом, поработав наборщицей среди пташек свинца, бумаги и красок, перешла этажом повыше – в редакцию машинисткой.

До самой пенсии проработала Галя в редакции. Сколько при ней сменилось редакторов! Большеглазый, добрейшей души обаятельный Чурин. Ироничный Баранов. Сообразительный Каленистов. Осведомительный Третьяков. Королев с его чувством ответственности за строчку, в которой должна быть, хоть и маленькая, но, правда. Каждый редактор был Галиной Дмитриевной доволен, потому что она никого ни разу не подводила. Изнашивалась машинка. Ее сменяла – другая. Потом еще одна. И еще... А пальцы у машинистки всё те же. Очень выносливые. Но и они под конец взмолились: ну, когда, же мы отдохнем?

Отдыхают сейчас.

В Тотьме, на Гущина, 12 я бывал и бываю почти каждый год. И всегда замечал: в доме очень уютно и чисто, окна наполнены светом, пол играет половиками. А во дворе, палисаде и огороде – порядок и красота. Особенно летом, когда расцветают ирги и яблони и начинают цвести малина и липа, и тонкие запахи от великого множества красных, синих и белых цветов наполняют грудь благоухающим ароматом. И это всё исходит от рук хлопотливой хозяйки.

В этом доме на Кооперавной, 8 ныне Гущина, 12, когда-то и я родился и жил в нем не только в детстве и юности, но с перерывами и в зрелые годы. Здесь в те времена бывали многие из вологодских писателей. В их числе Сергей Васильевич Викулов, Георгий Макаров, Виктор Коротаев, Сережа Чухин. Но чаще всех Николай Рубцов.

Порой в публикациях о Рубцове упоминается о часах в зале одной из тотемских библиотек, которые якобы, громко стуквая маятником, мешали поэту прочесть стихи, и он попросил их остановить. Сам по себе факт достоверен. Однако несколько искажен. Нет такой в Тотьме библиотеки, где бы часы своим механическим стуком мешали кому-то в ней заниматься, тем паче читать вслух стихи. Часы помешали Рубцову и в самом

деле. Но только не в зале библиотеки, а в частном доме, где я родился и где сейчас живет у меня сестра. В тот приезд — а было это в лето 1969 года, Николай появился в доме Барановых без меня. Была с ним рядом Дербина, будущая убийца поэта. Попали они как раз на воскресные пироги, которые испекла хозяйка. Именно здесь, в маленькой кухне с окном, выходившем во двор, где цвели яблони и цветы, Николай и читал свои новые стихотворения. Читал, пока его голос не заглушил глуховато-раскатистый бой старинных часов с медными гирями и цепями.

Было восемь часов. И ударить часы должны восемь раз.

Какой из поэтов любит, когда его грубо перебивают. Рубцов был к тому же в тот вечер чем-то еще и расстроен. Потому он прервал свое чтение и, взглянув на часы, раздраженно потребовал:

— Остановите их! Вы же слушаете мои стихи, а не эти куранты!

Маятник придержала сама хозяйка, то есть Галина Дмитриевна. И Рубцов закончил чтение в установившейся тишине. Потом закурил сигарету и вновь посмотрел на высокие, в деревянном корпусе с длинным маятником часы.

— Странно! В поэзию ворвалось само время! Быть может, оно хотело меня о чем-то предупредить? — Рубцов посмотрел сначала на Дербину. Та на это невнятно пробормотала:

— Может и так.

Потом посмотрел на хозяйку дома. Но Галина Дмитриевна ничего ему не сказала. Рубцов в третий раз посмотрел на часы:

— Им, наверно, сто лет?

Галина Дмитриевна улыбнулась:

— Больше. Их покупал наш дедушка, когда еще был молодым. Значит им сейчас сто с чем-то лет.

Рубцов покачал головой:

– А мне – тридцать три, но чувствую я себя старше, чем эти часы. Видимо, я обогнал свое время.

Время, время. У каждого в нем свой отсчет. Вот и Галине Дмитриевне в последний день нынешнего апреля оно отсчитало 90 оставшихся в прошлом лет.

Что на это сказать? Живи, Галина Дмитриевна, и дальше. Бери ориентир на столетие. Здоровья тебе, новых цветов в твоем огороде. Доброты от сына, невестки и внуков. Разумеется, той высокой звезды, которая охраняет тебя и наш дом. Солнышка на крыльце. И любви твоей к родине, у которой есть имя – Тотьма...

Вологда, 2019 г.

РЯДОМ С РОДИНОЙ

Сегодняшний день и Рубцов? Иногда я вижу его, вступающего в зал, где все места заняты. Вступающего не через дверь. А прямо через каменную стену, которая при этом остаётся целой. Словно пришёл сюда Гость. И улыбается во всё своё нестареющее лицо:

– Явился к Вам, чтоб сказать всем неверующим: без поэзии, так же как без любви и милости, нет России!..

Любимец Рубцова, он же его учитель и вдохновитель Александр Сергеевич Пушкин сказал:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
К нему не зарастёт народная тропа.
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа...

Не знал Александр Сергеевич Пушкин, что, говоря о себе, он говорил и о Рубцове, певце, который спустился на нашу землю без малого через сто лет после него.

Так же как не знал Николай Рубцов того, что, говоря о Пушкине, он одновременно скажет и о себе:

Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначенье своё,
Отразил он всю душу России
И погиб, отражая её.

Не по собственной воле оказался Рубцов в Никольском, где родным его домом стал детдом № 6. Здесь, ещё в школьном возрасте писал он стихи. Стихи эти не сохранились. Были они сожжены в детдомовской печке вместе со стенгазетами, куда они время от времени помещались. Да и не жаль их, потому как они никакой поэтической ценности не представляли. Лишь отмечали опыт, с каким подрастающий мальчик год за годом приближался к духовным высотам, на которые в нужный час и взойдёт, как великий певец. Восхождение же своё начал Рубцов именно здесь, в Никольском, или в деревне Никола, как он любил называть эту весть. Только за летне-осенний сезон 1964 года он написал 39 стихотворений. И почти все – шедевры. Стихи эти стали классикой русской литературы. Почему легли они на душу нам, как выражение высочайших человеческих чувств? Да потому, что писал их поэт с любимой земли.

Но что Емецк с Никольским объединяло? Ведь между ними пятьсот, не менее, километров. Емецк – место, где появился крохотный Коля Рубцов. Никольское – географическое пространство, где он ощутил себя на родительской почве, той самой земле, что была пройдена его предшественниками по роду, жившими здесь во все времена. Вот он ключ, открывающий дверь в хранилище, где ответ: почему Рубцова всегда тянуло в Николу? Да потому, что интуитивно с помощью собственных чувств и предчувствий он ощущал здесь свою настоящую родину, ту самую, где были ког-

да-то все родственники его. Однако произошел пересмотр главных ценностей русского бытия, и всё пошло окольным путём. Пришлось бежать и даже скрываться во имя того, чтоб спастись. Бежать с исконной родины на чужбину.

А она, сокровенная родина в каких-нибудь 50 километрах от полюбившейся поэту деревни Николы. На берегу речки Стрелица. Здесь у родителей будущего поэта Михаила Андриановича и Александры Михайловны Рубцовых родились первые дети: Надежда, Татьяна, Галина. В этом краю, переполненном сенокосными гладями, ягодными лесами, весёлыми ливнями, пляшущими в водах реки золотящимися лучами, должен был родиться и Коля Рубцов. Однако зигзаги судьбы увели отсюда Рубцовых. Увели в иные края, включая Вологду, Емецк, Няндому, снова Вологду, а потом – в никуда. Произошла катастрофа, сравнимая разве с крушением поезда, мчащегося по рельсам. Крушение двух миров. И если один из них из последних сил цеплялся за почву, которая кормит, то второй – строил на этой почве социализм, ставший предтечей трагедии, которая выморила деревню.

Лесная опушка, кузнечики на лугу, речка с плывущей по ней утиной семейкой. Всё это было и есть как на Стрелице, так и на Толшме. И тут, и там красота, с какой сравнимы разве угодья роскошного рая. Вот почему маленький Коля Рубцов в окрестностях тихой Николы ощущал себя сыном здешних полей, деревень, косогоров, лесов, ручейков и речек. Здесь было ему свободно и смело, как если бы он ревился на берегах бойкой Стрелицы, где прошло обитание нескольких поколений его православной родни.

Речка Толшма. Так много о ней уже сказано. Речка Стрелица, считай, не сказано ничего. Но это пока. Хотя и сегодня мы знаем, что на её берегах жили былинные люди. Сильные духом и благородным влиянием

на людей. Один из них – приходский священник Феодосий Малевинский. Как продолжатель дела своего отца, он закончил Вологодскую духовную семинарию и в 1895 году был рукоположен в сан священника. Всю свою жизнь вплоть до 1918 года Малевинский истово служил прихожанам Спасо-Преображенского храма. С первых дней Советской власти он выступал за сохранение церковного монолита. Красотой и величественностью завораживали возвышавшиеся над селом Спасским два храма во имя Преображения Господня и во имя Рождества Богородицы. И вот не стало их, несмотря на то, что Малевинский положил все свои силы, всю свою душу, чтоб уберечь их от разрушения. Для прихожан своих был Малевинский ярким примером служения Отечеству, Богу, Царю и Русской земле. Как заступника собственного народа его ввели в разряд ярых противников Советского государства. Трижды он испытал на себе казуистику большевистского правосудия, приговорившего его в 1937 году к расстрелу. 19 января следующего года приговор был приведён в исполнение.

19 января, но уже 1971 года был убит и Николай Рубцов. Невероятное совпадение. Как если бы назначение дня смерти обоим героям занимался кто-то из высших судей, служивших, однако, Дьяволу, но не Богу.

Так спросить торопило его предчувствие неземной тишины. И надо было не опоздать. Ибо день смерти, как священнику, так и поэту был заведомо обозначен.

19 января 1938 года – Малевинскому.

19 января 1971 года – Рубцову.

Дату эту определил секретарь неведомой канцелярии, служивший, однако, дьяволу во плоти, кто не мог допустить, чтобы голос Поэта услышало Время.

Тотьма, 2013 г.



Россия. Родина. Рубцов.

*Одна из лучших, если не самая лучшая из работ,
передающая подлинного Рубцова.
Художник Валентин Малыгин*

СОДЕРЖАНИЕ

НА КРАЮ	5
Бесогон	5
Хорёк	18
Догадашки	33
Короткая передышка	59
Силачиха	104
Глашатай	111
Сухари для крысы	118
НЕПОНЯТКИ	125
Дедов бор	125
Ромашка	149
Аморальное поведение	156
Выбираюсь на гром	162
Друг-спаситель	164
Зависть	167
Прелесть	168
Высшее состояние	169
Черт безрогий	172
Не стреляй, человечице	176
БЛИЗКОЕ – ДАЛЕКОЕ	177
В лесной тишине	177
Запрет	179
Звезда любви	180
Чем могу, помогу	182
Иду-у	185
Уточка, уточка, полетим	185
Где никто не живет	189

Вольная птица	192
Роскошная лодка	193
Дороже жизни	194
Песня Деньга	194
 ТИХИЕ ЧУДЕСА	 196
 ДОМОЙ	 199
Плывшее поселение	199
Под поклонным крестом	202
Встреча с тем, кого нет	204
Снеговушка	205
Королевский букет	209
Сенокос	211
Потеряшка	214
Живой	220
Копье	221
Возвращение	222
Сила	224
 ВСТАВАЙ, СТРАНА	 228
В калиновом саду	228
Гидроплан	230
Искерпанный путь	231
Очарование	233
Безвестный герой	236
Непокой	238
 ИГРАЙ, СУДЬБА	 239
Хорошо бы не промахнуться	239
В одиночку праздники не гуляют	254
Крепость	263
Желе	276
Ненужный свидетель	288
В новых перьях	295
Над сожженной землей	298

Белая кость	302
Заговоренный	305
Высокое пребывание	308
На голос судьбы	311
Доверчив и прост	313
Отступившая сила	318
Стояние	321
Жил когда-то парень на Руси	328
Зернышко	333
Подарок	337
Ожидавшие глаза	342
Брат	346
Живи, Галина Дмитриевна	349
Рядом с Родиной	352

Литературно-художественное издание

Сергей Петрович Багров

КОРОТКАЯ ПЕРЕДЫШКА

Рассказы и очерки

В книге помещены иллюстрации
из личного архива автора

На первой странице обложки: “Моя Россия” – фото Алексея Новосёлова,
на последней странице: С. П. Багров – фото Леонида Вересова

Редактор *Михаил Дмитриевич Рябков*
Дизайн, вёрстка *Е. А. Черкашиной*

Подписано в печать 29.04.2019. Формат 84x108/32
Печать офсетная. Гарнитура Times. Усл.-печ. л. 20,92.
Тираж 200. Заказ 483

ООО “Издательство “Сад-огород”
г. Вологда, ул. Текстильщиков, 20а, тел./ф. (8172), 73-12-22
IZDAT.SAD-OGOROD@yandex.ru

